THE Man BOOKER PRIZE 2002

Tim Winton

Dirt Music



Тим Уинтон - *Музыка грязи*

Музыка грязи
Тим Уинтон

Аннотация
Тим Уинтон. Музыка грязи
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Аннотация

Джорджи Ютленд под сорок, профессию медсестры и романтические мечты о родственной душе она променяла на тихую жизнь домохозяйки в рыбацком поселке на западном побережье Австралии. Ночи напролет, пока домашние спят, она сидит в Интернете и тихо спивается. Но внезапно в ее судьбу входит Лютер Фокс – браконьер, бывший музыкант, одинокая душа. Изгой.

Действие этого романа с подлинно приключенческим сюжетом разворачивается на фоне удивительных пейзажей Австралии, жесткий реалистический стиль автора удачно подчеркивает драматизм повествования.

Роман австралийского писателя Тима Уинтона (р. 1960) «Музыка грязи» в 2002 году вошел в шортлист Букеровской премии.

Тим Уинтон
Музыка грязи

Денизе,
Денизе,
Денизе
Бывает одиночество пространств,
Бывает одиночество морей
И смерти одиночество, но все же
Они ничто в сравненье с бездной,
В которой укрывается душа
Ипризнает-конечна бесконечность.

Эмили Дикинсон

I

Однажды ночью в ноябре — еще одной ночью, которая как-то сразу стала днем, — Джорджи Ютленд подняла глаза и увидела в зеркале свое бледное и яростное лицо. Всего секундой раньше она внимательно рассматривала чертежи тридцатидвухфутовой «Пейн Кларк» 1913 года постройки, которые энтузиаст парусного спорта из Манилы вывесил на своем сайте, — но ее выкинуло с сервера, и ею овладел настолько глупый приступ ярости, что она даже удивилась, что это с ней происходит. Ни яхта, ни тот парень в Маниле на хрен ей не сдались; они были еще менее важны, чем все прочие сайты, что она посетила за последние шесть часов. Если честно, ей пришлось помучиться, вспоминая, как она провела это время. Она долго и уныло бродила по Уффици, обращая на экспонаты не больше внимания, чем турист со стертыми ногами. Она тупо смотрела на аллею в Перте, изображение которой транслировалось в онлайновом режиме, она побывала в бразильском фанклубе Фрэнка Заппы, она видела ночной горшок Фрэнсиса Дрейка в лондонском

Тауэре и наткнулась на чат для тех граждан мира, которые жаждут стать ампути.

Вхождение в сеть — какой смех! Им бы это назвать «схождение». Когда Джорджи усаживалась перед терминалом, она улетала в кресле, как пенсионер за покерным столом, обуреваемый страстью к деньгам. Улетала в этот бардак бесполезной информации, ночь за ночью, и там сталкивалась с людьми и идеями, без которых она вполне могла бы обойтись. Она не понимала, почему ее это так раздражает, — вот разве потому, что беспощадно съедает время? Все равно приходится признать, что это замечательно — побыть какое-то время без тела; и потом, к этому ощущению привыкаешь — быть без возраста, без пола, без прошлого. Бесконечная череда открывающихся порталов, меню и коридоров, которые ведут к коротким и безболезненным случайным встречам, там бесцельный просмотр сходит за жизнь. Мир без последствий, аминь. И в этом мире она чувствовала ангельскую легкость. И потом, это удерживало ее от выпивки.

Она повернулась в кресле, схватила кружку и отшатнулась, когда губы прикоснулись к холодной саркоме, что образовалась на поверхности кофе. За ее отражением в окне море, залитое

лунным светом, казалось, дрожало в лихорадке.

Джорджи встала и прокралась в кухню, которая была отделена от жилого пространства глянцевым крепостным валом из скамеек и домашних принадлежностей. Из холодильника она вытянула бутылку и сделала себе серьезный водочный компресс. Она некоторое время постояла, оглядываясь на огромную гостиную, очертания которой сливались во мраке. Гостиная была большая, и потому не было ощущения, что она загромождена мебелью, хотя в ней и стоял обеденный стол на восемь персон и компьютер, а на другом конце комнаты вокруг телевизора сгрудились три диванчика. Та стена, что смотрела на море, была целиком стеклянная, и все занавески отдернуты. Между домом и лагуной в ста метрах от дома находилась единственная лужайка и несколько жалких дюн. Джорджи хватила водки — одним глотком. Только ощущение, никакого вкуса, — именно так ей это однажды описала сестра. Она улыбнулась и слишком громко поставила стакан на сушилку. Недалеко, в холле, спал Джим. Мальчики были внизу.

Она потянула на себя дверь и вышла на террасу, туда, где воздух был прохладен и густ, он пах перепревшей травой, соленым песком и

известняком, теплым прикормом и — резко и остро — чамышом. Мебель, стоявшая на улице, была покрыта бусинами росы. Легкий бриз пока не мог даже поколебать зубчатые края зонтика с надписью «Перье», но роса в это время года означала, что скоро ветер поднимется. Уайт-Пойнт сидел в зубах у «Ревущих сороковых»[1]. Здесь, на побережье Среднего Запада, ветер может и не быть твоим другом, но вот что он твой сосед — это как пить дать.

Джорджи постояла там дольше, чем следовало бы, — пока у нее груди не заболели от пронизывающего холода, а волосы чуть было не начали съеживаться.

Она следила, как луна скользит по лагуне, пока ее последние лучи не упали на перила и ветровые стекла катеров, превратив прикованные буи в судорожные, мерцающие звезды. И потом луна исчезла и море стало темно и пусто. Джорджи помедлила у холодной шиферной плиты. С нее хватит реального мира; сейчас он доставляет ей не больше удовольствия, чем рыбий жир в детстве.

На пляже что-то сверкнуло. Это, пожалуй, была

---

[1] Примечания: 1

Ревущие сороковые — области в океане между 40 и 50 градусами южной широты, где дуют сильные западные ветры. *(Здесь и далее прим. пер.)*

чайка — в четыре-то утра! — но она вздрогнула. Сейчас было даже темнее, чем ночью; ничего не видно почти.

Морской воздух туманом клубился по ее коже. Холод жег голову.

Жаворонком Джорджи никогда не была, но в те времена, когда работала посменно, она повидала свою долю рассветов и даже больше. Как во все те утра в Саудовской Аравии, когда она возвращалась обратно в пристанище неверных и околачивалась снаружи, пока все сослуживцы не пойдут спать. Прямо в колготках она становилась на драгоценный коврик газона и вдыхала воздух Джедды в надежде поймать тень чистого морского бриза из-за высокой стены, шедшей по всему периметру. Сентиментальная привязанность к географии ее раздражала, австралийцы этому изумлялись, а больше всего — западные австралийцы. Старый предрассветный ритуал — не просто стандартная тоска по дому, она каждое утро пытается унюхать тот коктейль, которым дышала каждый вечер во времена своего речного пертского детства, — странный соленый подъем морского прилива, бурлящего в реке Суон, заходящего в бухточки через просторы устья. Но в Джедде за все свои старания она получала только

дымные миазмы дороги, шедшей вдоль берега моря, выхлопы «кадиллаков» и еще полмиллиона кондюков, выдыхающих в Красное море фреон.

А теперь она здесь — годы спустя — накачивается водкой в чистом, свежем воздухе Индийского океана с жалким профилактическим упорством. Морячка, нырялыцица и рыбачка — да, но теперь Джорджи знала, что радости свежего воздуха для нее потеряны.

Уже не было смысла идти в постель. Джим встанет меньше чем через час, и ей до этого ни за что не уснуть, если, конечно, она не примет таблетку. Ну и какой смысл валяться, пока он не сядет на постели и не сделает свой первый за день решительный вдох? Джиму Бакриджу будильник не нужен, он как-то автоматически поднимается рано. Он был рыбак: что называется, рано вставать — поздно в кровать; он держал марку, к которой стремились все остальные в уайт-пойнтовской флотилии. «Наследственное», — так говорили все. К моменту, когда он выходил из лагуны и направлялся к проходу между рифами, оставляя кишащий птицами остров по правому борту, весь залив уже шумел дизелями и все остальные смотрели на то, как умирает фосфоресцирующая дорожка у него в кильватере.

В семь проснутся мальчики, одуревшие со сна, но вполне готовые к завтраку, хотя в течение следующего часа они будут становиться все менее и менее пригодными для обучения — и для школы. Она даст им с собой завтраки — сандвичи с яблочным джемом для Джоша и пять бутербродов с «Веджемайтом»[2] для Брэда. А потом они наконец ломанутся через заднюю дверь, и Джорджи сможет включить рацию и слушать флотилию, попутно наводя в большом доме подобающий порядок. И потом, и потом, и потом…

Там, на пляже, была не чайка, это движущееся пятно; это была вспышка звездного света на металле. Как раз в тени ближней к заливу дюны. И теперь звук мотора, восемь цилиндров.

Джорджи всматривалась очень пристально и даже приставила ладонь ко лбу, чтобы лучше видеть в темноте. Да. В двухстах метрах от нее по пляжу ехал грузовичок, он развернулся и подъехал прямо к кромке воды. С выключенными фарами, что по меньшей мере странно. Но его выдавали стоп-сигналы; в их розовом свете был виден катер на трейлере, центральная консоль. Маленький катер, не больше шести метров. Это

[2] Примечания: 2

Веджемайт — популярная в Австралии овощная паста для приготовления бутербродов.

не профессионал. И потом, даже суда для добычи морских ушек всегда залеплены желтыми лицензионными наклейками. А рыболов-спортсмен не станет спускать судно с такими предосторожностями в час, когда даже Джим Бакридж еще спит.

Джорджи подхватила на веранде ветровку и постояла в коридоре еще несколько секунд. Усердное тиканье часов, храп, гул приборов. Водка все еще горела у нее в желудке. Ее трясло от кофеина, и она не могла найти себе места. «Какого черта! — подумала она. В Уайт-Пойнте — и рыбак без лицензии! Надо пойти посмотреть».

Газон под ногами был в росе и оказался теплее, чем она ожидала. Она прошагала по стриженой шкурке по направлению к дюне и песчаной дорожке, ведшей к пляжу. Даже в отсутствие луны белый песок вокруг лагуны казался светящимся и порошкообразным. Там, где резвился и откуда ушел прилив, пляж был твердый и ребристый.

Где-то в темноте заработал мотор. Так тихо — должно быть, четырехтактный. Мотор недолго поработал вхолостую, и, когда дали полный газ, она всего на секунду увидела тень белой кильватерной струи в лагуне. Секретность или простая продуманность — но вся процедура прошла невероятно быстро и тихо. Где-то хлопали птичьи

крылья, невидимые, но близкие, как шепот; от этого звука у Джорджи пошел озноб по коже.

На пляже неясной тенью маячил пес. Когда Джорджи подошла ближе, она поняла, что собака привязана к грузовику. Пес рычал и, кажется, все хотел залаять, но не решался.

Когда она дошла до большого оцинкованного трейлера, с него еще капала вода. Пес красноречиво заскулил. Стальная цепь терлась о решетку радиатора «Форда F-100», 4 х 4. Мечта деревенщины. Пес рвался с цепи. Он распластался по земле и, похоже, был скорее энергичным, чем злым.

Джорджи наклонилась к нему и почувствовала на ладони горячий язык. Хвост стучал по крылу автомобиля. Она увидела, что с подножки свисают водоросли, черные обрывки на похожем на тальк песке.

— Ммм, — пробормотала она. — Мы хороший пес?

Пес уселся и вытянулся в ожидании на звук ее голоса. Это была шавка, похожая на келпи, пастушью собаку, — фермерский пес, садовая разновидность перемахивающей через изгороди дворняжки-живчика. Морда, грудь и яйца, больше ничего. Он уже нравился Джорджи.

— Хороший пес, — пробормотала она. — Да,

хороший парень.

Собака вытянула шею к воде.

— Поплавать хочешь, а?

«Черт возьми! — подумала она. — А почему бы и нет?»

Она разделась и сложила одежду у грузовика. Блуза уже давно исчерпала срок годности; она подняла ее, понюхала и швырнула обратно.

Спущенный с привязи пес молнией сверкнул по песку, как сбрендившая арка с перепутанными ногами. Джорджи побежала к воде и, закрыв глаза, нырнула. Этот сумасшедший прыжок вызвал у нее в памяти палату для параличных. Она слышала, как пес бьет лапами воду позади, и выгребала ленивым школьным стилем, пока не оказалась посреди заякоренных судов, в самом центре душной коррозии, птичьего помета и вони сардин. За ее спиной храбро сопел пес — фыркал, поднимая волну, которая чувствовалась спиной.

Звезды уже гасли. В паре домов зажегся свет. Один, должно быть, Джим. Сильно озадачен, наверное.

Доплыв до лугов из водорослей, где лагуна становилась кисловатой на вкус, Джорджи на какое-то время задержалась, чтобы поглядеть издалека на дом Джима. Это был голый белый

куб, настоящий шок для приверженцев функционализма в архитектуре и первый в своем роде в Уайт-Пойнте. Местные в свое время называли его югославским посольством, но теперь у каждого шкипера-владельца был трофейный дом, построенный на деньги, заработанные во времена лангустного бума.

Джим, наверное, уже в ванной, стоит, прислонившись к кафельной стене, почесывает подбородок, потягивается, чувствует возраст. Несмотря на его репутацию, она все еще считала его приличным человеком — достаточно приличным, чтобы провести с ним три года, а для Джорджи Ютленд это был рекорд.

Она представляла себе его на кухне: как он кипятит воду для термоса, как переходит из комнаты в комнату и удивляется. Он выйдет на крыльцо, обследует двор, а может быть, еще и пляж и посмотрит на небо и море, прикинет, измерит скорость ветра. Он пойдет внутрь и соберет снаряжение, с которым ему придется провести восемь–десять часов в море. А если она не придет? Когда его палубные появятся в старом «Хайлюксе» в своих круглых шапочках и в облаке пивных паров, с яликами, принайтовленными к поддону, как лохань для скота, — что тогда? Все ли еще

она его волнует? Несколько месяцев назад она бы лежала себе в кровати, а не плавала бы голой в заливе наперегонки с шавкой какого-то чужака, забавляясь мятежными мыслями. Но недавно из нее что-то вытекло. Испарилось в момент.

Пес терпеливо кружил вокруг нее — по-собачьи и упрямо, на самом-то деле, — и каждым волоском и каждой порой Джорджи чувствовала мерцание воды, обтекающей тело. После всех этих недель, проведенных в виртуальной реальности, было странно и почти болезненно ощущать полноту своего присутствия на земле.

Джорджи подумала о том дне, когда, несколько месяцев назад, она вспылила в детской. Она никогда бы не подумала, что одно слово может так на нее повлиять. Работая медсестрой, она наслушалась целых водопадов проклятий — от умирающих мужчин и рожавших женщин, он нарков и психов, от принцесс и умников. В экстремальных обстоятельствах люди всегда говорят мерзкие вещи. Можно подумать, что женщине нипочем эти три слога — *ма-че-ха.* Но слово это вылетело так жарко, и мокро, и неожиданно — его прокричал ей прямо в лицо девятилетка, ночные кошмары которого она унимала, тело которого она обтирала губкой и обнимала так

часто, чью горько-глинистую мазню она вешала на холодильник, — что она даже не слышала фразы, в которую это слово было обернуто. Она просто отшатнулась, будто ей дали пощечину. Мачеха… До той поры это слово в доме не произносилось, что было в некотором роде честно; она это понимала. Джош хотел победить, желал ранить, но, кроме всего прочего, еще и просто прояснял ее статус. Она все еще видела его лицо, искаженное гримасой ярости. Это было его старческое лицо, то, что ожидало его в будущем. Ради идиотской видеоигры он вычеркивал ее из своей жизни, а его брат Брэд, которому было одиннадцать, смотрел на нее с презрением. Поднявшись, чтобы выйти из комнаты, Джорджи устыдилась всхлипа, который у нее вырвался. Никто из них не заметил, когда именно в дверном проеме появился Джим. Все глубоко вдохнули. Джорджи вышла, не дав никому и слова сказать, до того, как окончательно сорвется. Она ткнулась Джиму в подмышку и поковыляла наверх, чтобы повыть в чайное полотенце, пока не успокоилась настолько, что смогла налить себе в стакан шардонне. Голос Джима тихо и зловеще поднимался из лестничного колодца. Она поняла, что он готов их ударить, и знала, что должна спуститься и

положить этому конец, но все закончилось еще до того, как она смогла взять себя в руки. Этого никогда не было раньше — ничего подобного. Потом Джорджи все думала, слово ли на букву «м» разрушило чары или все-таки сознание того, что она вполне могла бы избавить мальчиков от порки — и даже не попыталась. В любом случае все изменилось.

Это было поздней осенью. Через несколько недель ей исполнилось сорок, и она очень разумно дала этой маленькой дате проскользнуть незамеченной. К весне и к началу нового сезона она просто механически совершала привычные движения. Однажды один человек, американец, в приподнятый, веселый момент изложил ей свою теорию любви. Это чудо, сказал он. Чудо нереально, детка, но, когда оно уходит, оно кончается.

Джорджи не хотела верить в тонкую чепуху вроде того, что привязанность порождается иллюзиями, что нужен какой-то ложный миф, чтобы ты продолжал любить, работать или служить. И все же она так часто чувствовала, что романтика испаряется, что даже удивлялась. И разве не проснулась она однажды грустным утром, не находя в себе причин и дальше работать медсестрой? Ее карьера была настоящим призванием, а

не просто работой. И не могло ли быть так, что эта неожиданная пустота, эта потеря какого-то благородного импульса — просто признак того, что чудо ушло? В свое время Джорджи Ютленд была своего рода морячкой, и поэтому она точно знала, что значит заблудиться на море, умереть в воде. Теперь она очень хорошо узнавала это ощущение. И в ту весну она без звука прыгнула за борт.

Вот каково оно было — выгребать по лагуне в это утро, когда небо над головой — как из фетра. Женщина за бортом. Некуда плыть. Что же ей делать? Направляться к бахромчатому рифу, стремиться в открытое море, принять вызов Индийского океана в чем мать родила вместе с освобожденным приятелем-шавкой? Грести мимо Крей-Бэнк, мимо Шельфа, мимо морского пути, мимо Западной Гряды девяностых? В Африку? Джорджи, сказала она сама себе, ты женщина, у которой больше нет даже автомобиля, вот насколько ты мобильна и независима. Раньше ты отпугивала людей размалеванными глазами, хирурги после встречи с тобой и слова вымолвить не могли. Где-то, как-то, но ты провалилась в туман.

Она легла в воде на спину, мечтая о том, что-

бы открылся какой-нибудь портал, чтобы она могла нажать на какую-нибудь тупую иконку и безопасно уйти, без боли, без сожалений и воспоминаний.

Пес заскулил и попытался забраться на нее для передышки. Она вздохнула и поплыла к берегу.

* * *

На свалке за своей придорожной гостиницей похожий на медведя человек в засаленной спецовке в последний раз шваркнул дверцей потрепанного рефрижератора и перестал опираться на капот «Валианта», который какой-то хрен недавно отволок к краю пристани. Это был его утренний ритуал, его рассветный обход. Помочиться на несчастный олеандр и покурить веселой травки, чтобы смягчить горечь жизни.

Свет все еще был тускл. Уже чувствовался приближающийся порыв ветра, еще один бесконечный визжащий чертов южняк. Он затянулся крохотным косячком на песчаного цвета «Валианте» и протолкнул окурок в отверстие покрытой водорослями решетки радиатора.

С пляжной дороги, лежавшей между дюнами и лангустным складом, донеслось дребезжание трейлера и тихое переключение передачи. Уже

было достаточно светло, чтобы разглядеть грузовик и позади него — катер, с которого брызгами разлеталась трюмная вода, когда грузовик выползал на асфальтовое покрытие.

— Имел я себя во все дыры, — сказал он вслух. — Чертов идиот.

«V-8» катил по узенькой главной дороге, постепенно исчезая на расстоянии.

Бивер пошаркал к внешнему двору, чтобы отпереть бензоколонку. В этом городе, черт возьми, это можно сделать с завязанными глазами. И держать язык за зубами, пока делаешь.

Внутри, у кассы, он дернул замки вниз и пощупал диски. Вторник. Может быть, «Крим». Или «Ху», «Живое выступление в Лидсе». Нет. Это будет «Скрипач на крыше».

Он открыл кассу, закрыл ее и посмотрел на пустую улицу. Вот тупой пидор!

* * *

Пока мальчики завтракали, Джорджи в сонном оцепенении занималась обычными утренними делами. Проходя мимо окна с кипой осклизлого мужского белья для постирушки, она увидела, что «Форд» и трейлер исчезли с пляжа. Прямо у нее из-под носа.

Конечно, может, это ничего и не значит. Но, если честно, в таком городке, как Уайт-Пойнт, где экипажи регулярно вытягивали из-под половицы свои кубышки и находили в них только необъяснимую пустоту, судно, не принадлежащее к местной флотилии, ходящее под покровом тьмы и исчезающее с первым лучом солнца, — это далеко не невинное происшествие. Низкопробно это как-то. Еще один идиот ищет приключений на свою задницу.

Она пошла вниз, до краев набила стиральную машину и на несколько секунд замерла; на нее напала усталость. Глаза под веками казались шероховатыми. Она, по идее, должна бы рассказать, что видела утром, по крайней мере, хотя бы Джиму. Кто бы это ни был, даже если он и не грабит кубышки, даже если он просто ловит рыбу, это просто обязан быть штрейкбрехер. Это вам не человек, приехавший на рыбалку в отпуск. Местные семьи душу дьяволу закладывают, чтобы купить лицензию. Этот парень вырывает хлеб у них изо рта.

Джорджи захлопнула крышку и ухмыльнулась собственной добродетельности. Господи, подумала она, только послушай меня! Хлеб у них изо рта? Когда-то, давным-давно, в старые добрые

старые плохие времена.

Она учуяла резкий запах подгоревшего тоста, струящийся вниз по лестнице. Как же им это удается все-таки? Тостер же автоматический.

Раньше, когда поджог был полноправным инструментом гражданского воздействия и стрельба на море никого не удивляла, местные улаживали проблемы с браконьерами не без налета уайт-пойнтовской дипломатии. В пятидесятые жизнь была опасна и неразборчива и экипажи судов защищали свой кусок хлеба любыми возможными способами. Джорджи видела фотографии в пивной и в школе, всех этих на удивление лопоухих мужчин с облупившимися на солнце носами, которые позировали с голой грудью в крохотных футбольных шортиках, прищурив от света глаза. Вернувшиеся с войны солдаты, эмигранты и бродяги, их сучковатые деревянные лодки с мачтами и парусами, кормовыми румпелями и крохотными робкими дизелями, которые теперь казались невозможно медленными и неуклюжими.

Единственная безопасная гавань на много миль, Уайт-Пойнт был в те времена всего-навсего кучкой жестяных бараков под защитой передней дюны. Песчаная коса, гряда горбатых рифов и ост-

ров на расстоянии мили от берега образовывали широкую лагуну, в которой стояла первая пристань. Поселение вклинивалось между морем и величественными белыми песчаными холмами. Это был город хижин, который по периметру окаймляла стена из пустых пивных бутылок и засиженных мухами крабовых панцирей. До экспортного бума, когда почти весь улов укладывали в банки, лангустов называли раками. Их вывозили в мокрых дерюжных мешках на грузовиках, которые целых четыре часа барахтались по песчаным колеям, прежде чем доезжали до ближайшей асфальтовой дороги. Это было закрытое, почти секретное место, и в те времена Уайт-Пойнт лежал за пределами закона и удручающего влияния домашней жизни. Пространство настоящей мужской жизни. В тех редких случаях, когда в эти края заезжали копы и помощник шерифа, всегда кто-нибудь да кричал по радио «шухер», чтобы пивная успела закрыться, а алиментщики, скрывающиеся от суда, и пьяницы с издерганными нервами могли бы свалить в ближайший лесок. Большую часть времени мужчины работали и выпивали в мире, который создали сами. Как же они любили буйствовать! И когда, в свое время, сюда приехали их женщины,

им, в общем, не удалось привнести в эту жизнь цивилизованное начало. Да, с ними в Уайт-Пойнт пришли стеклянная посуда и кружевные занавесочки на окнах хижин. В старых жестянках из-под керосина расцвели гераньки, и из Уайт-Пойнта начался исход идеалистов, которых оттеснили на север, в тропики; но и мужчины, и женщины, привыкшие к жизни фронтира, уайтпойнтовцы так и оставались диким, неуправляемым народом. Даже после бума, когда многие семьи стали неожиданно — и катастрофически — богаты и в город пришел закон, никто бы не осмелился сказать, что у уайтпойнтовцев кишка тонка.

Теперь рыбаки строили розовые кирпичные виллы и бункеры из бетонных блоков, тем самым превращая хижины отцов в очень даже симпатичные домики. Материалы были хорошие, но дух этого строительства был все-таки слишком непрочен, как будто местные твердо нацелились вести эфемерную жизнь. Джорджи, которой даже нравилась чертова разухабистость этого места в стиле рыбацкого ар деко, считала очень показательным то, что люди смогли-таки выстроить столь невозможно уродливый город в таком роскошном месте. Светящиеся дюны, остров, лагуна, затянутая водорослями, через ко-

торые проглядывали выступы кораллов, низкий, жесткий вереск, которым порос берег, — это было потрясающее зрелище даже для нее, уж она-то насмотрелась пригородных видов. Этот город был людской свалкой — и она находила в себе смелость признать, что и она точно такая же, — где людей все еще прибивало к берегу, чтобы они могли здесь спрятаться или зализать раны. Сломанные и разбитые, они становились в этом заливе на якорь, чтобы уже никуда отсюда не уходить. Летящие, нарки, ненормальные, мечтатели, даже лангустные блядушки вроде нее самой чувствовали, что этот город — настоящее дерьмо, но ландшафт когтил их, и люди оставались.

Тот простой факт, что ты становишься местным, вовсе не означал, что ты автоматически приобретаешь статус настоящего уайт-пойнтовца. Джорджи так никогда его по-настоящему и не заслужила. В общественном отношении она всегда оставалась ни рыбой ни мясом. Не потому, что она пришла сюда из мира частных школ и яхт-клубов, но потому, что нельзя было не пасть духом, выслушивая, как жены неграмотных миллионеров жалуются на обычаи семей экипажей, на то, как неопрятны их жены, как сквернословят их дети. Эти женщины, скорее всего, сами не

больше как пять лет назад выползли из какой-нибудь авторемонтной мастерской; они все еще прятали собственные фингалы под слоем макияжа из дьюти-фри, но уже считали себя хозяевами жизни. Джорджи всегда держалась отстраненно и знала, чего ей это стоит. В отношении Джорджи всегда оставались какие-то неясные сомнения. Она иногда подумывала: чувствуют ли они, что она притворяется?

Настоящая рыбацкая женка, не задумываясь, сообщила бы о любом подозрительном случае. Джорджи знала, что такое контрабандист, знала, что в таких случаях требуется сделать. Просто звонок в рыбнадзор. Или словечко на ухо Джиму. Так или иначе с этим было бы покончено, и она исполнила бы свой гражданский долг. Но «отнимать у них хлеб» — да неужто! Это люди, у которых есть судно с лицензией стоимостью миллион долларов, новый «Лендкрузер» и шесть недель на Бали каждый сезон, семьи, которые владеют городскими пивными и торгуют золотом, в гостиных у которых стоят телевизоры размером с рояль? Даже самый младший палубный зарабатывает больше, чем учитель, который по шесть часов в день вынужден терпеть детей. Не то чтобы Джорджи завидовала чьим-то день-

гам. Мужчины работали по семь дней в неделю восемь месяцев в году, постоянно подвергаясь опасностям, а их семьи пережили плохие времена, так что удачи им. Но она не собирается бегать по округе и защищать миллионеров от одного парня с собакой. Ей нужно отправить в школу двух мальчиков, и чувствует она себя вполне дерьмово. Кроме того, она никогда не любила «принимать участие».

* * *

На мостике сплошь был Рой Орбисон и беконовая отрыжка. Джим Бакридж все еще думал о том писке радара, который услышал рано поутру, и, направив судно к следующей стоянке, посмотрел на измятое зыбью море. Он не заметил, как палубный сошел вниз.

Канат скользил по лебедке, и корзина для лангустов на стальном основании уже давно наклонилась, но никто не открывал ее. Судно кренилось и крутилось на легкой волне, а на палубе никто и не собирался разгружать корзину. Она ощетинилась усиками, она захлебывалась лангустами — Джиму было отлично видно с мостика, — но ни один ублюдок даже задницу не почешет. Борис, ты, жопа с ручкой, чего застрял?

Кто-то начал орать.

Он дернул рычаг и пошел вниз посмотреть.

* * *

Джорджи проснулась на диванчике, когда рядом с ней начал трезвонить телефон. По телевизору толстозадые американцы ослами кричали о своих привычках, о своих сатанинских воспоминаниях, о Господе и Спасителе. Свет в доме был похож на головную боль, выжидающую, когда наступит ее черед.

— Джорджи! Ты спишь или что?

Половина лица у нее онемела. Она прижала трубку к уху.

— Нда. Да.

— Господи, да ведь уже десять часов.

— Да ты что? — Джорджи разлепила губы и отклеила от них язык.

— Слушай, через полчаса нам нужна «скорая» на пристани. И найди мне другого палубного. Борис вырубился, кровь из носу — и прямо к завтраку.

Голос Джима доносился из-за рева дизелей; это придавало ему страшный технический призвук.

— А… вы продули ему легкие?

— Ага, и в лед запаковали.

— Целиком?

— Слушай, не пользуйся рацией. Я протянул только две линии и вовсе не хочу, чтобы эта свора природных джентльменов рылась в моем добре, ага? Ты не спишь?

— Не сплю, — квакнула она. — Полчаса.

На лестнице, ведшей в гараж, Джорджи затошнило от усталости. Она потянула на себя дверь «Лендкрузера» и забралась внутрь босая. От плюшевой обивки пахло пиццей. Она нажала кнопку на дистанционном пульте. Поймав свое отражение в зеркале заднего вида, она поняла, что это вам не апофеоз женственности средних лет; она обругала себя за то, что посмотрела. Мотор на секунду захлебнулся, а гаражная дверь отъехала вверх; и когда задом выехала в крутящийся буран летнего дневного света, она услышала пистолетный звук треснувшего под задним колесом скейтборда.

* * *

В сарае — собака вьется у ног — он оставляет лодку, от которой пахнет отбеливателем. Все уладилось. Лед в кузов. Пес первым запрыгивает в кабину, читает мысли, знает распорядок. Хвост сильно ударяет его по локтю, а он переключает

передачи — вверх по длинной песчаной дороге, через загубленные выгоны к шоссе. Шавка слизывает соль с его бедра. Через окно — запах мертвой травы, банксии, суперфосфата, невидимого моря.

* * *

Во дворе склада, выстроенного из ослепительного известняка, стоял пустой грузовичок Йоги, развозящий корма; его двухходовой клапан все еще скрежетал. Джорджи спрыгнула на погрузочную платформу. Кабинка конторы, вечная времянка, пропитанная густым запахом пота, была пуста. На изрезанном письменном столе стояла исчерпавшая себя бутылка озо и кассета Бадди Холл и, из которой торчала пленка, похожая на спутанные внутренности. Центральные развороты «Пентхауса» — девчонки, навощенные до мученического сияния, — были приклеены к слоистым стенам. Из дальнего конца сарая, из-за рычащего холодильника, доносился на удивление приятный воркующий мужской голос. Йоги был человек-развалина. Джорджи понимала, что его поющие трубы были умягчение Господа, момент милосердия.

— Йоги! — крикнула она. — Ты тут?

Пение смолкло.

— Эт кто?

— Да вот, Джорджи Ютленд.

— Кто?

— Джима Бакриджа жена.

— А, Джимова женушка? Господи, погоди, я в душе. И стрелка тикнуть не успеет.

— Нам нужна «скорая».

— Ща, только мыло смою.

Джорджи вернулась в контору и взглянула на плакаты на стенах. «Ну-ну, — подумала она. — Не утомит их возраст, и годы не обрекут их ни на что». Она посмотрела на часы. Есть двадцать пять минут, и за эти двадцать пять минут нужно найти трех трезвых, сведущих людей. В Уайт-Пойнте. Два добровольца для «скорой» и один невезучий мобилизованный, которому предстоит работать на палубе, идя прямым курсом на чертов юг. Если бы она не могла пользоваться странной властью Джимова имени, она усомнилась бы в том, что это вообще возможно.

— Готов!

Йоги Бер вышел, обернув бедра полотенцем с Симпсонами. Он был маленький и круглый и в таком костюме он был похож на картофелину, высовывающуюся из кожуры.

Инстинктивно Джорджи прикрыла рот рукой.

— Рэчел на дежурстве, — сказал Йоги.

Его босые ноги потрескались и загрубели — коричневые, как лицо и руки. В остальном он состоял из плоти, похожей на картофельное пюре. Безволосый. Ногти на ногах — как когти игуаны.

— Не скажешь ли часом, можно ли найти свободного матроса?

— С кем неладно?

— Борис.

— Попытай-ка счастья в магазине рыболовных принадлежностей. Счас вот только штаны надену. Надо мне сюда кого-нибудь в подмогу… Дела?!..

Он убежал за какие-то воняющие ящики и через минуту вернулся без рубашки, но в комбинезоне.

— Воскресенье — лучше нету, — сказал он.

— Сегодня вторник.

— Ладно, я тебя не выдам, если ты меня не выдашь, — решил он, показывая ей в улыбке редкие зубы.

— Ключи. Телефон. Ну так?

В кабине, пока она гнала «Крузер» через три квартала города, Джорджи унюхала на нем больше мыла, чем узо, — хороший признак. Он потыкал пальцами в кнопки мобильника и взгромоздил ноги на приборную доску Джима.

— Рэчел, — сказал он Джорджи. — Она-то знает, как отличить дерьмо от крема для бритья. Пошла в университет, и все такое. Джерра! — заорал он в телефон. — Ты, ленивый, толстый ублюдок-хиппи, выводи свою миссис из вашей медицинской хибарки и скажи ей, что пора за работу!.. Ну да, дружок, экскременты случаются, и это твоя маленькая общественная обязанность. У нее по расписанию… Да, да, заткни свой поганый рот, ты, наглый хрен! Пять минут.

Джорджи въехала во двор перед хибаркой добровольной медицинской службы.

— Гладко водишь, Джорджиана. Присоединилась бы, водила бы наш фургончик.

— Спасибо, но я лучше уж на твою пожарную машину, Йоги.

— Точно, там ведь больше колокольчиков и свистков, так? И желтая каска.

— Вот-вот.

— Чертова амуниция. Достает их каждый раз. Я уж замолвлю словечко.

Она оставила его и отъехала, улыбаясь. Она понимала, почему рыбаки его любят. Смех у него от Бога. Солнечный вид. Вечером, проведя целый день в море в жалкой лоханке и под пронизывающим ветром, они приезжали, чтобы взвалить

улов на его грузовичок, и та чушь, что он нес со счастливым лицом, была как бальзам на сердце. Он, конечно, не мечта бабы, но, наверное, ему удается глушить в себе тягу к домашности.

Остановившись перед рыболовным магазином, она увидела несколько мальчишек и девчонок с африканскими косичками — те тут же пришли в состояние настороженного внимания. Истыканные серьгами губы обметало простудой.

У нее десять минут. Жаль, что не успела почистить зубы.

* * *

Прибрежная пустошь, заросшая вереском. Овечье пастбище, утыканное зазубренными кусками известняка. Заросли банксии. Пара стерильных плантаций сосны перед маленькими фермами и дерьмовыми застроенными площадками. Пустая двухрядка гудит, и пес ложится на передние лапы, не сводя с него глаз. Он делает это за два часа. Удивляется собаке и времени.

— Не тот ли, кто сотворил Агнца, сотворил и тебя, шавка?

Пес поднимает бровь.

— Я говорю, симметрия прямо пугает.

Пес сворачивается клубком и лижет яйца.

За широкой терракотовой крышей пертской равнины в бронзовую кайму неба поднимается выводок зеркальных башен.

— Иерусалим, — бормочет он.

Лютер Фокс въезжает в задний двор заведения Го — в сальное зловоние. Паренек, что собирает бутылки у мусорки, бросает на него взгляд из-под черной челки и гордо уходит внутрь. Двор пропах горелым маслом и гнилыми овощами. Пес тихо поскуливает.

— Замри, шавка, а то съедят тебя с рисовой кашей.

Город гудит белым шумом транспорта и кондиционеров. Где-то бесконечно ухает автосигнализация.

Го, в хрустящем белом переднике, подходит к двери. Фокс выходит, протягивает руку.

— Есть морские ушки, Лю?

— Все отлично, Го, спасибо, что спросил.

— У нас бизнес, Лю. Некогда валять дурака.

Фокс ухмыляется. Го идет к багажнику «Форда».

Он всегда один и тот же. В поступи вьетнамца чувствуется целеустремленная энергия.

— Нет ухов, — говорит Фокс.

— Плохо.

— Мог бы их купить законно, знаешь ли.

— По две сотни за кило? Совсем рехнулся, что ли?

— Да уж.

— Так что у тебя?

— Хорошая рыба. Окуньки, люциан, треска.

— Свежие?

— Это когда это ты последний раз брал у меня несвежих?

— А вот шутки у тебя лежалые.

— Ладно, правда твоя.

Ресторатор, сторонясь, обходит пса и вспрыгивает в кузов. Две большие стальные коробки похожи на ящики с инструментами, какие бывают у ремесленников. На них даже есть обязательные наклейки: «Stihl», «Sidchrome», 96FM. Го направляется к той, что побольше, и Фокс делает разрешающий жест — маленький обмен любезностями. Холодный туман поднимается из ящика, когда Го приоткрывает крышку. Внутренний контейнер из стекловолокна набит колотым льдом. Вьетнамец откапывает розового люциана. Смерть стерла с него большую часть голубых пятен, но его тело все еще твердое, сплошь гладко вымощенное чешуей от яркого прозрачного глаза до упругого заднего прохода. Люциана заморози-

ли в тот самый момент, как его тело стукнулось о палубу; Фоксов улов будет наисвежайшим и через сутки, но это вопрос профессиональной гордости — привезти люциана сюда меньше чем через три часа после того, как его выловят.

— Красавец, а?

— Свежий — вот и красавец, Лю.

— Но свежий *и к тому же* дешевый…

— Во-во, это и впрямь черт-те какой красавец!

Ритуальный смех.

Го закапывается в колотый лед, задумчиво похрюкивая. Фокса не волнует, что он не привез морские ушки. Он знает, что большая часть пойдет Триадам. Это чертова куча проблем.

— Хорошо. Отличная рыба.

Пока Го с братьями разгружают рыбу, Фокс считает наличные. Даже за вычетом всех расходов на горючее и наживку он сегодня с огромной прибылью.

— Тебе все везет, — говорит Го, вытирая руки о передник.

Фокс пожимает плечами. Что-то давненько ему не везло.

— Ну, Лю, кому же ты продашь морские ушки?

— Нету у меня, приятель. Я же сказал.

— Кто-то заплатит больше, а?

— Да нет, не было их.

— Мы с тобой уже целый год делаем хороший бизнес.

— Вот-вот.

— Мне тяжело. Большая семья. Слишком много здесь ресторанов.

— Да они же покупают рыбу на рынке, Го. Платят в два раза больше, чем ты.

— И уж не за свежую!

— Да, ты человек высоких стандартов, Го.

— Я не зову копов.

— Да и я не зову. Мы с тобой в одном положении, знаешь ли.

— Черта с два! Я прошел войну. А потом — Южно, *бля,* Китайское море, и малазийские лагеря, и Дарвин. И подо мной пятнадцать душ, Лю. Не в одном.

— Го, не было сегодня ухов, ну! Волнение слишком сильное, не нырнешь.

— Сегодня отличные окуньки.

— Да.

— В следующий раз — ушки.

— Посмотрим.

— Не *посмотрим.* Должны быть.

— Я постараюсь.

— Пожмем руки.

Фокс сжимает его холодную руку. Вся семья Го отступает внутрь. На улице наконец-то затыкается сигнализация.

* * *

Катер Джима назывался «Налетчик». Джорджи понимала, что это вполне славное имя в гавани, полной катеров с названиями вроде «Потрошитель», «Убивец» или «Черная сука». Пара молодых экипажей ходила на судах под названиями «Двинутый автобус» и «Любовное сожительство», но, помимо стандартных этнических имен святых, названия были обычно агрессивными. Когда Джим, пыхтя паром, вошел в лагуну, поигрывая бровью, как развевающимся флагом, на пристани произошло легкое волнение. Йоги и Рэчел включили на машине «скорой помощи» мигалку.

На песчаном конце пристани Джорджи заметила страдающего юнца, которого она вытащила из кишок рыболовного магазина, и вместе они пошли туда, где ждала толпа.

— Джим-то окажется в добром старом дерьме, — сказал мальчик.

— О деньгах думай, — отвечала она.

«Налетчик» вошел в гавань, театрально давая задний ход винтами. Дизели «Дженерал Моторс»,

думала она той частью себя, которая все еще оставалась рыбацкой женкой, дешевые и громкие. Все, что сэкономил у дилеров в этом сезоне, он потратит на починку в следующем. Они вынесли Бориса; тот был в сознании и что-то бормотал. Он никогда не был особенно привлекателен, но сегодня голова у него вообще стала похожа на сушеное манго. Его рана была похожа на неровный восклицательный знак, протянувшийся от темени до носа, и Джорджи поняла, что ему придется накладывать швы.

— Ну у него и зрачки! — сказала Рэчел, когда они его погрузили.

— Как дерьмо на снегу, — сообщил Йоги.

— Да ты и не видел снега-то никогда, Йоги, — сказала Рэчел.

— Зато дерьма-то уж повидал.

— Видишь, с чем мне приходится работать, Джорджи? — мягко спросила Рэчел. — И так часами.

— Если только не заберешься назад, к Борису.

— Хоть какая-то альтернатива.

— Ну, кто там? — заорал Джим с мостика кренящегося катера. На его рубашке была кровь, и в тени своих антенн он выглядел злобно. — Кто идет?

— Я, — сказал паренек рядом с Джорджи — его унылого голоса было почти не слышно за работающими вхолостую дизелями.

— Ну и чего ты ждешь? Чтобы тебе приглашение, блин, по почте прислали?

Мальчик взобрался на борт и встал рядом с другим матросом, и Джим успел вымотать их еще до того, как швартовы упали на палубу.

— Он еще пожалеет, что родился, — сказал Йоги. — Бедный маленький засранец.

— Эй, водитель! — крикнула Рэчел. — Ты, случайно, не собираешься в ближайшем будущем отвезти этого парня в госпиталь?

— Все с ним будет в порядке. Обивка порвалась, вот и все. Не снимай своих резиновых перчаток, девочка.

— Назови меня еще раз девочкой, и я тебя так пхну, что на свиданки бегать перестанешь.

— Пробьешь дырку в моем озонном слою.

— Да уж, больно будет.

— Звини, Джорджи. Надо бы отправить парня к доктору.

Йоги, покачиваясь, отошел и забрался в кабину. Рэчел оторвалась от обработки раны и улыбнулась:

— Йоги забыл двери закрыть. Не поможешь?

— Конечно.

Джорджи нравилась Рэчел. Ходили слухи, что раньше она была социальным работником. У Джорджи было такое впечатление, что ее парень — местный торговец наркотой. Прожив в Уайт-Пойнте десять лет, Рэчел тоже не стала по-настоящему местной. Она носила крестьянские шарфики и не брила ноги. У нее было простое, честное и открытое лицо. Джорджи удивлялась, как это они так и не подружились, но в тот момент, когда она задавала себе этот вопрос, она уже знала ответ. Она просто этим не озаботилась. Три года она была полностью сама по себе.

Она закрыла двери. Рэчел подмигнула. Большой «Форд» поехал вверх от пристани, а впереди него несся вал чаек.

* * *

В часе езды от города Фокс видит машину «скорой помощи», которая, воя и сверкая, выворачивает из-за поворота, ее белая лакированная поверхность исписана тенями, которые отбрасывают пахнущие лимоном камедные деревья. Сжимает руль. Ловит взгляд Йоги Бера у штурвала, локоть выставлен в окно, — настоящий чертов лихач. Видит, как его глаза расширяются

от узнавания, когда они проезжают мимо. Момент проходит. Он в порядке, но промерз до костей. Через пару вдохов он начинает переваривать то, что Йоги — вот пидорок мелкий! — перекрестился, будто отводил от себя порчу.

* * *

Джош держал две половинки скейтборда и недоверчиво смотрел на Джорджи. Не то чтобы такого вообще не могло быть, но что-то не верится, что это чистая случайность.

— Вот как!

Джорджи начала терпеливо, с раскаянием в голосе, объяснять — что было нелегко, учитывая, сколько было времени. Брэд смотрел с незаинтересованным видом, в который она больше не верила. Гудел холодильник.

— Кленовая доска, Джорджи.

— Я знаю, милый.

— Мой подарок на день рождения.

— От меня. Да.

— Ну и *вот!*

Оставив сумку, ботинки и рубашку на полу кухни, он бросился в свою комнату.

— Лентяй, — сказал Брэд с легкой тенью ухмылки.

— Он знает, что я куплю ему новый, — сказала она; ее немного трясло. — Как школа?

— Фигня. Новая училка задумала устроить хор.

— Чудесно. Ты раньше так много пел. У тебя чудный голос.

— Больше нет.

— Вот как!

— И ни одна *женщина* меня не заставит.

Джорджи почувствовала, что эти слова как-то направлены против нее; ее ужалило, а он стянул яблоко и улизнул. Через несколько минут ненавистная, препарирующая мозги музыка из какой-то игры Нинтендо послышалась с лестницы. Обычные взрывы, визги, убийственный смех.

Ближе к вечеру пришел Джим, серебрящийся от соли.

— А, — пробормотала она, наливая ему. — Капитан Счастливчик.

— Все наверх. Так, что ли, говорят?

— Как все прошло?

— Дерьмово.

— А паренек?

— Справился.

— Вот и молодец.

— Триста кило.

— Неплохо, если учесть разбитые головы.

— Я прикинул, на день их опережаю. Может, завтра убьем свинью.

— Черт, это что же, семь сотен долларов?

— Минус наживка и горючее. Сборы. Налог.

— Да уж, нищета.

Он ухмыльнулся.

— Звонила в госпиталь, — сказала она. — Борису наложили пятнадцать швов. Сотрясение. Но он в порядке. Чем его ударило?

— Грузило на люциана, большое, как сосиска. Запуталось в корзине. Вылетело из нее, когда поднимали. Долбаная штуковина. Могло ведь и убить. Какой-то чертов урод, который работал в выходные, затянул свою леску на рычаге и оставил ее там. А кстати, мощно ты проехалась по скейту.

— Ты уже знаешь?

— Он ждал меня на лужайке, маленький доносчик.

— Он знает, что я куплю ему новый.

— Да пошел он! Может и накопить. Я ему достаточно повторял, чтобы он убирал эту чертову штуку.

— Нет, я куплю.

— Ну уж нет. Пусть поучится. Наступает время,

когда каждый становится сам по себе.

Джорджи вздохнула. Она не видела в этом никакой логики и смысла. Но она слишком устала, чтобы спорить.

За ужином Джим пытал мальчиков о том, как идут дела в школе. Как и все дети, они выбрасывали школу из головы в тот самый момент, как вылетали за дверь класса, и поэтому их ответы были туманны и осторожны, и Джорджи чувствовала, что призрак сломанного скейта завис над ее концом стола. Хотя Джим и сам учился в этой школе, у него были опасения, и Джорджи видела, что он сдерживается, чтобы не начать прямо проверять, что они там выучили за последние шесть часов. Он был интересный мужчина. В свои сорок восемь уже потрепан жизнью, но все еще привлекателен, красив резкой, стандартной австралийской красотой. Глаза у него были серые, а взгляд стальной. На лбу — шрамы, а на руках — солнечные ожоги. Его губы часто трескались, и у него были грубые, песочного цвета волосы — эти кудри, как бы коротко он их ни стриг, казались неуместно изящными на голове человека, чей громыхающий голос и исходившее от него ощущение постоянного физического присутствия вмиг изменяли атмосферу комнаты. В

нем было что-то неколебимо серьезное, какая-то тяжеловесность. Он был эмоционально сдержан. Его лицо было бесстрастно. И все же у него было усталое чувство юмора, которое нравилось Джорджи, и, когда он все-таки смеялся, сеть складок преображала его лицо, оно становилось менее сдержанным.

Джим был некоронованным королем Уайт-Пойнта. Люди с ним считались. Они смотрели на него и подчинялись ему, прислушивались к каждому слову. Несколько раз в неделю и мужчины, и женщины захаживали посекретничать, и он удалялся с ними в маленькую, душную комнату, которая служила ему кабинетом. Даже вечное председательствование в местном отделении Ассоциации рыбаков не могло объяснить его авторитета. Некоторые качества он, должно быть, унаследовал от своего легендарного и давно покойного отца. Большой Билл, по рассказам, был не только настоящий мужик, но и настоящий ублюдок; его безжалостное коварство не ограничивалось только рыбной ловлей. В свое время Бакриджи были удачливыми, предприимчивыми фермерами, но, став рыбаками, они оказались гораздо, гораздо выше остальных, и всех во флотилии прямо потрясали успехи Джима. Для них

это казалось почти сверхъестественным. Они жили и умирали по воле случая, из-за колебаний погоды и океанских течений, из-за минутных изменений в обычном ходе нереста и миграций рыбы. Ракообразные — переменчивое царство. А Джим Бакридж казался людям избранным. Он просто отказывался признавать или даже обсуждать это, но Джорджи знала, что вся соль его влияния на людей была в том, что они были уверены, будто у него есть дар. Хотя он и жил как человек без прошлого, и никогда не предавался воспоминаниям — даже с детьми, — и, как казалось, всегда смотрел только вперед, Джорджи знала, что у него есть болезненные тайны. Он был вдовец и ребенком потерял мать. Он отказывался обсуждать обе эти потери, и иногда Джорджи замечала в нем подавленную ярость, но только рада была не быть ее объектом. Это случалось редко; такие вспышки проходили быстро, но сильно нервировали Джорджи. Наблюдая, с какой осторожностью и уважением относились к нему горожане, Джорджи удивлялась: уж не думают ли они, что рыбацкая удача — это изнанка его личной жизни, уж не верят ли, что за свою невероятную везучесть он заплатил высокую цену? Джорджи знала, что люди приходят, чтобы

поддерживать с ним добрососедские отношения, но еще и в надежде, что смогут унести с собой частичку его удачи. Он это терпел, но, кажется, втайне это ему было ненавистно.

Джим обожал рыбачить, но желал, чтобы его сыновья занялись чем-нибудь другим. Он не хотел, чтобы они проследовали по стандартной уайт-пойнтовской траектории, которая начиналась вылетом из школы в возрасте пятнадцати лет, а заканчивалась на палубе или в тюремной зеленой робе. Его самого Билл послал в особую школу-интернат, известную тем, что из нее выходили политики и преступники из белых воротничков. Ни Джошу, ни Брэду ни дня в жизни не пришлось бы работать, если бы Джим на этом не настаивал, но он считал, что главное — это трудолюбие, образование и честное поведение. Все это делало его еще менее похожим на остальных уайт-пойнтовцев. Спустившись с мостика, как с петушиного насеста, он преображался в честного, прямого и вдумчивого человека. И он всегда был добр к ней. Он был мужиковат и, пожалуй, немножко зануден, особенно в последнее время, но нарциссистом или нытиком он не был. Она уже повидала изрядную долю — и даже больше — мужчин, которых придумывала сама, и после

всех них Джим был как глоток свежего воздуха. Они были нестандартной парой — Джорджи это всегда очень нравилось. Но во всем этом самое стыдное было то, что в последнее время каждый раз, перечисляя для себя его добродетели, она оставалась с ощущением того, что пытается себя в чем-то убедить; и в ней с каждым днем росло опасение, что они все меньше и меньше подходят друг другу.

После ужина Джим ненадолго отлучился. Вернулся он с видеокассетой из гаража Бивера. Джорджи и Джим просто шалели от Бетти Дэвис. Огромный и волосатый отставной байкер специализировался на самых невинных годах Голливуда. Из всех жителей этого города Бивер был больше всего похож на друга Джорджи.

— «Все о Еве», — сказал Джим. — Последний ее понастоящему хороший фильм. И Мэрилин Монро.

— Ага.

— Так что подавай в суд: тот самый парень — это я.

Джорджи помогла ему уложить мальчиков. Джош, лицо которого смягчилось в свете ночника, умоляюще посмотрел на нее.

— Папа говорит, я должен накопить на новый

скейт.

— Извини, дорогой, — пробормотала она. — Но это была случайность, и ты сам знаешь, что мы пытались убедить тебя, чтобы он не валялся на дороге.

— Но это же сто пятьдесят долларов.

— Я тебе добавлю.

— Да?

— Колеса ведь в порядке?

— Похоже на то.

— Так что только новая доска.

Джош задумчиво потянул себя за пуговицу.

— Посмотрим в рыболовном магазине завтра.

— Не говори папе.

— Почему, дорогой?

— Он на меня разозлился.

— Ну, ты ведь обидел меня. Это больно, Джош. У меня тоже есть чувства.

Воспоминание о слове на букву «м» проскользнуло между ними. За эти последние недели в доме еще витал отзвук этого слова.

— Спокойной, — резко сказал он.

— Джош?

— Ну?

— Я подумала, что ты мог бы и извиниться.

— Не я же это сделал.

Джорджи поднялась с колен и оставила его. Наверху, в гостиной, Джим уснул, все еще сжимая погодную сводку и пульт от телика в руке. Окна тряслись от южняка.

Дом был похож на самолет — конец взлетной полосы, педаль газа в пол. Или, может быть, Джорджи принимала желаемое за действительное? Она уселась и все равно стала смотреть кино. Мэрилин Монро пришла и ушла без нее, выпячивая эти свои губы дальше некуда. Джорджи расправлялась с бутылкой шардонне, ненавидя Энн Бакстер, удивляясь, как мисс Дэвис всегда ухитрялась выглядеть такой старухой, поднимая бокал за восхитительно холодного Джорджа Сандерса.

Пленка кончилась и автоматически перемоталась, и, когда звук затих, она осталась сидеть, и ее окружал гул работающей бытовой техники.

Она нетвердо встала, безрезультатно проверила электронную почту. Там был только мусор: извращенцы, торговцы, обычный хлам. Она осторожно спустилась вниз и взглянула на мальчиков. Брэд спал, запрокинув голову, как его отец. Он потерял свое детское обаяние. Она предполагала, что скоро и с Джошем произойдет то же самое. Можно понять, почему учительницы рети-

руются под сень приятной уступчивости девочек, порученных их попечению. Насколько Джорджи могла судить, после девяти лет мальчики не заботятся о том, чтобы доставлять людям приятные чувства. Джош спал у себя раскрывшись. Он лежал в позе морской звезды, и в горле у него тихо клокотало. Она хотела прикоснуться к нему, пока он безоружен, но подавила в себе это желание.

Что это с ним? Неужели он чувствует ее уход? Неужели его поведение — предупредительный удар? Господь свидетель, он пережил взрыв горя, когда ему было шесть. Может ли он инстинктивно чувствовать эту перемену? Он ли этой зимой заставил Джорджи бросить свою ношу — или просто уловил, что она начинает отдаляться от них?

И где же теперь его твердость? Не то чтобы она могла обвинять в этом мальчика. Немного твердости ему не повредит. Когда она сама была девочкой, уж твердости-то у нее было в избытке, так? Она презирала девичью смиренность своих сестер, их хитроумные, отчаянные способы быть милыми — из страха, что перестанут быть в фаворе. Они были стратегически сговорчивы. А Джорджи — нет. И все же она *была* в семье гадким утенком. Дядя однажды сказал, что уж если у кого и есть хрен в этой семье, то у нее, а не

у отца. Этот самый дядя и лапал ее, когда ей было пятнадцать. Она поднялась наверх, к рабочему столу своего отца, и показала дяде визитку, от которой тот вытаращил глаза. Начальник дяди, редактор газеты, в которой тот работал, ходил с отцом Джорджи в море, и на карточке были указаны его домашние телефоны. Если дядя еще хоть раз войдет в комнату, в которой будет она, и в комнате не окажется еще по крайней мере одного взрослого, сказала Джорджи дяде, она позвонит. Это, конечно, сильно улучшило атмосферу на рождественских семейных сборищах в семействе Ютленд. Она выучилась железной воле. Джорджи принесла этот воинственный дух с собой в палаты дюжины госпиталей. Не считая чувства юмора, одно это помогало ей, когда приходилось вытаскивать куклу Барби или бутылку из-под «Перье» из заднего прохода какого-нибудь хнычущего искателя приключений. Это помогало ей выносить вид обгрызенных до мяса ногтей любимой сестры. Или пистолетный звук ломающихся ног верблюда, когда его переезжает на полной скорости кадиллак. Это в целом защищало от ощущения, что ты справляешься, что твоя собственная душа увядает. Но если от тебя отворачивается ребенок — тут не поможет

никакая железная воля.

Джорджи влачилась через предрассветные часы. Киберпространство задыхалось от острой тоски, от фантазий, похоти и неграмотности. Чаты были полны прыщавыми мальчишками из Мичигана и дочерьми индийских дипломатов, которые предпочитали выражаться как Лиза Симпсон[3]. Они вынесли Джорджи обратно в реальную ночь.

Она шла по темной ложбине между дюнами, прислушиваясь к собственному дыханию. Задолго до рассвета она увидела тень человека, выводившего свой катер в лагуну, а его пес легко носился по берегу. На секунду пес замер, встал, не донеся лапу до земли, будто почувствовал, как она съежилась за дюнами у них за спиной. Она услышала, как за спиной кашлянул четырехтактный мотор, когда она, пригнувшись, поползла по направлению к дому.

* * *

Пронаблюдав за браконьером неделю, Джорджи поняла, что все зашло слишком далеко. Она

---

[3] Примечания: 3
Персонаж мультсериала «Симпсоны».

больше не могла рассказать Джиму или кому-нибудь еще, не вынеся тем самым приговор самой себе. Пару раз она даже покормила этого пса; отвязала его и поплавала в лагуне. Она чувствовала себя соучастницей и оттого была растревожена и ощущала полную беззащитность.

Из чувства какой-то смутной вины она тайком дала Джошу денег на новый скейт, но Джим узнал и заставил мальчика вернуть скейт в магазин и отдать ей деньги. Он не может поверить, сказал он, что она решилась так подорвать его родительский авторитет. Такое проявление авторитета ей приветствовать было сложно, но и раскаяния она тоже не чувствовала. Они расправились с Бетти Дэвис с мрачной сосредоточенностью.

Джорджи подумывала рассказать Биверу о том парне с лодкой. Ей нравились их разговоры о золотом веке у бензоколонки. Бивер был груб каким-то особенно утешительным образом. Его борода приобрела цвет стальной стружки, а лохмотья придавали груди и рукам израненный вид. Он любил носить черные джинсы 501-й модели и синие фуфайки, которые обрисовывали расщелину между ягодицами и чудовищное брюхо. Рабочий комбинезон, когда он соизволял его надеть, прятал задницу, но увеличивал пузо. У

него не хватало переднего зуба, но и остальным не долго оставалось жить на белом свете. Кепка «Докерсов» скрывала его лысеющую макушку, но сзади на всю длину потной шеи свисал жиденький крысиный хвост. Подкованные железом ботинки были поцарапаны и вычернены маслом. Джорджи пыталась представить себе, как он снимает их по вечерам, перед тем как ложиться в постель, — какими странными голыми штуками должны быть его ступни!

Была какая-то тайна в том, что он бросил байкерствовать. Она не могла заставить его говорить о том, как он стряхнул с себя лохмотья, как он потерял цвет. В свое время он, должно быть, был прикольный, но теперь в нем была какая-то печаль.

Сегодня передний двор был пуст. Она нашла его в мастерской, где на подъемнике стоял чей-то кусок дерьма в виде «Нисана».

— «Окаменевший лес», — сказал он, не поворачиваясь.

— Что ж, ты нам его сам одолжил, — отвечала она.

— Лесли Ховард. Вот черт, а? Что за уродский ублюдок! Как это он пролез туда с Бетти, думаешь? Чтобы она поприличнее выглядела? И это

лучшее, что англичане могут предложить большому экрану в период между двумя войнами? И даже в пайке ему не откажешь, этому блядскому коротышке.

— Ну, — сказала Джорджи, — теперь у них там Джереми Айронс.

— Да, ешкин кот!

— О, у него тоже бывают такие моменты.

— Да что ж они какие-то все недокормленные, бедные сучары? И Ра-а-альф Файнс[4], черт побери!

Бивер вытер руки о старую майку и взял кассету, которую она принесла.

— Слушай, — начала она, — ты когда-нибудь… Когда-нибудь видел тут поблизости что-нибудь странное, Бивер?

— Да брось ты, Джордж! Это же Уайт-Пойнт. Странное? Это же моя работа. Привечаю странников и скручиваю лишние мили.

Она рассмеялась. Странники, видишь ли.

— Да я серьезно, — продолжила она. — По утрам, в смысле. На пляже. До рассвета.

— Ничегошеньки, милая.

— Никогда?

---

[4] Примечания: 4

Ральф Файнс — английский киноактер; играл в фильмах «Английский пациент», «Онегин» и пр.

— Никогда.

Она смотрела, как он очищает руки от смазки. Увидев, что она заинтересовалась, он расправил ткань, чтобы она могла рассмотреть. Это была майка с гастролей Питера Аллена. Бивер поиграл бровями. Но она не стала расспрашивать.

* * *

Высоко на холме, за заброшенными арбузными бахчами, где каменоломня вдается в изгиб реки, среди известняковых башенок стоит Фокс, вдыхая печеную сухость земли и ощутимый привкус слизи с морских ушек на коже. Соленые южные порывы льются через холм, и поставленные стоймя камни посвистывают. Он вынимает бумажник. Смотрит на недействительную лицензию и поддельные документы. Вытаскивает сверток банкнот. Подходит к наклоненному камню и засовывает руку в трещину. Кончиками пальцев нащупывает квадратную жестянку и вытягивает ее вместе с фонтанчиком пыли, рассыпчатой, как детская присыпка. Жестянка из-под чая, «Русский караван» от «Твайнингс». Открывает крышку, принюхивается снова. Немедленно жалеет об этом.

В жестянке — толстая пачка денег, перехвачен-

ная слабой высохшей резинкой. Еще — несколько песчаных долларов[5], раковина морского ушка размером с детское ухо, несколько высохших цветков боронии, два дымчатых кусочка мрамора и осьминожий клюв. Подо всем этим — несколько крохотных клочков бумаги, свернутых в шарики. Фокс обдумывает, не приложить ли раковину к уху, медлит, но потом решительно добавляет деньги к пачке. Резинка без особой убежденности хлопает и сжимает пачку. Он захлопывает крышку и кладет жестянку обратно в укромную ямку. Не задерживается.

* * *

Борис вернулся на работу. Джорджи плохо спала, ходила крадучись, пила и не бывала на пляже ночью. Рядом с почтой она однажды увидела женщину в бикини с ребенком, который отдирал «дворники» от «Хилюкса». В кабине другая женщина показала ей средний палец, подняла стекло и заперла дверь.

Джорджи обнаружила, что ухаживает за Джошем и потакает ему. Она чувствовала себя как какая-нибудь девка, которая подлащивается, что-

---

[5] Примечания: 5
Песчаный доллар — вид моллюска с круглой раковиной.

бы вернуть отобранные денежки. Она презирала себя. А парню было все равно. Он возвращался из школы с несъеденными завтраками, не смотрел в глаза, выходил из комнаты, когда входила она. Его стойкости можно было только позавидовать.

Однажды она зажала Джоша в угол в его собственной комнате, где он лежал на кровати с фотоальбомом. Она уселась рядом и обняла его за плечи, чтобы не столько утешить его, сколько удержать.

— Что, если мы придумаем какую-нибудь общественно полезную работу, чтобы ты смог выкупить скейт?

— Все равно скоро Рождество, — сказал он.

— Правильно.

— Так я и подожду.

Она не сразу осознала, что он сказал. Джорджи едва сдержала смех — над силой духа ребенка, над его уверенностью. Но тут же она почувствовала, как он напрягся и все его тело с отвращением отдернулось от ее смеха. Он воспринял это как насмешку. Ей хотелось биться головой об стену.

Джош отодрал липучку со страницы альбома и вырвал фотографию своей матери. Он ткнул ею в лицо Джорджи и потом поднял фотографию над ее головой каким-то жреческим жестом, значе-

ния которого она не поняла. Его рука дрожала от ярости. Фотография была похожа на полную банку, которую он может опорожнить ей на голову в любой момент.

— Чужая-плохая, — пробормотал он сквозь молочные зубы. — Чужая. Плохая.

Джорджи заставила себя встретиться с ним взглядом, и он начал бить ее фотографией. Он бил не сильно, просто хлопал по ушам, рту и носу, — высокомерное движение, от которого ее глаза налились слезами.

Потом оба поняли, что в дверях стоит Брэд. Казалось, образ матери загипнотизировал его.

— Да ты даже и не помнишь, — сказал он брату.

— А вот и помню.

— Положи назад.

Джош вставил фотографию в положенное ей липкое гнездо и прикрыл целлофановым листом. На поверхности целлофана появилась капнувшая слеза.

— И лучше извинись.

— Он извиняется, — сказала Джорджи. — Я знаю, что извиняется.

Джош засопел и закрыл альбом.

Брэд отступил, чтобы дать ей пройти. От него

пахло апельсинами. Он смотрел в сторону, когда она проходила мимо него.

Было уже за полночь, когда какой-то древний рефлекс заставил Джорджи поднять глаза от компьютера и увидеть отражающееся в окне бесстрастное лицо Джима. Он стоял в другом конце комнаты, за ее спиной, и не знал, что она может его видеть; он постоял там некоторое время, опершись бедром на угол лестницы, почесывая подбородок. Не так снисходительный мужчина тайком смотрит на свою возлюбленную. У него было закрытое и напряженное лицо, его выражение невозможно было разгадать — и дрожь неуверенности, если не страха, пробежала по ней.

— Привет, — сказала она.

— Поздно, — ответил он. — Уже поздно.

* * *

Пока он сматывает лески на катушки и складывает крючки на тарпона, дизельный генератор тихо урчит за стеной. Он поднимает румпель вверх, проверяет батареи и рулевое управление, наклоняет каждый мотор вверх и вниз, а потом вытирает стекло и консоль. Ветер уже на востоке.

Завтра будет жарко, как в аду, море спокойно, вода чиста.

Он слезает с транца и мимоходом почесывает голову пса. Длинная стена сарая увешана гирляндами инструментов — ножницы, рычаги, косы, пилы, скобы, — все это раньше принадлежало старику; смешно, потому что единственное, чем он пользовался, — это ломик и моток проволоки. Проволочная петля была его ответом на любую головоломку, техническую ли, сельскохозяйственную или теологическую. Над скамьей в балахоне из пыли висит табличка, которая раньше висела в кухне.

> Христос есть глава дома сего,
> Гость невидимый за каждою трапезой,
> Немой слушатель каждой беседы.

Рядом с ней — мандолина без струн, «Дредноут-Мартин»[6] с дырой в боку и футляр от скрипки, покрытый наклейками и пятнами.

От широкого входа в амбар без дверей Фоксу видны тени кенгуру на арбузной бахче. За ними, до самой реки, ревут на ветру эвкалипты. Пес напрягается, ворчит, и Фокс хватает его за

---

[6] Примечания: 6
«Дредноут-Мартин» — марка гитары.

ошейник. Сбитые с толку ветром, кенгуру поворачивают головы, через несколько мгновений собираются в команду и отступают во тьму. Он не может себе в этом признаться, но это зрелище потрясло его. На том конце двора, обставленного по периметру выпотрошенными автомобилями, неожиданно появляются четыре фигуры. Он идет босиком к дому и чувствует, что его ум выбит из безмятежности. Чувство легкости ушло. Он снова дисциплинирован. Эти дни он живет только силой воли.

Сначала он жарит рыбу псу, ломоть морвонга с мраморным рисунком, над которым шавка и склоняется со сладострастием. Фокс недолго наблюдает, как пес подталкивает жестянку по грязи, и уходит внутрь, чтобы приготовить себе несколько филейчиков скорпида[7]; их он съедает возле раковины, сто?я. Споласкивает тарелки, ставит их просушиться. Открывает бутылочку домашней. Размышляет, не побриться ли. Напоминает сам себе, что завтра в городе надо бы прикупить несколько канистр горючего. Осушает стакан. Чувствует беспокойство. Должен ложиться спать, чтобы выйти в четыре утра.

---

[7] Примечания: 7

Скорпид (Genus Scorpis) — типичная для западного побережья Австралии небольшая тропическая рыба.

В нарушение ритуала он обходит старый деревянный дом комнату за комнатой. Он не знает, почему делает это. Может, проверяет, один ли он. Не хочет об этом думать.

Библиотека — пусто. На сиденье кресла-качалки — открытый том Китса, похожий на чайку. Ветер стонет в камине.

У двери детской он смотрит на недоупакованные картонные коробки. На ужасную коллекцию сушеных рыбьих голов на подоконнике. Застеленные кровати. Цветные карандаши на полу.

Идет по холлу мимо своей комнаты в ту, где стоит двуспальная кровать. Весь день он держится. Живет в настоящем времени. И все только для того, чтобы вот к чему прийти.

Садится на кровать. Запах несвежего постельного белья поднимается вокруг него. Смотрит на истрепанный «Левис», повисший на сосновом стуле, и прикасается к изношенному шву пальцами ног. Волосы на его руках поднимаются дыбом. Он протягивает руку и ощущает, как джинсовая ткань посвистывает под его мозолистыми пальцами, когда он сжимает ее. Фокс стягивает джинсы со стула и видит, что они все еще хранят форму ее тела. Зацепившись поясом, джинсовая ткань раскрывается, и кажется, что это ее соб-

ственная кожа. И снова Фокс бессилен перед ее формой, он не может удержаться и не потрогать ее, не прижать ее к лицу — прижимать, пока молния не укусит его за губу. Он падает на кровать, склоняясь под ее весом, корчась под ним, пока не кончает, в жалком, постыдном поту, и остается лежать в полном отчаянии.

«Нельзя этого делать», — говорит он сам себе, направляясь к двери, и натыкается на зубчатую стальную гитару, и проходит мимо, а чертова штука падает с грохотом на пол, и звенит, и остается валяться позади.

И проходят часы, прежде чем он засыпает, годы, которые он лежит в лихорадке самообладания, отрицания, взаимных обвинений. Когда приходит сон, он снова уничтожает его: ни власти, ни точки опоры, ни защиты.

К нему приходят мерцающие уколы воспоминаний, которые волнуют кровь и кости, а дом скрипит на своих сваях, и его деревья стонут.

Захлебывающийся заливчик. Камни горят и звенят. Желтый песок звенит звоном той гитары. Она гудит, гудит в металлической раме кровати, и у его уха — горячее дыхание ребенка, пахнущее «Веджемайтом». Живица. Медные струны. Походные огни, походные огни. Семяизвержение.

Хиппарь с задранной бородой на конце шеста, и его мать, скрючившаяся среди арбузов, которые тихо выпивают воду, как птицы на корточках. Корзинка с яйцами: звякающие священные навозные орехи в коричневой скорлупе. И это мальчишеское чувство, уверенность в том, что ничто плохое никогда не случится, что ничто никогда не изменится.

* * *

Когда мальчики ушли в школу и утро белым светом ворвалось во все окна, Джорджи вошла в спальню, чтобы переодеться. Она бросила влажное полотенце на кровать, где была разложена ее одежда — шорты, трусики, майка, и была потрясена тем, какие они мягкие, потертые, маленькие. Как будто можно было в этом сомневаться. Это же ее вещи, так? Сегодня утром три этих прилагательных были совершенно в тему.

Она до дрожи не любила зеркала, но теперь обнаружила в себе достаточно ненависти, чтобы открыть дверь платяного шкафа и посмотреться в зеркало на двери в полный рост.

Джорджи выросла в доме, заставленном зеркалами, среди женщин, которые просто не могли пройти мимо зеркала, не повертевшись перед

ним. Женщины Ютленд стремились к зеркалам, как узники стремятся к окнам. Они, казалось Джорджи, крались от одного к другому, подходили бочком, штурмовали зеркала, чтобы те впитывали их отражение, и хмурились, и кивали, жеманно улыбались и смотрели искоса. Сестры унаследовали это от матери, которая играла бровями и скалилась, подвигая их к сравнению, а может быть, и к соревнованию с ее красотой. В пятнадцать, старшая и все еще девственница, Джорджи прокляла чертово зеркало и открыла кампанию язвительного непокорства. Двенадцать недель длилась эта отнимавшая все свободное время кампания против матери, и за это время Джорджи успела потерять свой цветок, но не свою партизанскую ухмылку. С тех пор она больше никогда не считалась одним из членов семьи.

Теперь она смотрела на свое тело так, как давно уже на него не смотрела. Да, маленькая. *Компактная,* как говорится. *Изящная* – эта мысль будто протягивает тебе пояс Алисы и кардиган, Господи Боже мой. Итак, маленькая. *Коротышка.* Темные волосы, густые и блестящие, падают прямой челкой на глаза, так что теперь она выглядит резко и даже сурово. Маленький шлемик волос.

Она довольно-таки ничего, она всегда это знала. Выступающая верхняя губа, носик, загорелая кожа с гусиными лапками от солнца и тенями от всего остального. Глаза? Она знала, что у нее взгляд овчарки. Неудивительно, что ее боялись люди в школе и в палатах. Полоски загара на плечах переходили в глупую белизну грудей. Господи. Даже без них одежда придает ей какую-то форму. У нее был вывернутый наружу пупок и гладкий живот, хотя на ногах уже проявились вены — сказывались годы ковыляния по палатам. Непослушные волосы на лобке.

Прошло три года с того утра, когда она впервые увидела Джима Бакриджа с детьми на пляже в Ломбоке. Из своего номера в «Сенгтигги Шератоне» она высмотрела его из толпы в крохотный бинокль в пятнах соли и наблюдала, как он шагает по вулканическому песку пляжа, пока его мальчики ныряют с маской на мелководье. Она заметила его только потому, что пряталась от другого мужчины. Забившись в норку в своем отеле, она не могла ничего, кроме как высматривать в свой паршивый бинокль кое-кого, кого она должна была бы бросить и забыть еще два месяца назад, — Тайлера Хэмптона. Проделав морем весь путь от Фремантла на север по западной оконеч-

ности Австралии с сумасшедшим американцем, страдающим морской болезнью, пережив дьявольский шторм под Зюйтдоорпскими скалами и двухдневное сидение на мели на островах к северу от Кимберли, — уже в море Тимор надо было сказать, что они в расчете. Парень был симпатичный, роскошный жулик, любил выбираться в однодневные путешествия, он был опасен для общества и для самого себя, и Джорджи слишком долго вводила себя в заблуждение. И потом, наконец, в миле от ломбокского пляжа случилось унизительное столкновение с другим судном — и это пробило скорлупу и заставило ее принять решение. Пока Тайлер Хэмптон бросал якорь в ста метрах от нее — помпы не работали, — она соскользнула с борта в последнем свете дня, взяв только бумажник, туфли и паспорт. Бинокль все еще болтался у нее на шее, когда она поплыла.

С любого расстояния Джим Бакридж выглядел как типичный австралиец. Гусиные лапки у него были как ножевые порезы. Он был по-деревенски красив — таких она обычно старалась избегать, — ему было сорок пять, и он выглядел на свои. Джорджи всегда притягивали этакие ящерки, обитатели гостиных, мужчины с заостренными бачками и приподнятой бровью. А этот

парень был горожанин. Хотя его физическое присутствие было весьма ощутимым, он выглядел нерешительно и даже испуганно, как будто бы он только что проснулся и очутился в совершенно другом, более жестоком мире. Он не заслуживал бы второго взгляда, но эта очаровательная опустошенность так заинтриговала Джорджи, что она решила найти способ с ним познакомиться. По крайней мере, ей нужна была передышка. Но неожиданно для себя самой Джорджи начала испытывать любопытство. Она сказала себе, что просто хочет послушать его историю.

Вернувшись в Перт две недели спустя, она возмутила новостями сестер. Услышав, что старшая дочь съезжается со вдовцом, краболовом из Уайт-Пойнта, мать рассмеялась с тем особым отзвуком разочарования, который она оставляла исключительно для Джорджи.

Джорджи часто задумывалась об этом смехе. Она думала, уж не страх ли снова услышать этот холодный отзвук держит ее здесь эти последние месяцы, не дает ей уехать, когда уже совершенно ясно и понятно, что дела катятся в ничто.

Она отвернулась от зеркала, ступила в пещеру платяного шкафа и вытащила сумку «Квантас».

* * *

Поскуливание пса будит его. Он смотрит на светящийся циферблат часов и видит, что уже пятый час. Вот и говори после этого, что животные не чувствуют времени. Заставляет себя подняться. Принимает душ; полотенце, пропеченное солнцем, жестко, как черствый хлеб. Пес скребется в заднюю дверь. Пес знает правила, но живет постоянной надеждой, что внутри его ожидает рай. Надо бы нарушить традицию, думает Фокс, и как-нибудь впустить его. Увидеть линолеум и умереть. Зассать всю комнату в смертном восторге. И еще разбить ему сердце. Потому что каким-то странным образом пес верит, что остальные все еще внутри, что они здесь, полеживают себе в кроватках, просто позволили себе поваляться немного. Жестоко будет впустить его внутрь. Он натягивает шорты, ставит чайник и выходит, чтобы утешить шавку парой игривых хлопков по заднице. Во тьме — поднимается восточный ветер — земля пахнет свежим печеньем.

…На сиденье в кабине лежит рубашка, и он надевает ее, пока прогревается мотор. Он выезжает, не включая фары, а катер позвякивает позади по белым колеям дороги. Через ворота и на асфальт.

Буш и плантации неразличимы. Никого нет вокруг. У него перед ними преимущество, но он дергается не меньше пса все те двадцать минут, которые нужны, чтобы доехать до Уайт-Пойнта; и там, со склона холма, упирающегося в город, он видит кладбище бурунов, которое отмечает границы внешнего рифа. Он пробирается по пустым улицам к пляжу и на секунду притормаживает, чтобы окинуть взором лагуну. Ни души. Он первый.

Едет мимо пристани, разворачивается, подъезжает к воде задом и спускает катер. Сбрасывает зажим — катер остается в наклонном положении — и постепенно сдает назад, пока катер не шлепается на воду. Вытащив снаряжение на дюну, он привязывает пса и бросает кусочек льда в жестянку у его ног. Шавка усаживается, несчастная, но в стоической готовности, припадает брюхом к песку.

Фокс толкает катер, пока его не подхватывает бриз. Он встает на транец, опускает мотор и заводит его. Правильный шум четырехтактной «Хонды». Он берется за рычаг и начинает пробираться между полями водорослей, мимо заякоренных лодок, собирая приборы — радио, эхолот, систему спутниковой навигации. Лагуна

все так же по-старому загадочно пахнет кислым молоком, который забивает запахи соли, белого песка и прикорма.

Он начинает чувствовать себя хорошо. Вот для чего он живет, для этого чувства, он знает, что они все еще на берегу, в своих постелях, они забывают «Эму Экспорт» и постельные игрища, а у него уже есть целое море — у него одного. «Пусть спят до рассвета, — думает он. — Пусть у них будет их кофе и руль в рубке, „Зи-Зи Топ“ на стерео. Фоксы все еще первые».

В проливе, почти за милю от берега, он притормаживает, чтобы найти свои вешки, и заводит второй мотор. Палуба начинает вибрировать, когда он выжимает дроссель, чтобы нос у катера поднялся. Набирая скорость, он ощущает только, что прямые линии волн сходятся у прохода между рифами. Он стартует в волнах брызг и гикает.

Еще до первых лучей солнца в месте, где он не был с мая, Фокс выбирает два хороших заброса. Лески так тяжелы, что ему приходится поднимать их лебедкой. Длинноперая треска, окуни, люцианы. Он быстро убивает их и замораживает. Остаток стайки южных голубых тунцов проплывает мимо убийственно красивой лентой. Он дает им уйти: это и так-то довольно редкое зрелище.

Кругом все еще никого, так что он ловит свое счастье и перемещается на мелководье; там он бросает якорь в месте, где, как он знает, есть морские ушки. Натягивает гидрокостюм, маску, ласты.

Вода тепла, хотя и мутна от планктона и ила и непрозрачна в утреннем полусвете. Он погружается одновременно с маленьким дельфином; тот чирикает, и этот звук приятно насвистывает в ушах Фокса. Кровь течет по венам Фокса тонкой струйкой, тонкой, как медная проволока. Вдали показывается дно, и вот она, длинная расщелина рифа, в которую как раз можно пролезть, а внизу — скрытая от постороннего взгляда шероховатая колония моллюсков. Он вытягивает из-за пояса маленькую черпалку и раскрывает сумку. Работы на пятнадцать минут. Все так живо, так по-настоящему, так ясно. И лучи солнца пробиваются сверху, вспахивая воду.

Услышав звук мотора с востока, Фокс снимает катер с якоря и устремляется к восходящему солнцу. Его слепят водяные сияющие глыбы, но он знает, что, если кто-то сейчас на страже, его уже засекли радаром. Мужчины и мальчишки, которых он знает. Короли океанской волны. Да, впрочем, они все равно будут пыхтеть на авто-

пилоте, запрокинув головы в забытьи храпа и дурного дыхания. Не о чем особенно беспокоиться. И все же он смещается на несколько минут к югу, чтобы быть в безопасности, и проходит мимо них незамеченным. Отсюда земля похожа на плохо пропеченный кекс, и все эти песчаные белые впадины в кустарнике цвета хаки похожи на беспорядочно разбросанные пятна сахарной глазури. Фокс лавирует между полями водорослей и отдельными плетьми, отклоняясь от курса каждого встречного судна, пока огромное волнообразное поле дюн не отмечает единственный город на много миль вокруг. Наглость возвращаться так поздно, но ему ничего не остается делать, как только посмотреть, нет ли на пляже посторонних, и войти в пролив обычным гражданином, который вернулся после нескольких часов отдыха за ловлей рыб.

На шоссе, как раз за городом, его восторг достигает высшей точки, как сияющий припадок безумия, до тех пор, пока его не высушивает горячий ветер. И смертельная тяжесть снова наваливается на Фокса. Он вгрызается в яблоко, которое пеклось на приборной панели, и сок кипит у него во рту. Он держит руль одной рукой. Пес слизывает с его икры соль. Ветер обжигает

его из приоткрытых окон; человек и собака щурятся от его порывов. Земля размякла от жары. Над низкой серой пустошью несколько рождественских елок, кажется ему, плывут в воздухе по вертикали. Они шагают в потоке миража, и их роскошные оранжевые цветки вздымаются ввысь. Еще выше ястребы выписывают восьмерки в октановом небе.

На повороте, увидев у бровки автомобиль с поднятым капотом, он инстинктивно бьет по тормозам, но всего через секунду приходит в себя и газует. «Лендкрузер», мать вашу так! Рыбнадзор! Чче-орт!

Пес нерешительно приподнимается. Фокс смотрит в зеркало заднего вида, чтобы посмотреть, кто едет за ним, но позади никого нет. Слишком узко, чтобы развернуться с прицепленным-то катером. Кроме того, куда он может повернуть, кроме как обратно в Уайт-Пойнт? Без катера у него еще и был бы шанс — никто лучше его не знает тропинок в буше и просек, — но к тому времени как он отцепит трейлер с преступным содержимым, его уже окружат, и вот тут начнутся неприятности, это уж как пить дать.

Приближаясь к стоящей на обочине машине, восьмицилиндровый двигатель «Форда» с чув-

ством мурлычет. Но Фоксу конец, и он это знает. Никогда ему не уйти от них по асфальту с этаким-то грузом. «Лендкрузер» разрастается, пульсирует ярким светом. «Сам виноват, — думает он. — Ты, чертов ублюдок, надо было тебе шататься вокруг, будто бы это твой собственный долбаный залив».

Когда Фокс проезжает мимо, закостенев в ожидании удара, он замечает голые женские ноги, свисающие с полированной стали подножки. Она склонилась над капотом. В джинсовых шортах. Просто женщина, не из этих. Он ударяет по тормозам.

Прижавшись к гравийной обочине, Фокс некоторое время просто сидит, вытягивая шею и всматриваясь в боковое зеркало заднего вида. Женщина вылезает из-под капота «Крузера» и смотрит в его сторону через плечо. Она слезает на гравий и ждет. Руки на бедра, если не возражаете.

Пес напрягается. Он становится лапами на раму окна и скулит. Фокс втягивает воздух сквозь зубы. Черт, черт, черт. Он знает, что должен ехать. Не успеет и птичка чирикнуть, как здесь будут другие машины. С ней здесь ничего не случится; не так уж и жарко. И это вполне может быть под-

става. Эти заросли банксии рядом с ней вполне могут быть набиты крепкими молодыми людьми в хаки. Он включает передачу. Извините, леди.

И тут собака спрыгивает на гравий и убегает. Фокс в удивлении глушит двигатель и с отвращением бросает свое недожеванное яблоко вслед шавке. Боже всемогущий!

В зеркало он видит, как пес вьется вокруг женщины, а она наклоняется, чтобы потрепать его. У нее короткие, темные волосы, на ней белая майка, джинсовые шорты и теннисные тапочки. Может быть, туристка, но большой, цвета золотой металлик, серии люкс полноприводной автомобиль — не арендованный. И пес почти обнимает ее. Он оттягивается, как полагается, с шоссе и выходит, чтобы встретить музыку лицом к лицу.

Гравий под ногами горяч и остер. Ему приходится высоко поднимать ноги, чтобы продолжать идти, и, мать вашу за ногу, ему нужны туфли, любые, чтобы сохранить хоть какое-то достоинство.

— Тот, кто медлит, пропал, — говорит она, заслоняясь рукой от солнца.

— Да?

— Добрый день.

— Неприятности?

— Он просто закашлялся и отрубился, будто

как горючка кончилась, — говорит она. — Вроде показывает полбака, но, похоже, бензин не доходит до мотора. Я почти посадила аккумулятор, пытаясь его завести.

Фокс нервно теребит шорты.

— А-а… Наверное, инжекторы?

— Не знаю. С этими турбодизелями одни заморочки. Даже в зажигалки теперь вживляют микросхемы.

— Вон оно как.

Фокс переводит взгляд с «Крузера» на гравий, а потом на нее. Солнце словно кроет эмалью глянцевый шлемик ее волос. Она стягивает солнечные очки со лба на глаза, и он видит свое отражение. Не очень воодушевляющий вид; он похож на пещерного человека, страдающего неврастенией.

— Простите, что отрываю, — говорит она.

— Я… звините, я вроде как могу подбросить вас обратно в Уайт-Пойнт, — с трудом выговаривает он.

Эта перспектива выдувает все дурные мысли из его головы. Какой стояк!

— Спасибо, — говорит она, — но, понимаете, мне надо попасть в город.

— Ну, я не могу вести вас с этим катером в кильватере. У вас ведь нет этого, как его, мобильного

телефона?

— Нет. Извините.

Пес прижимается к ее ноге. Фокс готов пнуть его в ребра. Он переминается с ноги на ногу, пока женщина гладит шавку.

— Слушайте, — говорит она, — мне, в общем-то, плевать на машину. Я могу позвонить потом, чтобы ее кто-нибудь забрал. Мне надо быть в Перте.

— Ясно.

«Да, мать ее так, — думает Фокс, — это уже совсем не есть хорошо. На пути в Перт нет маленьких городков, и даже заправки нет до самой окраины. Я не могу бросить ее на солнце, не могу отвезти ее в Уайт-Пойнт без того, чтобы произошла чертова сцена, и не могу отвезти ее в Перт, не избавившись от катера, а это значит, сначала придется везти ее домой. Она оставляет на обочине «Тойо», который тянет на восемьдесят штук. Наверное, краденый. В конце концов, она же спешит. Кажется, очень даже спешит. И вот он я с хреновой тучей незаконной рыбы».

— Слушайте, мне правда очень жаль, — говорит она. — Вы, кажется, заняты.

— Нет, я просто рыбачил. Выходной.

— Много поймали?

— Ну… там, того-сего. И говорить не о чем.

— Жарко, да?

Фокс улыбается:

— Да уж, погодка. Слушайте, я должен попасть в Перт, так вот оно выходит.

— Значит, вы не из города?

Фокс смотрит на нее и не понимает, то ли это улыбка исчезает с ее лица, то ли она морщится от вьющихся кругом мух.

— Нет, — бормочет он. — Я съехал с шоссе несколько минут назад. Мне надо отцепить катер и все такое, но после этого я вроде как могу вас подвезти.

Она вздыхает:

— Великолепно. Спасибо. Я только возьму сумку.

Фокс стоит под убийственным солнцем, а она наклоняется внутрь «Лендкрузера» и начинает собирать вещи. Его тошнит при одной мысли о том, что придется везти ее домой. Фокс даже не попытался завести ее мотор, но он будет выглядеть полным раздолбаем, если не примет на веру, что он не заводится. Надо подумать о том, как бы выгрузить улов из катера в грузовик, чтобы она не встрепенулась. Не похожа она на бабу из рыбнадзора. Очки не зеркальные. Глупая соломенная шляпа — вот она ее как раз вытаскивает. Но на

запястье у нее часы для подводного плавания. Она вытаскивает сумку «Квантас» и льняной пиджак.

— Вот и все.

— Запереть не хотите?

— А… да. — Она направляет бирюльку на свой джип, и фары вспыхивают. — Ну, — бормочет она, — хоть что-то работает.

— Отвянь от нее, собака. Извините, он немного бесцеремонный.

— А, да мы с ним старые друзья, — говорит она. — Дружелюбный пес.

«Чертов корм для крабов», — думает Фокс и идет обратно к «Форду», ступая как по угольям.

* * *

Джорджи сидела в потрепанной, пропахшей псиной кабине браконьерского грузовичка и пыталась не ухмыляться иронии всего происходящего. Господь свидетель, она была рада, что он остановился, но в его ситуации, если б башмак оказался на другой ноге, она вообще-то должна сразу побежать и настучать на него, и черт с ними, с приличиями. Джорджи и поверить не могла, что он решится рискнуть. У него нет ни малейшего представления о том, кто она такая, с кем она

живет. Джорджи, наверное, хотя сама в этом не виновата, его оживший, дышащий кошмар. Что он, такой крутой или просто мозгов мало?

Она смотрела на раздавленную жестянку из-под пива, высовывающуюся изо рта кассетной магнитолы. Это был единственный мусорный штрих в таком чистеньком и опрятном грузовичке. Ни свалки на полу, ни классического болота из инструментов, счетов и оберток, перекатывающихся по приборной доске. Да он чистюля.

Они не разговаривали. Браконьер словно оцепенел, а у нее болела голова, да так, что казалось, будто ей делают трепанацию черепа. Прошло десять минут, пятнадцать. Она не могла найти в себе сил, чтобы стряхнуть с колен голову пса.

Тут они медленно проехали мимо остова старого фруктового ларька, который казался смутно знакомым после всех этих поездок в город, и начали взбираться по грязному склону через комковатые бахчи какой-то выжженной солнцем фермы. Пока они подскакивали по колеям, чувство неловкости, исходившее от него, ощутимо усиливалось, вроде как закладывает уши при наборе высоты.

Пес вскочил, заволновался, а Джорджи посмотрела на водителя пристальнее. Он был высок,

строен, а кожа — коричневая от загара. Волосы у него были короткие и темно-русые, но солнце выбелило их кончики. У него были маленькие уши и мальчишеское лицо с голубыми глазами. Жизнь на вольном воздухе содрала с него лоск, но у него все равно было детское лицо. Каким большеглазым он, должно быть, был когда-то.

Он въехал в широкий, посыпанный песком двор, окруженный казуаринами и поломанными машинами, и, пока разворачивался, чтобы поставить катер в открытый сарай, она увидела некрашеный, обшитый сайдингом дом, который сутулился на сваях посреди опаленной солнцем бахчи. Пес царапнул ее когтями, выбираясь наружу через окно, и браконьер вышел, не говоря ни слова.

Джорджи минутку посидела, не зная, что делать дальше. Жара была убийственная. Скрипнул кран, где-то рядом забулькала вода. «Да черт возьми, — подумала она, — я выбираюсь отсюда».

Не успела она дойти до сарая, как он преградил ей путь.

— Там есть тень, — сказал он, указывая на деревья на другом конце двора.

— Все в порядке, — сказала она, натягивая соломенную шляпу, которая неожиданно показалась

ей похожей на шляпку от Лоры Эшли. — У вас нет, случайно, аспирина?

— Лучше идите в дом, — неохотно сказал он.

Несколько куриц выскочили из-под веранды, когда они подошли ближе. Он остановился у алюминиевого ведра на нижней ступеньке и бросил им горсть крошек.

После ослепительного двора кухня показалась ей прохладной и тусклой. Там пахло подсолнечным маслом, жареной рыбой. Все в порядке и просто — кухня, где хозяйничает женщина, если Джорджи в этом хоть что-то понимает.

Из старого холодильника «Аркус» он достал бутылку воды и налил два стакана. Открыл шкафчик.

Джорджи поблагодарила его и посмотрела на этикетку, а потом и на сами таблетки. Парацетамол. Ей бы сейчас, конечно, кодеина фосфата. И высокий стакан семийона от Маргарет Риверс. Она запила таблетки водой, и от ее металлического холода головная боль на секунду взорвалась внутри черепа.

— Дождевая вода, — пробормотала она.

— Зато без дерьма, — сказал он.

Он провел ее по холлу в большую комнату, стены которой были заставлены книгами.

— Здесь прохладнее, — сказал он. — Всего несколько минут.

— Хорошо. И спасибо вам.

Джорджи не двигалась, пока не услышала, как на другом конце дома захлопнулась дверь-ширма. Стены комнаты были увешаны книжными полками из эвкалиптового дерева, которые напомнили ей сбитые вместе половицы. И на них были настоящие книги, серьезные книги. Джордж Элиот, Толстой, Форстер, Во, Твен. Она увидела коллекционное издание Джозефа Конрада, большие тома ин-кварто по естественной истории, книги по искусству, атласы. На маленьком столике лежал тяжелый гербарий, каждый листочек и цветочек был описан каллиграфическим почерком, розовато-лиловыми чернилами. На морском рундучке под окном, рядом с выгоревшим на солнце высоким пианино, лежала пачка пожелтевших нот.

Единственную стену, не заставленную книгами, занимал кирпичный камин; на каминной доске было несколько старых черно-белых фотографий в дешевых рамках. Официальная свадебная фотография, скажем, годов пятидесятых и два студийных портрета той же самой пары. Приятные люди. Мужчина чуть ниже и гораздо

более напряженный. Возле этих снимков были сложены стопкой цветные фотографии детей, летающих в шине над глинистой рекой, младенцев с перемазанными шоколадом лицами. Браконьер — это мальчик на сиденье трактора.

Джорджи просматривала фотографии, пока не наткнулась на снимок женщины лет двадцати с чем-то; у нее были похожие на канаты светлые косы, которые ниспадали на топик-хомут. У нее был сияющий цвет лица и полные губы. То, как она наклонялась в дверном проеме, держа руки в карманах джинсов, заставило Джорджи содрогнуться. Такая ленивая, природная уверенность. Как те девочки, которых она видела в электричке по дороге в школу. Душечки в гибридных форменных платьях, выдувающие пузыри из резинки и подставляющие ноги солнцу с дающейся им без усилий сексуальной заносчивостью, которая у Джорджи раньше ассоциировалась с государственными школами. Подростком она стала угрюмой и пыталась быть страшной — но как же она завидовала шлюшьему самообладанию этих девочек! Оно волновало мужчин и мальчишек, как запах еды.

Снаружи было тихо. Джорджи подобрала с кресла-качалки книгу и уселась. Китс. Ну да,

правильно. Хотя она его никогда и не читала. Господи, да когда же она последний раз читала вообще? «Наш семейный книжный червь» — так называл ее отец. Она попыталась прочесть стихотворение. Оно длилось несколько страниц, плотное, как ее головная боль. Бесполезно.

Задняя дверь снова скрипнула. Джорджи положила книгу на место, услышала, как хлопнула другая дверь; шум текущей из крана воды. Это была плохая идея. Быть здесь. Вместе с этим парнем и так далеко от шоссе. Господи, да как же ее угораздило во все это впутаться?

Господи, если бы у нее была собственная машина. После нескольких безналоговых лет в Саудовской Аравии, похоже, она вполне могла себе ее позволить. Это все лень. В Джедде ей было запрещено даже водить эту чертову машину, и вот она здесь, все еще зависима. Какой же чертовой ленивой старой грымзой она стала! Каким триумфом для мулл была она и в какую же трескучую идиотку превратилась!

Она прошла через кухню и раздвинула дверь-ширму, закрыв ее за собой. Пес был безумно счастлив снова ее видеть. Ключей от грузовичка не было в замке зажигания.

* * *

— Зря ты не взял пса, — говорит она, все еще задыхаясь.

Он просто ведет машину. Обнажившиеся слои породы. Банксия. Эвкалипты.

— У него есть имя?

Фокс качает головой и пытается выглядеть беззаботным.

— Такой пес, даже в море выходит. Надо его как-нибудь назвать.

Он покрывается по?том под джинсами, думая пять мыслей одновременно. Она что-то разведывает или вынюхивает. Да, это неприлично — держать безымянного пса, но это не его пес, и не ему его называть. И не объяснишь, что пса не берут на борт потому, что тот сигает за борт в погоне за рыбой, и он уже два раза выуживал засранца. Кроме того, его не подкупит ее новый тон. Она знает больше, чем говорит. Чертов пес.

— Давно здесь живете?

— Всю жизнь, — говорит он.

— Отличная библиотека.

Он кивает.

— Так вы книжный червь?

— Да, помогает убить время.

— Так расскажите, — настаивает она. — Расскажите, что вы читаете.

Фокс вздыхает.

— Ну же, — говорит она.

— Убить время.

— Хорошо, я заткнусь.

Езда по пустой дороге похожа на борьбу с приливом; поверхность покрыта рябью миражей.

— Спорю на что угодно, Стейнбека. И очевидно, Китса. А Конрад? Я видела, у вас есть собрание сочинений.

Фокс смотрит на нее искоса и без выражения.

— Терпеть не могу Конрада, — говорит она. — Слишком… скованный или что-то в этом роде. И *честный.*

Он поджимает губы, чтобы защитить старого поляка. Удерживается.

– *Ужас, ужас!* – декламирует она. — Это как-то по-деревенски, вам не кажется?

— Навсегда остается с тобой, — бормочет он, — вот почему.

— Точно, — говорит она с улыбкой, которая поражает его своим злорадством. — Это единственное, что я помню со школы. Мистер Курц, да? Так что вы *все-таки* большой поклонник.

— Наверное.

— Что это? Море? Мужская честь? Бессердечное сердце природы?

Его передергивает.

— Ну, мне всегда казалось, что тут шуму много, а толку мало.

— Особенно «Тайфун».

— Ха. А писательницы?

— А что писательницы? — спрашивает Фокс, слегка растерявшись: уже целый год он разговаривает только в виде обмена любезностями. У него начинает кружиться голова.

— Я в смысле: их вы читаете?

— Вы живете в Уайт-Пойнте?

— А вы переводите разговор на другой предмет, — говорит она. — Да, я там живу.

— Учительница.

— Почему вы так решили?

— Книги.

— Нет.

Фокс удивляется: что это ему мерещится? Ни одна учительница не смогла бы позволить себе тачку вроде той, что она сейчас оставила у дороги. От нее воняет лангустными деньгами. Понимающий взгляд в сторону. Что это на него нашло?

— Медсестра по профессии. Онкология. Знаете, что это такое?

— Да. Случалось.

«Выходи и иди, — думает он, — об этом слышали когда-нибудь?»

— Извините.

— А ваш отец — экспортер или рыбак.

— Ах…

Некоторое время они едут молча.

— Мне правда очень жаль, — говорит она. — Простите за все. За то, что я здесь. За то, что вам пришлось меня вот так подобрать. Я знаю, это нелегко. В вашем положении.

— В моем положении?

— Не нужно волноваться. Я не очень верная рыбацкая женка.

— Господи, ну и рекомендация! — говорит он, и голос его звучит более горько, чем бы хотелось.

— Я видела, как вы выезжали по утрам.

— Да?

— И плавала с вашей собакой.

— Ну, это и *вправду* неверность.

— Меня зовут Джорджи Ютленд, — говорит она, поворачиваясь к нему на сиденье.

Это ему ничего не говорит.

— И послушайте, мне до этого нет никакого дела, но вы можете себе представить, что местные с вами сделают, если поймают? Я в смысле: завести

здесь склад боеприпасов — и то безопаснее.

— Мне кажется, я вас не очень понимаю, — говорит Фокс без выражения.

Можно поклясться, что она чувствует биение пульса у тебя на горле.

— Я просто не понимаю, зачем так рисковать. Закон — это одно, но, Господи…

Фокс награждает ее взглядом туповатого фермерского паренька, и она поворачивается обратно и сминает соломенную шляпу у себя на коленях.

— Извините, я виновата, — бормочет она.

«Не так виновата, как я, — думает он. — И что бы тебе сегодня не удовлетвориться рыбой и не оставить морские ушки на другой день…» Если бы он встал когда полагается и делал все как положено, этого бы никогда не случилось.

За этим в фургоне последовал час молчания. Целый час. Бахчи перешли в сосновые плантации, а потом в сады, на которых выращивали фрукты на рынок, и наконец в запущенные фермы — на них лохматые, облепленные мухами пони отмечали самые дальние границы пригородов. Джорджи выдюжила. В конце концов, это же просто поездка. Кроме того, самообладанием браконьера можно было только восхищаться. Но это молча-

ние дало ей повод хорошенько подумать; дало почувствовать, как утренние события украли у нее импульс. Пару часов назад ее разум был чем-то цельным, если не ясным. Все говорило за то, что пора ей рвать отсюда когти. Но теперь она не знала, что делает. Она знала только, что любовь невозможна. Она приходила и двигалась, как погода, и противостояла преследованиям. Не просто влюбленность — любая любовь. Само это ощущение было случайным, и ему не стоило доверять. Она обдумала все это еще раньше и ничему не научилась. История ее жизни.

Столбы пыли поднимались за грейдерами и бульдозерами, которые уже выцарапывали на земле новый жилой район. Стены по периметру уже стояли, а заодно и известняковые цоколи у широкого входа. ТОСКАНСКИЙ ХОЛМ. За ним расстилалась безлистная равнина терракотовых черепичных крыш.

Джорджи проверила содержимое своей сумки «Квантас». Одна перемена одежды. Что они там говорили о решительности? Ей нужна работа, и ей давно пора сделать мазок Папаниколау. Сейчас она вполне могла бы расправиться с высоким стаканом чего-нибудь холодного.

— Эмили Дикинсон, — сказал браконьер.

Джорджи застегнула сумку.

— Простите?

Они подъехали к грязному проезду в Джундалап. То была ландшафтная парковка со всеми этими торговыми марками, которые должны были сойти за свидетельства цивилизации.

— Писательница.

— Ах вон оно что, — пробормотала она.

Шоссе неясно вырисовывалось вдали.

— Где угодно, — сказала она. — Если у вокзала — так и совсем хорошо.

— Только что проехали, — сказал он, вливаясь в поток транспорта. — Извините.

— Не важно. Все равно где.

— Куда вы направлялись?

— Вот прямо туда. «Шератон».

— Вот прямо туда и поедем. Только вы покажете дорогу.

— К *«Шератону»?* – спросила она, прежде чем смогла сдержаться.

Выражение его лица было смесью раздражения и вызова.

— Никогда там не был, — сказал он. — Пятизвездочная херня не…

— Это было грубо. Извините. Снова извините.

Его передернуло. На медленной городской ско-

рости можно было почувствовать запах шампуня Пирса, которым он пользовался.

— А этот «Лендкрузер»…

— Я позвоню Биверу в Уайт-Пойнт, — сказала она твердо.

Она поймала улыбку, прежде чем он отвернулся, но решила не развивать эту тему. Лучшее, что она может сейчас сделать, — это оставить все так, как оно есть.

Когда он втягивается на отельную парковку сквозь аэродинамическую трубу делового района, женщина рукой показывает, чтобы он ехал к наклонной рампе подвального гаража, но он тормозит на перекрестке.

— Мне не надо парковаться, — говорит он. — Здесь вполне ничего.

За ними сигналит машина.

— Я угощу вас пивом, — говорит она. — Я вам должна.

— Спасибо, но мне надо ехать.

Он переключает передачу на задний ход, но машина позади сигналит все более настойчиво.

— Все равно здесь одностороннее движение, — говорит она.

— Чче-орт.

— «Девушка из Ипанемы», — говорит она, ведя его за собой от лифта.

— Знаю, — бормочет он, и лицо его все еще горит от стыда: их отказались обслуживать в баре из-за того, как он одет.

— Существенная часть пятизвездочных переживаний.

— Мне вовсе и не так уж хочется пить, — лжет он.

— Почти такая же существенная, как мини-бар, — говорит она, позвякивая ключом на пластиковом брелоке. — Пойдемте. Я докажу, что хоть как-то воспитана.

— Честно.

Фокс изнурен всем этим: разговором, неожиданной близостью, угрозой, которую она представляет собой. Она протягивает ему сумку, копаясь в бумажнике, и он вдруг понимает, что уже марширует вслед за ней по обитому плюшем коридору. Он отстает от нее, и она снижает темп, и вот они уже идут плечом к плечу. Она маленькая. Она кажется безотчетно счастливой. Он только хочет поскорее смыться отсюда. Думает обо всей этой рыбе и морских ушках, которые потеют на льду в подземном гараже. Лед выдержит, думает он, но безопасно ли это? Набившая оскомину мелодия

просто невыносима.

Наконец они подходят к двери, и, когда она наклоняется, чтобы повернуть ключ в замке, Фокс обращает внимание на изгиб ее шеи. Она распахивает дверь. Он протягивает ей сумку. Она улыбается. На лице у нее шаловливое выражение. Чче-орт.

Она хватает его за рубашку и втаскивает внутрь.

— Пиво, — говорит она.

— Послушайте, — бормочет он, натыкаясь на нее. Дверь захлопывается.

— Господи, — говорит она, — да вас всего трясет.

— Нет, — говорит он со смешком.

В его голосе слышен странный отзвук истерики, в котором он не отдает себе отчета. «Ты, чертов идиот, — думает он. — Чертов гребаный идиот».

Она целует его; он просто стоит и дает этому произойти; и вот судорога, похожая на голодный спазм, проходит по всему его телу, и, хотя он все еще сжимает сумку, загораживаясь от нее, он чувствует, как их бедра соприкасаются и как ее рука твердо ложится на его спину. Ощущение живого тела. Как какая-то непонятная сила из учебника физики. Он слышит звук рвущейся джинсовой

ткани, ее хриплый шепот в этой тускло освещенной комнате вне пространства. Женщина наплывает на него, не обращая внимания на преграду в виде сумки, и он чувствует, что взлетает.

— Не надо, — бормочет она.

Фокс отскакивает к двери, как будто его ударили.

— Я в смысле… извини, я имела в виду — не плачь. Он проводит рукой по щеке, понимает и говорит:

— О Боже.

— Все в порядке.

— Нет.

— Не уходи.

Фокс прижимается головой к двери. Теперь она, к счастью, становится размытым пятном, но он все равно отворачивается.

— Иди сюда, — ласково шепчет она. — Садись.

Он дает отвести себя к кровати. Она приносит упаковку «Клинекса». Он вытирает лицо, несколько раз глубоко вдыхает.

— О Господи, — бормочет он с содроганием и ложится на спину, чтобы расслабить ноющие мышцы груди.

Женщина сидит рядом с ним, скрестив ноги, на большой двуспальной кровати.

— Хочешь поговорить?

— Нет.

Он поворачивается и прикасается губами к ее колену. Она расправляется, как птичье крыло, навстречу ему. Она обнимает его. Она смотрит ему в лицо и задирает его рубашку, трогает, целует в шею, соски, живот. Потом она привстает, сбрасывает майку и падает на него, улыбаясь.

Джорджи Ютленд не знала почему. Она начала было все исправлять, и вот теперь это. Глупо было идти в бар в таком виде: обрезанные шорты и теннисные тапочки. Это выражение на лице браконьера — как будто в него выстрелили. Такой чувствительный и беззащитный. Тогда ли это началось или потом, когда он протянул ей сумку, как благонравный мальчик — своей матери?

Она прижала его к этой огромной равнине кровати и почувствовала, что его сердце вот-вот выпрыгнет из груди под ее ладонями, и его член — под ее лобком. Она медленно легла на него, увидела, как становятся сонными его голубые глаза, почувствовала, как по всему ее телу выступил пот. Она ощутила себя полностью живой, внутри себя, в кислой лихорадке жары, которая начинала печь ее голову, живот и икры. Теперь она уже не думала, что делает. Чувствовала его пальцы в

петлях своих шортов, его силу, влекущую ее вниз, их переплетенные ноги. Запах шампуня. Горячий крик в ее горле. Она упала на него, кончив, и почувствовала жуткое трепетание у него в груди. Это был смех.

— Пятизвездочное переживание, — сказал он.

— Ты… не?..

— Боюсь, что так.

— Что теперь? — спросила она, внутри у нее все упало.

— Одеваемся.

* * *

Фокс откидывается на подушки, чувствуя себя кучей дерьма. Он пытается выплыть из моря уколов вины, из неясного чувства, что он кого-то предал. Но предал кого?

Он разглядывает стандартную мебель, которой обставлена комната, деревянный шпон, ткани в цветочек, гигантский телевизор. Может, не стоило смеяться?

— Так каково это — быть контрабандистом? — спрашивает она, приподнимаясь на локте.

— Мм… Что-что?

— Ты увиливаешь от ответа и даже не хочешь сказать мне, как тебя зовут, — говорит она.

Ему нравится прямая челка, падающая ей на глаза.

— Лю.

— А я — Джорджи.

— Рад познакомиться.

— Чертовски рад, надеюсь.

Фокс скидывает свои ботинки и смотрит на нее. Она старше его. Нет обручального кольца. И эти тени под глазами.

— Я пытаюсь во всем этом разобраться.

— Что? — бормочет он.

— Почему ты это делаешь. Тебе не кажется, что ты грабишь море?

— Нет.

— Но ты же нарушаешь закон, ты сам признался.

— С чего бы это мне признаваться хоть в чем-то совершенно незнакомому человеку?

— Ну, черт… Просто это… есть же правила. Да ты и сам знаешь, защита окружающей среды и все такое.

— И ты во все это правда веришь?

— Ну… да.

Фокс откатывается вбок, встает и подходит к окну. Там, в сияющей жаре города, река впадает в залив Перт Уотерс, над которым, как кажется,

завис бабочковый рой треугольных парусов.

— Окружающая среда тут ни при чем, — горячо говорит он. — Закон о рыбной ловле защищает вывоз денег из страны. Защищает этих богатых ублюдков от самих себя. Никому из них море и на хрен не нужно.

— Эти контейнеры в твоем грузовике. Они ведь наполнены лангустами, так?

— Нет, — честно признается он.

— Но это же морозильные контейнеры.

— Я беру только то, что мне нужно, — говорит он. — У меня всего пара рук.

— И нет лицензии.

Он пожимает плечами, и наклоняется к стеклу, и чувствует плещущую жару внешнего мира, то, как она вгрызается в его плечо. Она сидит, прислонившись спиной к изголовью, скрестив ноги в своих шортах, и подхватывает несколько салфеток.

— Ну так, — говорит она, — просвети меня.

— Тебе это не нужно.

— Откуда ты знаешь, что думают *они?*

– С большинством из них я учился в школе.

— Чую запах мести.

— А что, если и так.

— Тебе, похоже, нравится их надувать.

Он невольно улыбается:

— Ага! Ты меня раскусила.

— Давай, что ли, выпьем это пиво, — говорит она, и ее зеленые глаза сияют. — Я ведь тебе обещала. Холодильник у тебя под боком.

Он задумчиво хмыкает и вытаскивает две бутылки пива. Он вглядывается в прайс-лист.

— Господи, — вырывается у него, — шутят они, что ли?

— Ну, сам же знаешь, Лю.

Он открывает бутылку и передает ей.

— Ты плакал.

— Да уж, наверное.

— Почему?

— Не могу сказать.

— Не можешь или не хочешь?

Фокс глотает пиво. После его домашнего вкус пива кажется тонким и очень «промышленным».

— Я не думала, что ты окажешься таким, — бормочет она.

— А я вообще ничего не думал.

— У меня, наверное, какое-то извращение, завязанное на «Шератонах».

Он удивленно смотрит на нее.

— Госссподи, — говорит она. — Не очень-то ты

умеешь поддерживать беседу.

— Нет практики.

— Иди сюда, — говорит она. — И сними ты, ради Бога, эти джинсы.

Долгое время после этого и даже пока он спал Джорджи чувствовала жар его тела в себе. Он ей нравился; она знала, что он ей нравится, и все же не могла понять почему. В ней все еще звучало это странное эхо, его отзвук. Он был как-то по-особенному свеж, в нем было что-то чистое. И несмотря на ее долгий послужной список импульсивных оценок, несмотря на череду неудач, которая простиралась за ней из самых подростковых топей, она была уверена, что ей никогда не придется его бояться.

Она подползла к нему поближе, обняла за талию и примостила его ягодицы в углубление своего лона. Через его мышцы пролегала граница загара, резко, как будто солнце само исчертило его линиями. Джорджи чувствовала его дыхание на подушке, на двуспальном огромном матрасе, и ее собственные вдохи пришли в гипнотическую согласованность с его дыханием, пока бурчание мини-бара, задушенный лай автомобильных сигналов и свист кондиционера не утих и в ней не осталось только ощущение его спермы,

медленно вытекающей из нее, как будто там происходил какой-то неумолимый геологический процесс. Так медленно. Почти торжественно. И холодящий след в том месте, где она уже протекла, — всего лишь призрак. Джорджи пыталась кожей впитать ее, выпить, пока она не уплыла не пойми куда, и когда сперма наконец протекла на простыню из-под ее согнутой ноги, она почти ожидала услышать гром, свист перед ударом. Она какое-то время полежала так, чувствуя, как сморщенна и суха ее кожа. На нее снизошла печаль, ощущение потери. Она убрала руку с его живота, просунула ее между своих ног и поднесла мокрые пальцы ко рту. Это не выглядело безрассудно — и даже не выглядело грубо. Это принесло ей ощущение мира.

Когда она проснулась, он лежал, заложив руки за голову.

— Ты не позвонила насчет джипа, — пробормотал он.

— Ах, да.

— Ты, кажется, ужасно торопилась.

Джорджи помедлила.

— Не знаю, что я делала. Уходила, наверное.

— Кто он?

— Джим Бакридж.

— Чче-орт!

— Да уж.

— Мать его так.

Браконьер сел на кровати так резко, что простыня упала с нее. Она подтянула ее обратно и прикрылась.

— Ты должен идти, — пробормотала она.

— Да.

Он встал с кровати в гаснущем свете и быстро оделся.

Всю ночь она чувствовала его запах в комнате. Пеликаны зависали над шоссе, как унесенные ветром газеты. Она смотрела, как опускается тьма, со стаканом водки в руке. Она пробиралась через дебри минибара: маленькие бутылочки бренди, бурбона, скотча, ликеров, шампанского. Она ела «Тоблерон» и пожирала орешки, пока по кабельному каналу трахались какие-то незнакомые люди. Как же они вскрикивали и стонали, как же вертели своими совершенными телами! Джорджи подняла за них бокал и осталась сидеть, примиренная с нынешним положением вещей.

* * *

На заднем крыльце собака обнюхивает его с преувеличенной привередливостью. Ночь жарка

и присолена звездами, и на крыльях восточного ветра сюда долетают ароматы пшеничных полей и даже пустынь, что лежат за ними. Он входит в дом и копается возле раковины, а потом не выдерживает и все равно идет в душ. Вода тепловата; он никак не может сделать ее похолоднее.

Вернувшись в кухню, он готовит еду, но никак не может заставить себя сесть и все это съесть. Он идет в библиотеку, но воздух, кажется, наполнен песком и давит, и где-то в комнате, скрытая ото всех взоров, о гладкую поверхность бьется бабочка, выбиваясь из сил.

Он выходит на веранду и зажигает пару противомоскитных катушек. Пес обегает сваи дома и поднимается по ступенькам. Бахчи гудят цикадами, сверчками и птичьими крыльями. От ручья поднимается звон лягушек. Он садится и опускает голову на потрепанный стол, его тошнит, как с похмелья. Да, вот оно, это чувство, смесь тревоги, отвращения и сожаления.

«Джим Бакридж, — думает он. — Могло ли быть хуже? Мог ли я быть еще глупее?» Целый год он не допускал, чтобы его подвешивали на волоске, и вот теперь это. Он вспоминает, как она лежала там, глядя на него, пока он стаскивал джинсы, как она притянула его к себе за член, как всадник,

ведущий за собой лошадь. Неужели это началось с того самого момента, когда он остановился на шоссе этим утром? Неужели она его заманивает? Паранойя ли это или какой-то заговор? Он все равно что признался в браконьерстве. Но Бакриджу и его лакеям не нужно признание. Они сначала наполнят баки, а потом уже будут задавать вопросы, если вообще будут, и, конечно, не позволят, чтобы спрашивали их. Катера поставлены на якорь, освещенные эллинги, он это все уже повидал.

Убежал ли он сегодня или она его выгнала? Это его беспокоит. Это и еще то, что она ему понравилась. Умненькая. Контролирует себя, но все же как-то на взводе.

Фокс чувствует, как воздух бьет ему в лицо горячей струей. Он знает, что это такое, знает это чувство и то, почему оно пришло. Ты ставишь палатку, чтобы создать для себя пространство, с которым ты можешь управляться. Ты знаешь, что вся ночь все еще там, снаружи — земля, небо и каждая ползучая тварь, и ты понимаешь, как тонка эта ткань и глупо притворяться; но когда палатку срывает, ты чувствуешь себя еще более беззащитным, чем если бы ты с самого начала лежал себе на матрасике под звездами. В палатке

ты не можешь видеть, что? приближается к тебе.

Фокс просыпается от того, что в кухне кто-то есть. Ощущение такое, что уже позднее утро, и пес не издал ни звука. Он вылезает из постели и хватает шорты, и все это время выискивает глазами что-нибудь, чем он смог бы защититься.

— Утро доброе, — говорит женщина, неожиданно появляясь в дверях.

— Черт!

— Это всего-навсего я.

Фокс прикрывается шортами, которые он так и не успел натянуть. Она боса, на ней короткая черная юбка и безрукавка. Она награждает его изможденной улыбкой.

— Есть у тебя кофе?

— Выглядишь ужасно.

— Не надо фамильярничать, молодой человек. Я требую кофе и аспирин.

— Опять?

— Ну да, снова.

— Как… как ты сюда попала?

— Взяла напрокат машину. Что-то такое маленькое и красное. Как все.

— Ты знаешь, где здесь кухня?

— Я нашла лишь моментальный кофе.

— Вот ты меня и поражаешь тем, что ты очень

моментальная.

— Ты мне льстишь. Дай-ка посмотреть на тебя.

— Нет, — говорит, прижимая шорты поплотнее к телу.

— Мне все равно немножко хреново. Настоящая австралийка не поехала бы.

— Ну, — бормочет Фокс. — Ну и почему ты все-таки поехала?

— Посмотреть, не примерещился ли ты мне. Не возражаешь, если я прилягу? — Она плашмя падает на узкую кровать. — Неловко, правда?

— Да уж. Давай-ка ее накроем.

Она переворачивается и прячет лицо в подушку.

— Садись, — говорит она.

Фокс медлит, садится на край кровати, держа шорты в одной руке.

— Не спала, — говорит она несколько задушенно из-за подушки. — А теперь так жарко.

Фокс смотрит на нее. Юбка высоко задралась на ней. На одной руке — шрам от прививки. След алой губной помады — яркое пятно на наволочке.

— Ты оставил ужин снаружи, Лю. Пустая трата макарон.

— Пес съест.

— Когда мне полегчает, приготовишь мне что-нибудь?

— А когда тебе полегчает?

— Когда ты меня погладишь.

— Я сделаю кофе, — говорит он.

— Потом.

— Спи, — говорит он, глядя, как она поднимает голову и улыбка соскальзывает с ее лица.

— Ну, будь душкой.

— Сколько же ты выпила, Господи Боже?

— Ох ты, как мы заинтересовались! Вообще-то, я выпила все, что было. Это меньше, чем может показаться. За деньги.

Фокс кладет руку на ее ногу. Она вздыхает.

— Что?

— Просто смотрю.

Его рука проскальзывает под эластичную ткань ее трусиков. Она немного расправляется и одобрительно мурлычет.

— Ты не возражаешь, если я просто полежу здесь? Устала. А ты можешь пока попроявлять инициативу.

— Только если ты заткнешься, — бормочет он.

— Не могу ничего обещать.

Фокс просовывает руку в ее ладонь. Прикасаться к ней — как прикасаться к горячей, влажной

земле. В ее руке — биение пульса. Она приподнимается, опираясь на его руку, раскрывая его ладонь. Она оборачивается вокруг его руки, что-то бормоча, вцепляясь. Он взбирается на кровать и становится на колени, нагибается к ней.

— Не убегай, — говорит она. — Не надо тебе убегать.

Ему все равно, что? она говорит. Это не дает ему забыть, что она настоящая, а не призрак, который он выудил из своих желаний.

Фокс отнимает у нее руку; он издает задушенный звук и, медленно придерживая ее за бедра, раскачивает ее в своей скрипучей детской кровати; их тела скользки от пота, а пес тем временем скребется под окном.

Джорджи обнаружила его на веранде с разрезанным арбузом. День клонился к вечеру. Он уставился на арбуз, семечки в котором, как она заметила, были расположены ровными рядами.

— Это как гадание по чаинкам?

Он удивленно посмотрел на нее.

— Господи, ну, ты и дурачок! Вот, смотри.

Джорджи взяла половинку арбуза, которую он ей протянул. Она ее еле удерживала. Когда она вгрызлась в арбуз, она могла бы поклясться, что чувствует заключенное в нем солнце, и сахари-

стый вкус заставил ее вздрогнуть.

— Я привыкла, что арбуз из холодильника, — сказала она, капая арбузом на свою измятую безрукавку. — Это как вино. Когда оно холодное, у него почти нет вкуса. Ты что-то загрустил.

Он пожал плечами.

— Есть же на свете сложные вещи, так?

— Назвался сложной вещью — полезай в кузов.

Он улыбнулся, и Джорджи почувствовала, как ее похмелье исчезает, будто это не состояние, а настроение.

— Что будем делать? — спросила она.

— Жарко. Как насчет поплавать?

— Я имела в виду… наше… положение.

— Я знаю, — сказал он. — Так как насчет поплавать?

— В реке?

— В море, — сказал он.

— Ну, не можем же мы ехать в Уайт-Пойнт.

— Я знаю. Пошли. Хватай полотенце.

Джорджи быстро поняла, что она слишком рано обрадовалась безвременной кончине своей головной боли. Бахчи были раскалены добела. Грузовик дребезжал и покачивался по пути к шоссе, и когда они въехали на умиротворяюще

гладкое асфальтовое покрытие, он проехал по нему всего несколько секунд, а потом повернул в другую сторону.

— Откроешь ворота? — пробормотал он.

— Чье это место?

— Ты хочешь сказать, что не знаешь?

Джорджи пожала плечами. Мухи влетали в открытую дверь.

— Джима Бакриджа.

— Шутишь, — сказала она.

— Не трать время зря.

Это была скорее просека, чем дорога. Они тряслись вверх по дороге вдоль изгороди между желтосмолками[8] и порослью акации.

— Это северные границы, — сказал Лю. — По большей части этот конец так никогда и не расчищали толком. Идет прямо до самого побережья.

— Я думала, фермы уже давно нет.

— Той, что была здесь сначала, действительно нет. Продавали по частям какому-то застройщику. С этим концом все никак не разберутся.

— Здесь… безопасно?

— К югу есть один дом. Там живет управляющий, но это все очень неопределенно. Он сидит

---

[8] Примечания: 8

Желтосмолка, или травяное дерево, — растение семейства Xanthorrhoea, произрастающее только в Австралии.

дома, смотрит крикет, так что можешь не волноваться.

Джорджи взяла себя в руки и начала осмысливать новости; вскоре песок на дороге побелел. Они обогнули дюну и съехали вниз на твердую полоску песка за заросшим мысом. Он просто вышел из машины и пошел по приплеску, а она сидела и смотрела на него. Море было все еще гладкое, бриз дул с берега, и за рифами, где бриз ложился на воду, море было песочно-зеленым. Слишком жарко, чтобы сидеть в кабине, так что она разделась и торопливо пошла вслед за ним.

— Безрассудство всего этого меня прямо-таки поражает, — сказала она, услышав в своем голосе иронию, переходящую в чопорность.

Он, подняв фонтан воды, рухнул на спину.

— Ты получаешь от этого слишком большое удовольствие, — сказала она. — И какая же подо всем этим лежит история?

— Мы просто соседи, знаешь ли.

— Наследственная вражда, так я понимаю?

— Не.

— А что тогда?

— Мой старик. Он был не из особо почтительных ребят.

— И все это барахло в твоем доме… Ты был

женат?

Он покачал головой.

— Детские вещи и фотографии.

Лю перевернулся и поплыл прочь от нее. Он хорошо плавал. Джорджи оглянулась на стоявший на пляже грузовичок и дикую, поросшую кустарником местность, которая простиралась на сколько хватал глаз. Она подумала: чего же еще она не знает о Джиме Бакридже? Теперь она протрезвела, и ее грызла тревога. Она стояла на песчаном дне и ждала, пока он повернет к берегу. Арбузы, фруктовый киоск — все это вызвало в ее памяти какие-то смутные воспоминания, но пока она не могла уловить связь. Он приплыл назад и нырнул. Вынырнул он рядом с нею; его глаза были открыты.

— Моя семья, — сказал он. — Был несчастный случай.

— Господи! — ахнула она. — Так вы — это *та самая* семья?

«Музыканты, — вспомнила она. — Авария».

Пока они стояли там, море поменяло цвет и ветер утих. Через несколько мгновений они почувствовали первое прохладное дыхание южняка.

— Я не знаю, что и сказать.

— Ты лучше подумай о чем-нибудь.

Джорджи вспомнила вечеринку у Гиллигана — одну из тех немногих, в которых она нашла нужным принять участие. Посвистывавший на веранде бочонок.

Отец жениха, закатывающий глаза из-за бесконечных задержек. И ансамбль, чертов ансамбль. И еще кто-то наспех налаживал стерео, пока музыкантов нет. И поднимался пивной угар, и праздник продолжался, невзирая ни на что. Невеста вышвырнула кого-то из дому прямо сквозь асбестовую стену. И цветные лампочки дождем сыпались во двор посреди всего этого смеха. Всего-навсего дикие уайтпойнтовцы. Она помнила, как Йоги, рисуясь, отвечал на телефонный звонок. Босоногий, во вспышках и отблесках огней. Бочком пробирался с ключами к машине «скорой помощи». И потом, уже гораздо позже, когда они уже уходили, когда Гиллиган с невестой удалились и начали назревать первые настоящие драки, по газону покатились новости. Музыканты. Прямо на своем долбаном выезде. Прямо в грузовичке. Трое погибли, и один парень в критическом. Люди расселись на капотах машин, пили и обсуждали. Джим взял ее за руку и всю дорогу домой молчал.

— Пошли, — сказал браконьер. — Пора.

— Я никогда не слышала, как ты играешь, — говорит она, вытираясь после душа. — Люди говорят, вы были хорошими музыкантами. Вы трое.

Фокс сбрасывает омлет ей на тарелку и идет мыть посуду.

— Перестань пожимать плечами, — говорит она. — Это меня просто выводит из себя.

— Я и не заметил, — говорит он.

— Ты спустил жалюзи, Лю.

— Извини, — говорит он тоном, в котором не слышно извинения.

— Так, значит, я перешла границу дозволенного?

Фокс ловит себя на том, что улыбается, и думает:

«Леди, да ты же повсюду, ты в жизни не видела ни одной преграды».

— Я так понимаю, я должна идти?

— Ешь свой омлет.

— Хорошо, папочка.

— Расскажи мне о его детях.

— О детях Джима? — удивляется она, на секунду отрываясь от загрузки вилки. — Им девять и одиннадцать. Мальчики. Хорошие ребята.

— Да уж.

— Мне они… очень нравились.

— Так что ты — та, что после Дебби.

— Да. Я — это она.

— Когда-нибудь хотела собственных?

Джорджи Ютленд какое-то время жует и глотает.

— Нет.

Фокс вытирает руки.

— Мои сестры, — говорит она, — у них у всех дети. Мне всегда казалось, что они заводят их, потому что это стильно. Я — дикая тетушка.

— С приемными детьми.

— Вот именно.

Фокс смотрит на нее. Несмотря на то что она только что после моря и душа, она кажется изнуренной, как будто ей стоит лечь спать с включенным вентилятором до завтрашнего утра. У нее мило взъерошены волосы, но она взвинчена, будто бы совсем позабыла, что такое отдых.

— А ты больше не работаешь? — спрашивает он.

— Запал кончился.

— Это тяжело — быть медсестрой.

Она улыбается:

— Ты первый мужчина в моей жизни, который

может нормально отчистить ванну.

— Годы опыта. Заочного.

— Хороший омлет. И посмотрите только на эту плиту. Господи, да ты же совсем ручной и домашний!

— Даже дерьмо у меня в коробке с песком.

— Сыграй мне что-нибудь. Чтобы окончательно покрыть торт глазурью.

— Я больше не играю, — говорит он.

— Совсем?

Он утвердительно кивает и забирает у нее пустую тарелку. Весь этот разговор кажется ему опасным, хуже, чем треп о рыбалке. Это как попасть в водоворот. Одна часть тебя знает, что он не убьет тебя, но другая уверена в том, что убьет обязательно. Ты сохраняешь спокойствие, плывешь вместе с ним, а не поперек. Раньше или позже выплывешь на тихую воду.

— И на чем ты играл?

— На гитаре.

— А какую музыку?

— Ну, не знаю. Всякую, наверное. Все, что можно играть на веранде. Знаешь, без электричества. Музыка грязи.

— Как… почва?

— Да. Земля. Дом. Страна. Кантри.

— Ну не кантри-энд-вестерн?

— Не. Хотя мы и играли Хэнка и Уилли, Гая Кларка. Много блюграсса и какую-то ирландскую фигню. Все, что хорошо звучало на гитаре, мандолине, скрипке. Но в основном блюз. Кантри-блюз, наверное. Знаешь — Слепой Блейк, Док Уотсон, Сон Хаус.

— А… — говорит она безучастно.

— Традиционная фигня. Старые штучки.

— Народная музыка.

— Наверное. Нет, не совсем. Ну, я не знаю.

— Моя мать заставляла меня брать уроки фортепьяно, — говорит она, пристально глядя на него.

— То же самое. Нам приходилось играть по очереди. Негра обычно поднимал крышку и натягивал струны. Старик принес домой гитару, которую нашел в ломбарде в Мидленде. Вот так все и вышло. Братан получил пианино. Он был *настоящий* музыкант. Негра.

— Твой брат? Его так звали?

— Нет. Его звали Вильям.

— И почему Негра?

— Не знаю. Мы его так звали. Все, кроме мамы.

— Где она?

— Умерла. Мы были еще детьми.

— А отец?

— Мезотелиома. Мне было семнадцать. Он работал в Уиттенуме — еще до нашего рождения. Добывал асбест.

— Господи, — пробормотала она, — да я, наверное, ухаживала за его товарищами. Может, даже за ним самим.

— Все умерли. Странно, знаешь ли. Он умирал всю нашу жизнь. Но мы не знали.

— А он сам?

— Я потом об этом думал. Позже.

— Так это его библиотека?

— Мамина. Старик не интересовался книгами, в которых не пишут, как починить мотор или спасти душу. «Туалетная бумага» — так он их называл.

— А… А Негра любил читать?

— Не. Он и нот-то почти не знал. Но если сыграть ему что-нибудь, он мог повторить.

— Талант.

Фокс чувствует, что разворачивается, как будто не может дать задний ход, раз уже начал. Он выбалтывает ей, как они практиковались на веранде, вместо того чтобы учить уроки. Как учились играть по нотам, как в старших классах играли Джей-Джей Кейла и раннего Боуи на шумных вечеринках в пустых канатных сараях

и как потом к ним привязалась Салли Доббинс с мандолиной и старой записью Рода Стюарта. И неожиданно их оказалось трое. Бесконечные дни — настроились-расстроились, споры и неожиданные прорывы. Они обзавелись поддельными записями — Скип Джеймс, Роберт Джонсон, Слепой Вилли — и на свалке в Уайт-Пойнте нашли запись «Тадж-Махал». Негра научился играть на банджо, а потом на скрипке. Они нашли стиральную доску в сарае и сделали медиаторы из горлышек винных бутылок. Неожиданные переломные моменты, как в тот первый раз, когда они сыграли целиком «Криппл Крик»; тот день, когда они послушали Рая Кудера. Палубные матросы слышали, как они играют на крыльце, а потом они уже играли за пиво на вечеринках. Жены шкиперов начали заказывать их на празднование совершеннолетий, когда все ожидали панка или диско. Они играли в нескольких деревенских собраниях, где фермеры хотели услышать Глена Кэмпбелла. Но в конце концов, несмотря на то что они были Фоксы, пришло уважение, смешанное с завистью. Не всем нравилась музыка; но люди не могли не признать, что они играют как боги.

Он прислоняется к раковине, напуганный этим взрывом слов.

— Всегда завидовала людям, которые знают языки и умеют играть, — говорит она, криво усмехаясь.

— Мне надо пройтись, — говорит он. — Хочешь пройтись?

— Если честно, не очень.

— А я пойду. Ничего?

— Надо обуваться?

— Нет.

Джорджи последовала за ним по всклокоченной бахче, где росли чахлые, одичавшие арбузы. Серый песок под ее ногами был горяч, и послеполуденное солнце поджаривало ей шею, пока они не вошли в рощу эвкалиптов, где древесная тень и ковер нападавших листьев давали некоторое облегчение. Отсюда — пес трусил между ними — Лю провел ее вниз к изрезанному бороздами желтому берегу реки, испятнанному тенями каепутовых деревьев[9].

— У тебя прямо сад-огород, — сказала она, садясь рядом с ним под козырек отошедшей от ствола коры.

— Только арбузы.

— Господи, да они же должны приносить доход;

---

[9] Примечания: 9

Каепутовое дерево — вечнозеленое растение семейства миртовых.

хорошая у тебя лодка.

Лю улыбнулся:

— Арбузы-то? Не. Ни когда мы выращивали их, ни когда старика скрутило — никаких денег с них не было. Даже и до этого дела шли не ахти. Старик прокрадывался через эту Бакриджеву землю, проскальзывал туда на шлюпке и освобождал нескольких лангустов от пут профессионалов. Сваришь их да и продашь тайком на большой дороге.

— Что отец, что сын.

— Все равно, он должен был что-то подозревать насчет рака, потому что он ведь застраховался. Мы не знали до того момента, когда все уже закончилось. Негра получил выплаты. Он ведь был старший. Большую часть выбросил на «Холдены» и «Форды» шестидесятых годов, на старинные гитары. Мы несколько лет прожили на то, что оставалось. На это, на арбузы, и еще иногда били рыбу острогой, но игрой никогда не получалось много заработать. Прошлым летом я продал все, целый сарай, и купил катер. Прикинул, что смогу справиться.

— Так вот оно что! Фоксы с сомнительной репутацией.

— Это мы.

Джорджи заглянула в мелкую воду чайного цвета. Здесь было прохладно. Южный ветер шевелил листья и покрытую беловатым пушком кору.

— Я не понимаю, что ты делаешь, — сказала она. — Живешь вот так. В смысле, почему ты продолжаешь?

— Вещи, места, их трудно с себя стряхнуть.

Джорджи попыталась не поморщиться. Она никогда не понимала, как места могут иметь над людьми какую-то власть. Этот вид ностальгии ее раздражал. Было ужасно видеть, как люди привязаны к своим воспоминаниям, как они остаются в своих городах и домах из какого-то извращенного пиетета.

— Я было подумывал о том, чтобы перебраться на север, — сказал он. — Хотел просто бросить все и сорваться. Понимаешь, исчезнуть. Я уже чувствовал себя как призрак.

— Как призрак?

— Как будто я уже умер, но эти новости еще не дошли до моего тела. Как лесной пожар, который настигает тебя так быстро, что ты уже весь испекся, но все еще бежишь.

— Господи!

— Но потом я подумал: а ведь меня уже нет! Почему бы просто не исчезнуть, никуда не уезжая?

— Ты меня запутал, Лю.

— Я пришел домой после последних похорон и сжег все свои бумаги. Лицензии, все удостоверения, школьные табели. Все равно у меня не было налогового номера. Просто проскочил через сетку, понимаешь ли. Жить втайне. *Быть* тайной.

— Но какой смысл?

— Уединение. Уединение. Рано или поздно твои тайны — все, что у тебя остается.

— Ходячий Призрак.

— Это про меня.

— Так что ты браконьерствуешь в морях, читаешь здесь и играешь музыку — совсем один.

— Музыку — нет.

— Ты и вправду больше не играешь?

— Даже и не слушаю.

— Не можешь или не хочешь?

— И то и другое.

— Что, совсем никогда?

— Никогда.

— Ужасно.

Лю наградил ее болезненной, непокорной улыбкой, и она могла бы поклясться, что видит в нем мальчишеское упрямство. Трудно было поставить ему это в вину, но ощущение, что это приносит тебе только неприятности, оставалось.

Он был убит. И все это было тем более дорого Джорджи, потому что напоминало ей саму себя.

— Ты когда-нибудь мечтала, — спросил он, — когда была девчонкой, чтобы все залезли в машину, уехали и забыли про тебя?

— Именно об этом я и мечтала, — горько сказала Джорджи.

Он улыбнулся, и Джорджи не смогла этого себе объяснить; она не могла понять, откуда могла взяться такая улыбка.

— А место? — спросил он. — У тебя было когда-нибудь особое место?

— Когда я была маленькой — нет. Хотя мне нравилась река, у которой мы жили.

— Где?

— Да в Недлэндсе.

— Но особого места не было?

Джорджи почувствовала, что сейчас она не выдерживает какое-то испытание. Разумеется, он не понимал, насколько они разные. Он был просто выучившийся всему сам фермерский мальчик, а она — беженка из круга победителей, девочка, которая решила стать медсестрой, чтобы похерить мечты старика о том, что у них в семье будет врач.

— Я тебе кое-что покажу, — сказал он.

Пес привстал и посмотрел на него.

Она поймала себя на том, что смотрит на часы.

Фокс берет ее с собой на вершину холма над каменоломней. Пес рыщет в сухой траве, преследуя кого-то невидимого.

— Надо было надеть туфли, — говорит она.

— Хочешь, понесу тебя?

— Нет.

— Мне несложно. Ты такая маленькая.

— Мне, черт возьми, сорок лет! Кстати, а тебе сколько?

— Тридцать пять.

— А сколько, ты думал, мне лет?

— Примерно столько и думал. Ну, залезаешь или как?

Фокс поднимает ее к себе на спину. Господи, вес другого живого существа! Она обнимает его за шею и прижимается к спине.

— Это недолго, — говорит он.

— А кто торопится?

— Ты можешь вернуться еще до сумерек.

— А кто говорит, что я вообще возвращаюсь? — резко спрашивает она.

— Ты возвращаешься. Ты просто пробуешь воду.

— Черта с два!

— Ну, маленькая кошелка, набитая губнушкой и кредитками, пошли.

— Опусти меня.

— Ты собиралась вернуться, — говорит он. — Будь честной. Тебе нужно было время, чтобы во всем разобраться.

— Опусти меня! — орет она, дергая его за волосы и за уши.

Он спотыкается, пес гавкает, и они валятся в грязь.

— Господи Иисусе, да он меня укусил!

Пес отскакивает в сторону на пару метров и смотрит на нее со скорбным раскаянием.

— Ты его испугала, — говорит Фокс, пытаясь не рассмеяться.

— Ему делали прививки?

— Единственные прививки в этой местности — это свинцовые пули, леди.

— Не называй меня леди, черт тебя дери!

— Ладно.

Он поднимает ее и целует волосы. Она вытирает глаза о его руку.

Джорджи молча шла за ним к куче камней. Желтый песок был мягок и прохладен в тенях, которые простирались от остроконечных башенок. Вокруг камней росли желтосмолки, и их

широколапые листья подрагивали на ветру.

— Приходил сюда мальчишкой. Птичка тоже любила это место. Моя племянница. Вот, смотри.

Он взобрался на самый высокий камень и что-то вытащил из-под него. Потом помедлил.

— Просто жестяная коробочка, — сказал он. — Ее маленькие секреты.

Он ставит коробочку обратно, не открывая, и кажется, что он смотрит на нее смущенно и расстроенно.

— Было одно место, — сказала Джорджи не только из жалости, но и из солидарности. — Место, где я застряла. Далеко на севере.

— Как застряла? — спросил он.

— В лодке. На суше, ни больше ни меньше. Там был остров и мангровые деревья, баобабы, птицы. И у меня было чувство дежа-вю, будто бы я всю жизнь знала это место.

— Так ты морячка?

— Если бы я была морячка, мне не пришлось бы два дня сидеть в глине.

— Покажи мне как-нибудь. В атласе.

— Коронация. Залив Коронации.

— И это далеко к северу?

— В тропиках.

Он снова улыбнулся, и Джорджи поняла, что,

хотя она каждую минуту и направляется обратно в Уайт-Пойнт, она все равно хочет его. Нельзя доверять таким импульсам.

— Что будем делать? — спросила она.

— Кто его знает?

— Мы должны бы пожалеть, что встретились.

— Да уж.

— Ты можешь мне доверять.

— Я буду. Черт, мне придется, — сказал он. — Только будь осторожнее.

— Но что мы будем делать?

— Жизнь — она длинная.

— Что это значит?

— Я никуда не еду.

Тени камней теперь сомкнулись, как лабиринт, у их ног, и пес, высунув язык, часто задышал; а Джорджи размышляла над тем, как ничтожно мала вероятность того, что у них что-нибудь получится. Несерьезно было и думать об этом как о чем-то большем, нежели интерлюдия; простое происшествие, которое нужно просто оставить позади.

* * *

Она уходит, и Фокс отправляется обратно вдоль реки, пес бежит за ним. Он не понимает этого им-

пульса, но что-то тянет его из дому, он вынужден пройти по своим следам, по пути, который они проделали сегодня. Что это за спотыкающееся, ныряющее ощущение, что за паника, которая сменяется новым приступом фатализма? И это возвращение… Не есть ли это своего рода ритуал очищения? Какая-то часть Фокса полагает, что этот обряд сможет вернуть ему безопасность и одиночество, которое он ощущал двадцать четыре часа назад. Вся эта работа, тяжелое самоотрешение — все испаряется, когда он стоит там.

Ветер морщит воду. Деревья стонут и сцепляются рогами над его головой.

И как только он мог сказать ей, что его образ жизни — это попытка забыть? Все это время он по своей собственной воле пытался заставить себя не помнить. И иногда это действительно возможно; в жизни, полной физических императивов, это вполне реально, но это не похоже на забывание. Забывание — это милость, случайность. Так что это не было триумфом, но это-то у него есть, по крайней мере, ведь так? Целый год — и он не сорвался, не сгорел.

Он смотрит на покрытый круглыми пятнами берег. Когда он был мальчишкой, он думал, что это место — живое. Ночью, лежа в кровати, он

чувствовал медленное течение жизненных соков, дыхание листвы, колебание воздуха, когда в нем проносятся птицы, и понимал, что, если смотреть уголком глаза, желтосмолки будут плясать снаружи и из-за бревен с выжженными сердцевинами будут выбираться люди. В такие дни можно было приходить сюда, стоять на мелководье и очищать разум. Смотреть на зажженную факелом солнца поверхность воды и разбивать ее на несоизмеримые монетки света. По-настоящему перестать думать и остаться пустым. Это было сложнее, чем задержать дыхание. Можно было стоять там неподвижно, как пень, с разумом чистым, как у зверя, и слышать, как на жаре трескаются арбузы. В те дни ты становился пятнышком света, тлеющими угольями. И счастливым. Даже после смерти матери у него было это, хотя и пошло на спад. Потом в такое состояние его приводила только музыка. И теперь, когда этого нет, осталась только работа. Несмотря на то что единственной милостью, которая ему еще оставалась, было то, что он не чувствовал себя мертвым и не ощущал прошлого.

Пес смотрит на него озадаченно, но терпеливо. Он следует за ним по камням в гаснущем свете.

Фокс вытаскивает жестянку и смотрит на сек-

реты Птички, которыми она делилась с ним. Среди ракушек и бутонов — маленькие комочки бумаги. На каждом комочке всего одно слово — ПРОСТИ — тупым карандашом. Он нашел их под домом. Наверное, проскользнули через щели в полу или их туда протолкнули. С тех пор он находил их и в расщелине мятного дерева, в тени которого они ощипывали петухов на Рождество. И в холодильнике. А однажды ночью — на своей подушке. В приступе горестной ярости он грохнул кулаком по стойке кровати, и комочек бумаги упал рядом с ним. ПРОСТИ.

Птичка была чудесная. Смешная, обреченная, острая. За что извиняться шестилетке? И кому она писала? Знала ли она что-нибудь? Видела ли свою смерть? И его поражение?

И он почти сказал это Джорджи Ютленд. И он стоит в последнем свете дня, располовиненный облегчением и сожалением.

* * *

Когда Джорджи в сумерках спустилась к дому Джима, со двора выезжала какая-то маленькая белая машина. Сияние фар скрыло водителя, а Джим сошел со ступенек и смотрел, как Джорджи паркует взятую напрокат машину.

— Что это там насчет женщин и красных машин? — спросил он, когда она выбралась и заперла дверцу.

— А что там насчет мужчин в чулках в сеточку?

— Ты в порядке?

— Кто это был?

— Одна местная задница.

Джорджи последовала за ним, остро чувствуя наличие сумки «Квантас» на плече. В кухне у него кипела кастрюля. Он побросал очищенную картошку в кипящую воду.

— Если их порезать, они быстрее сготовятся, — сказала она.

Джим только глянул на нее, и она поняла, что ее сильно занесло.

— Извини, — сказала она. — Мне просто было немного не по себе, вот и все. Ты сегодня рыбачил? Забрал ли Бивер «Тойо»? Я не знаю, что на меня нашло, Джим. Я ужасно беспокоилась за мальчиков, ну, что меня здесь нет. Они внизу? Мне просто надо было передохнуть.

— Тебе надо было только мне сказать, — сказал он, разворачивая кусочки куриного филе.

Раздраженная его спокойствием, Джорджи налила себе апельсинового сока.

— Это больше не повторится.

— Ты говоришь как гувернантка. Как будто я тебе плачу. Я беспокоился, только и всего.

Джорджи залезла в холодильник за «Столи»[10]. Просто апельсиновый сок сегодня не поможет. Она была готова к ярости, но не к этому скорбному пониманию. Можно спрятаться в ярости другого человека — она его ослепляет. Но это… Хотя он прав. Ее жизнь съежилась до размеров назначенной встречи. По дороге в тот день разве не решила она сказать ему, что уходит, что она собирается сделать это постепенно, мирно, ради мальчиков? Теперь эта идея была до боли похожа на предупреждение об увольнении, сделанном за месяц.

— Разумеется, — сказал он, неумело обваливая филе в муке, — нам надо поговорить.

— Да, — сказала она. — Думаю, да.

— Но не сегодня. Пусть сегодня все будет как будет.

— Чертов «Крузер». Я не знаю, что с ним случилось. Нас могут отправить на Луну, но в магазин нам не светит.

— Ты ужасно выглядишь, Джорджи. Ложись

---

[10] Примечания: 10

«Столи» — алкогольный коктейль на основе «Столичной» водки с лимонным соком.

сегодня пораньше.

— А кино?

— «Звезда». Довольно противный.

— А Дебби любила Бетти Дэвис?

Джим поднял на нее глаза.

— Не знаю, — сказал он. — Я никогда не спрашивал.

Джорджи проглотила водку с апельсиновым соком и почувствовала укол мрачных предчувствий. При упоминании имени его покойной жены веки Джима как-то опустились, и в его позе чувствовалась ярость, которую она редко в нем видела. Она налила себе еще выпить, пока Джим жарит курицу. «Господи, — подумала она, — может быть, стоит уехать прямо сегодня?»

— Я много о чем не спрашивал, — пробормотал он.

Момент ушел. Джорджи поняла, что сегодня она не уедет.

Потом, в постели, она лежала рядом с ним и была почти уверена, что он спит, и думала, какая же это дешевка — рвать когти ради кого-то еще. Она и раньше бросала мужчин, но они все были ублюдки, и она уходила без сожалений. Но она никого еще не бросала ради другого мужчины. Это лишало действие возвышенных причин, за-

туманивало чистоту намерений. И выбор между двумя казался ей до боли похожим на хождение по магазинам. Может быть, в конце концов она и оказалась настоящей маминой дочкой.

* * *

В той, другой жизни он идет босой по старой овечьей тропе, наступая на пятки своей тени. Ветер хлещет коричневую траву волнами вверх по холму, оголяя потрескавшуюся кожу земли. Он забивает Фоксу рот волосами и треплет какаду, стая которых на секунду затмевает небо. На вершине холма он находит ее посреди известняковых башенок; она рисует палкой в желтой грязи.

— Чай готов, Птичка.

Она смотрит на него, сидя на корточках, так что на коленях у нее выступают шишечки. Он присаживается рядом с нею. От высоких белых камней исходит дневное тепло. Он копает песок пальцами ног.

— Лю? — бормочет она.

— Ну?

— Я сегодня видела Боженьку.

— Честно-честно?

— Его самого.

— Ну и как он тебе?

— А?

— Ну, на что он был похож?

— На точку. Точка в круге, вроде того. Когда я закрываю глаза и тыкаю в нее пальчиком, она плывет по небу. Прямо на солнце, вот даже как. Ведь только Он может жить на солнце, так ведь?

Улыбаясь, Фокс запускает пальцы в ее волосы и вынимает из них репей. Она морщится так, что становятся видны те места, где были ее передние зубы.

— Чай, — говорит он.

— А ты меня отнесешь?

— Ты уже слишком тяжелая.

— Ты что, ослабел, Лю?

— Забирайся, ты, щекастая плутовка.

Он взваливает ее на закорки и думает, что если кто и видел Бога, то это точно она. Птичка очень похожа на ангела. Он несет ее вниз по склону холма. За их плечами из-за эвкалиптов на небо уже поднимается, спотыкаясь, луна. В сумерках дом возвышается на сваях, как застрявшая после отлива лодка, и из дома доносятся звуки мандолины и гитары.

— «Айрин, спокойной ночи»[11], — говорит

---

[11] Примечания: 11

«Айрин, спокойной ночи» («Irene Goodnight») — ковбойская песня, американский вариант «Мурки».

Птичка.

— Похоже на то. А где твой брат?

— На ручье.

Фокс обходит корзину с арбузами, наполовину прикрытую брезентом, и опускает Птичку на заднем крыльце.

— Спасибо тебе, прекрасное чудовище, — говорит она.

С ветерком до Фокса доносится аромат ганджи. Меланхолический лепет мандолины разносится по всему дому; двери и окна открыты навстречу приближающейся ночной прохладе. Где-то вдали лает пес.

— Иди прими душ, Птичка.

— Ты сказал — чай.

— Ты воняешь.

— Ну, спасибо.

— Хороший совет, и денег не беру. Вымойся с мылом и спереди, и сзади.

— Мыло спереди щиплет.

— Я всего-навсего парень, откуда мне знать!

Он идет за ней по дому, регулирует для нее в душе горячую воду и идет в кухню, чтобы посмотреть, насколько остыли крабы. Он делает салат, вынимает несколько кусков хлеба. Отъезжает в сторону дверь-ширма, и появляется его племян-

ник, пахнущий псиной.

— Крабы!

— Пуля, мой руки. А еще лучше — в душ.

— Ну!..

— Давай вытаскивай оттуда сестру. И не дразниться! — кричит он вслед мальчику.

Фокс выносит ужин на веранду, где было бы уже темно, если бы не луна, свет которой запутался в матовой стали национальной гитары Негры. Он зажигает керосиновые лампы и видит, что брат сидит, запрокинув голову, положив ноги на перила, и стул поднят так, что гитара лежит у него на животе. Сэл сидит в углу, юбка у нее задралась, а ноги в свете лампы кажутся белыми. Она играет, закрыв глаза. Волосы падают ей на руки. Она открывает глаза, видит Фокса и улыбается. Он нагибается к столу, чтобы послушать хитрые вариации, которые они, сплетая, накладывают на старую мелодию. Вскоре он уходит в дом и берет пиво.

Фокс стучит в стену, чтобы вытащить Пулю из душа, и возвращается на веранду ужинать. Негра и Сэл играют мелодию, которую он не узнаёт, неспешный ритмичный кусок блюграсса, который заставляет мандолину и гитару и звать, и отвечать на зов. Фокс двигает к себе пиво и стоит,

улыбаясь, вбирая в себя перемены в музыке.

Выходят дети, с волосами, взлохмаченными полотенцем, и набрасываются на крабов. Пуле девять, и он поджарый, как дикая собака. Даже во сне он извивается и хнычет, будто бы ему снится бег. Раскусывая зубами клешни крабов, он скорее вдыхает еду, чем жует ее. Птичка — методичный едок. Она сдирает скорлупки с мяса и складывает их на тарелку. Ночью она спит в полной неподвижности, как зачарованный ныряльщик. Почти каждую ночь она писается в постель, как будто не может проплыть через толщу сна. Фоксу знаком звук ее шагов по доскам во тьме. Именно к нему она приходит, чтобы он обтер ее губкой и поменял постельное белье. Тысячу ночей они молча простояли вместе в ванной, и ее голова лежала у него на руках, пока в раковине текла теплая вода.

Фокс любит детей, как своих собственных. Иногда он с удивлением вспоминает, что они все-таки не его. И почти все время он ловит себя на том, что наблюдает за Сэл. Бывают ночи, когда низкие перекаты ее смеха не дают ему уснуть.

Они трое более или менее выросли вместе. Ему все равно. Он брат своего брата. Вот и все.

— Идите крабов есть, — говорит он Негре и

Сэл. — На поезд опоздаете.

— Крабы не ждут, — говорит Пуля.

— Ну, эти-то никуда не уйдут, — говорит Птичка. — Больше — никуда.

— Кроме как вниз по горлу — и в желудок.

— Они сегодня играют? — спрашивает Птичка, как будто ее родителей нет рядом.

— В Уайт-Пойнте, — говорит Фокс.

— А мы едем?

— Вам завтра в школу.

Негра и Сэл прекращают играть, вытирают струны и кладут инструменты в потертые чехлы. Они идут к столу, и лица у них блестят от пота.

— Сегодня орла видел, — говорит Пуля, и все лицо у него перемазано крабовым мясом. — Клинохвостого.

— Красивая птица, — говорит Сэл.

— Ну уж не такая красивая, как наша Птичка, — говорит Негра, полоща в уксусе расколотую крабью клешню.

— Я видела Бога, — бормочет Птичка.

— Да, тут тебя не переплюнуть, милая, — говорит Сэл с усмешкой.

— Пуля, я тебя переигрываю по очкам, приятель.

Мальчик возвращается к еде. Если бы он не был

так голоден, он бы, скорее всего, этого так просто не оставил, думает Фокс. Пуле не нравится, что кто-то может быть лучше его.

Какое-то время они едят и болтают, а над ними смыкается теплая ночь, и дом поскрипывает на сваях. Воздух остро пахнет керосином и уксусом.

— Кто-нибудь хочет арбуза? — спрашивает Фокс.

Фокс — единственный, у кого не подводит живот при одной мысли об арбузе. Негра называет их вьющимися дерьмовинами.

— Вы даже не знаете, что теряете, ребята.

— Давай-давай, приступай, Лю, — говорит Сэл. Фокс спрыгивает с веранды со старым мясницким ножом в руке, который уже сточился до формы полумесяца. Он вынимает из корзины арбуз, стучит по нему костяшками пальцев и радуется, услышав здоровое потрескивание. Он втыкает в него нож, и арбуз вздыхает, раскрываясь. Из арбуза вылетает облако сладкого мускусного запаха, от которого по рукам у него бегут мурашки. Вздох, этот сладкий аромат — прямо дыхание Господа.

— Вгрызайся, Лю, — говорит Негра, посмеиваясь.

Фокс приносит половинки на веранду, по одной в каждой руке, — как акушерка с двумя сияющи-

ми близнецами.

— Давай, парень, — говорит Сэл.

— Давай-давай, делай дело или иди домой.

Фокс вонзает зубы в плоть, видит клетки мякоти, разбухшие, яркие от влаги. Прохладный сахар во рту. Он жует, выплевывает несколько семечек через перила во тьму.

— Плюй их на фиг, негритосов, — говорит Негра.

— Да брось, Негра, — говорит Сэл.

— Так ваш дедушка говорил, — объясняет Лю детям.

– *Если человек может счесть число песчинок на земле,* – говорит Негра, — *тогда и семя твое тоже должно быть сочтено.*

– Он говорил, что семечки — это как негритосы, которые прячутся в арбузах, — говорит Лю.

— Какие негритосы? — вопрошает Пуля.

— Аборигены, — отвечает Негра.

— А-а, эти.

— Там была миссия, — говорит Лю. — Лагерь. Там, за рекой, у Могумбера.

— И кто прятался? — спрашивает растерянная Птичка.

— Дети убегали из лагеря, Птичка. Искали свои семьи. И твой дед прятал их у ручья, чтобы никто

их не нашел.

— И что потом?

— Они шли на юг. Почти всех ловили. Отправляли обратно в лагерь. Я тогда еще и не родился, Птичка.

Девочка смотрит на семена, похороненные в арбузе.

— И такое же семечко они сделали из твоего деда, — говорит Сэл. — В точности такое же.

Пуля с небрежным видом бочком подкрадывается к арбузу и прячет в нем лицо — смеется.

Пока Негра и Сэл готовятся, Фокс читает детям для школы. Пуля лежит на полу библиотеки и все повторяет ради желанной свободы. Птичка хочет сидеть на коленях у Лю, читая «Магию Опоссумов»[12]. Она уже читатет вовсю романы про Нарнию, но книжка в картинках, похмелье младенчества, все равно остается для нее чем-то вроде ритуала. Она прижимается к его шее, и от нее пахнет шампунем Пирса и свежей пижамой.

— Лю, а если столько съесть арбуза, потом ведь набегаешься?

— Хмм. А хорошие манеры? — говорит он.

---

[12] Примечания: 12

«Магия Опоссумов» («Possum Magic») — книга австралийского детского писателя Мема Фокса для детей дошкольного возраста.

— Это не ответ.

Входит Негра, на нем чистая рубашка, его волосы собраны сзади в хвост и сияют глаза, красные.

— Ну, ребята, едем в Пойнт?

— Да! — радостно кричит Птичка.

— Негра, ведь сегодня воскресенье. Завтра им в школу.

— Мы недолго поиграем. Там свадьба.

— Ну, вот и справитесь.

— Они нас заказали.

— У меня дети. Я же тебе говорил, когда они заказывали.

— Они могут поспать в грузовике. Правда, Пуля?

Пуля входит вместе с Сэл, которая доплетает косу.

У ее волос цвет песочного печенья. Пот блестит на шее. Птичка бросается к матери, и Фокс остается качаться один, злясь, что они снова это сделали. Он будет весь вечер бегать от машины и обратно и играть, думая о музыке только наполовину. К полуночи Негру и Сэл возьмут в хороший оборот, и вечеринка переместится на другой двор, и Негра с Сэл напьются. Ему придется либо самому везти детей домой, либо приютиться с ними на ночь в кузове. Утром они будут тереть глаза,

капризничать и уж наверняка пропустят школу.

— Спокойно, приятель. Не будь такой старой кошелкой.

— Ну, ты им уже обещал. Джинн вылез из бутылки. Я принесу простыни.

— Ух ты! — говорит Сэл. — Слишком жарко в джинсах. Куда опять запропастилось это платье?

Когда Фокс выходит во двор, все уже ждут. Грязь порозовела от света стоп-сигналов.

— Давай, Лю, — говорит Пуля из кузова грузовичка.

— Хочешь, я поведу? — спрашивает он брата. — Тебе, наверное, не стоит.

— Залезай, — лениво говорит Негра.

Фокс забрасывает в грузовичок несколько простыней и свой старый «Мартин» и забирается к детям. Он откидывает ногой в сторону несколько пушистых арбузных плетей и усаживается рядом с окошком кабины, а дети в пижамах сворачиваются вокруг него клубочком. Он вдыхает сладкий запах сухой травы и смотрит, как пыль поднимается розово-белым облаком в усыпанное звездами небо. В кабине смех Сэл слышен до боли отчетливо, он заглушает скрежет гравия и вой старого мотора «Холдена». Даже в темноте янтарные бутоны рождественских елок ярко горят по

обочинам.

Птичка начинает петь:

Я люблю выжженную солнцем страну,
Землю простирающихся равнин.

…Они набирают скорость, Негра слегка раскачивает машину, чтобы дети начали хихикать. Фокс нагибается и видит, как Сэл прижимается к Негре и целует его в шею. Он отворачивается и видит свои оливы, те самые, которые он сажал еще черенками, — они пыльной процессией пролетают мимо.

— Тормози! — кричит Пуля.

Негра поддает старому «Холдену» газу, и платформа грузовика идет юзом и дает по тормозам, а дети визжат от восторга. Позади раскачиваются колеи, то показываясь, то исчезая из виду.

И потом вдруг во рту грязь. И небо совсем исчезло.

Несколько секунд Фокс думает, что заснул, что день был долгий и жаркий и как же приятна прохлада ветерка. Но мертвая трава царапает ему щеку, и странный красный огонек мотается над землей. Странно, но он думает о матери, о том, что он снова на земле, рядом с нею. И он думает об оливках, которые падают в грязь сезон за сезоном.

Он чувствует запах бензина, переворачивается, и его пронзает самая острая боль на свете — будто в грудь ему воткнули топор. Господи Всемогущий, да он же лежит на бахче! Он чувствует неожиданный приступ ужаса от того, что его позабыли, и смотрит сквозь темную пелену на шоссе за воротами. Он встает на колени и быстро понимает, что у него сломана ключица. Скрестив руки перед собой, он пытается подняться. Свет льется на землю, и красное облако пыли катится по выезду, пока не накрывает его, и пролетает дальше, к асфальтовой дороге.

Он тащится по каменной грязи к дренажной канаве, туда, где прямо в землю светят фары грузовика. Проволока изгибается по жнивью и свистит, мешает ему ковылять. Он ощупью, спотыкаясь идет к перевернутому грузовичку, зовет их по именам, и его тошнит от того, как перевернутый грузовик выставил пузо, похожее на брюшко жука, и от того, как зловеще вертится заднее колесо.

Детей и следа нет; они, должно быть, целы. Но не успевает он позвать их, как замечает Негру, наполовину вывалившегося из кабины; подходит к нему, опускается на колени и видит: его рука стала мягким сгустком плоти, а тело похоже на

вещевой мешок, набитый всякой рухлядью. «Боже Всемогущий, — думает он, — сколько меня не было здесь?» Земля у него под ногами стала смолистой от крови, и брат такой мертвый. Теперь он может слышать Салли, но не видит ее в темноте кабины. Она превратилась в ужасный влажный шум. Фокс проползает к другой стороне кабины на животе; он плачет от боли и заглядывает внутрь через погнутую оконную стойку. Измятая крыша кабины под ним горячая и скользкая. От нее пахнет дерьмом и фруктовой жевательной резинкой, и Фокс подтягивается на одной руке, пока не находит Сэл под рулевой консолью, и кусочки металла торчат из ее тела.

— Лю?

Он чувствует ее губы под своей ладонью.

— Все в порядке, — говорит она. — Я ничего не чувствую. Пой, Лю.

Он чувствует, как дыхание выходит из нее, он не успевает убрать руку. Горячий дождь ее мочи заливает ему лицо. Он приходит в себя, сидя прямо в грязи. Та же ночь и, наверное, та же минута.

Идет в поисках по дороге, крестится, чтобы успокоиться, лелеет надежду.

Но он находит Пулю на каменном краю бахчи, его голова расколота, как канталупка, он все еще

пахнет мылом, и пижама на нем чистая.

Национальная гитара в чехле прямо там, на жнивье. Пыльная мандолина. Тряпка, в которую набились репьи.

Далеко, у дома, лает прикованный пес.

И наконец, на другой стороне дороги, в мягкой грязи, светящаяся под луной Птичка. Как упавший воздушный змей, в своей ночнушке, дышит, дышит, но Фокс никак не может поднять ее. Его ключица выпирает, как сломанный брус. Когда он снова пытается приподнять ее, он почти складывается пополам под ее весом и падает на спину в окрашенный кровью овес. Его спину скручивает яростный спазм, но он все еще чувствует горячее дыхание ребенка на своей руке. Он невероятным усилием поднимается на ноги и некоторое время пытается отдышаться; а потом здоровой рукой берет маленькую, теплую ножку и тащит ребенка по белой колее несколько шагов, сопротивляясь боли, пока ему не становится стыдно от ее задушенного вскрика из грязи, и он уступает. Он знает, что не должен был ее трогать. Отступив назад, он натыкается на вспоротое брюхо гитары, и она кричит, и несколько минут Фокс исполняет чудовищное эстрадное представление, пытаясь стряхнуть с ноги эту дрянь.

Луна висит над домом. Он хромает по колее. Он ползет, он еле волочит ноги. Он оставляет их всех там, под луной. Ветра нет, но проволока ограды поет, и шип стоит над сорняками. Как раз за порушенным забором в ночи дрожат тяжелые оранжевые бутоны рождественских деревьев, а за ними сияют жучиные спины арбузов. В доме он маленькими порциями боли преодолевает ступеньки веранды, и, когда ноги отказываются идти, он прислоняется к косяку и размазывает чью-то кровь по деревянной раме.

Стол на веранде завален крабовыми шкурками и влажной газетной бумагой — ее уже оккупировали муравьи. Тарелки, пивные бутылки — тараканий угол. На перилах висят детские трусы из грубой ткани.

Внутри сияют половицы. Телефон работает — слышен длинный гудок. Дом пахнет жизнью, но Фокс знает, что видел конец света.

* * *

Прогулка обратно вверх по холму не успокаивает его. Фокс возвращается в темноте — и все его мировоззрение порушено, и мысли разбегаются сразу во всех направлениях. Кривой гортанный звук ее смеха. Жалкая перспектива вовлечения

детей — и, что еще хуже, вполне возможно, что все уже кончилось сегодня вечером, что для нее это вполне могло быть просто очередное приключение. Во всяком случае, остается надеяться, что она не настолько глупа, чтобы хвастаться этим за его счет. Никто не может сознательно делать такую глупость, ни одна душа, у которой есть хоть какое-то представление о Бакриджах. Даже сама мысль о них, о том, что он может снова попасть в их орбиту, сотрясает его. Сложно сказать, почему именно. Большой Билл давным-давно покойник, его больше нечего бояться, но даже он был по большей части легендой для мальчишек Фоксов. Они понимали, что Уайт-Пойнт — его город и что еще до того, как были построены первые лачуги, все побережье считалось его феодом. Фокс никогда не видел пожара или тонущего корабля своими глазами, и он никогда не слышал прямого рассказа об этих парнях-япошках, которые исчезли после войны. Его старик никогда не говорил об этом, но то, как цепенел отец при одном упоминании этого имени, говорило о многом.

Фокс не мог отогнать от себя воспоминания о Джимми Бакридже в школе, о том, как на перемене угнетало ощущение того, что он стоит прямо за твоей спиной. Он был неприкасаемый;

его слово было законом, но иногда он появлялся с необъяснимыми ссадинами, а раз или два — даже с фингалом. И все же к нему сложно было испытывать жалость — и даже если это чувство было тебе доступно, ты бы и самому себе не осмелился в нем признаться. В Джиме было что-то пугающее, что-то неправильное. Отец Фокса говорил — порочный ребенок, но Фокс никогда не задумывался почему.

Лучше всего он помнит один детский день на пристани Уайт-Пойнта. Джимми Бакриджу тогда было не больше одиннадцати. Тогда ему казалось: большой мальчик, и еще — городской. Он вышел на пристань, чтобы городские девчонки заахали от его жестокости. Топтал рыб-ежей, выдергивал челюсти у живых рыб-ворчунов. Фокс помнит, как, сворачивая свою собственную леску с отстраненной торопливостью, он смотрел на разворачивавшийся финал. Живого тетрадона, безобидного и глупого, размером с футбольный мяч, засунули под заднее колесо работающего вхолостую грузовика с базы. Фонтан крови, смех. И потом какая-то храбрая мамаша, которая видела все это с пляжа, подходит и награждает парнишку Бакриджа потоком ругательств прямо перед всей честной компанией. Потом, когда она

вернулась на пляж присматривать за своими младенцами, паренек влил китовый жир в открытое окно ее машины. Король детей, уже тогда — Большой Джим.

Дома пес уже отдыхивается на ступеньках и прыгает к нему за утешением, будто бы весь день они только и делали, что нарушали привычный распорядок. Фокс присаживается на минутку, чтобы потрепать ему уши и поразмышлять над тем, что все уже закончилось, если Джорджи вернется к Джиму Бакриджу и оставит этот эпизод позади. Конечно, она импульсивна, но не глупа. Она знает, в какую сторону дует ветер. Им обоим лучше бы позабыть про все это. Но вся эта история потрясла Фокса. Он не может поверить в то, что все эти часы лелеял смехотворные надежды. В ее присутствии он был повсюду; это было какое-то безумие.

Спускается ночь, и он позволяет псу прижаться к себе, лизать руки и лицо за все хорошее. Он слишком отвратителен сам себе, чтобы прогнать пса, — и постепенно псу становится скучно, и он залезает под дом.

* * *

Не прошло и получаса, а Джорджи уже знала, что сегодня вечером ни порция водки, ни десять миллиграммов феназепама не переведут ее через грань. Она чувствовала, как тело и ум поймали сон в ловушку. Тревога напомнила ей о тех ночах в Джедде, когда она боялась спать, чтобы ей не приснилась еще раз миссис Юбэйл, как она подкрадывается к ней в больничных коридорах. Кошмар преследовал ее с Саудовской Аравии и до Штатов, до Индонезии, и даже когда она вернулась домой, в Австралию. Долгое время в Уайт-Пойнте ей казалось, что наконец-то удалось от него освободиться, но не так давно кошмар начал повторяться. Она узнавала подкрадывающееся ощущение ужаса. Она думала о том, как эпилептики и страдающие головокружениями чувствуют приближение приступов. Именно так она и чувствовала себя сегодня, лежа рядом с Джимом Бакриджем, таким неподвижным и тихим. Его дыхание было слишком сдержанным. Он притворялся, что спит.

Она не осмеливалась пошевелиться. Она понимала, чего стоит во время сезона не давать ему спать после полуночи. Так почему просто не

сказать ему все в лицо? Зачем она лежит рядом с ним и притворяется? Если только он и в самом деле не спит. Но эта неподвижность была так похожа на сдержанность. И каким-то образом эта сдержанность, его сила не давали ей покоя и раздражали.

Джорджи подумала о том, как мало у нее денег. Она подумала, не пойти ли снова на работу. О мальчиках. О том доме на выбеленных солнцем бахчах. О взятой напрокат машине. О плате за буксировку. О счете из отеля. О вещах, по которым она будет тосковать.

В четыре тридцать Джим вздохнул и выкатился из постели. Она почти не ожидала, что он скажет что-нибудь. Лежа в постели, затаившись, она думала, что он помедлит перед тем, как пойти в ванную. Она хотела было что-нибудь сказать; успокоила себя, что еще не слишком поздно, но все же дала ему одеться и заварить кофе на кухне, а сама так и не встала с постели. «Хайлюкс» выкатился на подъездную дорожку.

Она почти заснула, когда с лагуны поднялся рев двигателей «Налетчика».

* * *

Фокс стоит в горячей, тихой утренней тьме, а пес скулит у его ног. Тишина полная. Воздух тяжел и упруг. Ощущение такое, что где-то за горизонтом две противоборствующие системы одновременно остановились и затихли, и от них осталось только это странное спокойствие. Уже можно понять, что днем будет не продохнуть. Подарок, а не погода. Прошлой ночью он решил на какое-то время затаиться, не выходить в море, пока все не успокоится, но как можно пропустить такую погоду в месте, где воющий ветер — единственная постоянная величина? В такие особенные дни ты просто должен быть в море; грешно не воспользоваться такой возможностью.

Проблема в том, что уже поздновато для настоящей рыбалки. Он не подготовился, и у него нет наживки. Но он прикидывает, что в баках катера хватит горючего для быстрого набега. Вперед-назад, может быть. Как раз хватит времени на то, чтобы быстренько нырнуть партизанским способом на любимых коралловых глыбах к северу отсюда. Какого черта!

Фокс снимает с катера все специальные при-

способления. Не остается ни эхолота, ни рации, ничего, что могло бы навести на него подозрения. Если на борту нет ни тралов, ни буйков, нет даже приличного морозильника, кому придет в голову, что он не просто еще один тощий рыболов-любитель, который лелеет надежду загарпунить люциана? Даже самые подозрительные субъекты из рыбнадзора ничего против него не накопают. А уайтпойнтовцы? Ну, он всегда будет на шаг впереди этих сонных ублюдков.

К моменту, когда он оставляет пса на пляже и поперек волны выходит за северные границы лагуны Уайт-Пойнта, уже почти рассвело, но Фокс чувствует себя под защитой этого странного метеорологического божьего промысла. Он буквально впитывает в себя совершенное спокойствие. Он выкатывается в неподвижное море. Волосы бьются ему в шею. Жемчужные дюны он видит только краем глаза, осматривая пустынный берег. Теплый воздух. Зловещее спокойствие. Вспыхивающие мазки водорослей и риф под ногами. И ни одного чертова судна в виду.

В нескольких милях к северу он встает на якорь и переваливается за борт — и тут же чувствует, что зря надел гидрокостюм; в такие дни хочется ощущать море кожей. В воде горячка,

и есть что-то особенное в том, как риф бьется и пульсирует внизу. На секунду он зависает на поверхности, чтобы набрать воздуха, а потом рвется вниз сквозь свернутые слои, сквозь невидимые окольные тропы течений и температур, которые оплетают кружевом тихую воду. Из дыры в рифе на открытое пространство выскальзывает сине-зеленой вспышкой голубой окунь. Фокс даже не заряжает гарпун. Большая рыба откатывается в сторону и наблюдает за ним. Он парит над мягкими кораллами и губками, плывет мимо твердых желтых пластов и пурпурно-голубых трещин. Там и оленьи рога, и мозговой коралл, угри, и морские собачки, и длинноперая треска, и усики сотен осторожных лангустов. Море набито щелканьем и треском — зашифрованные радиосигналы и атмосферные помехи говорящего молчаливого мира. Давление сжимает ему кожу, и течение колышет волосы. Можно остаться здесь, думает он. На одном-единственном дыхании ты можешь жить здесь целый Богом данный день, когда перед глазами крутится планктон и рыба фалангами выходит из укрытий, чтобы поплавать вместе с тобой. Нить жары внутри его превращается в тяжелое ядро. Ему больше не хочется вдохнуть воздуха. Наверху его катер

висит на швартовочном канате, как воздушный шарик на празднике. Он такой жизнерадостный, такой красивый, что Фоксу нужно вернуться и посмотреть на него. Он лениво всплывает. Из слишком долгой и слишком длинной глубины. Отравленный и счастливый. Какая-то часть его знает, как близко он подошел к тому, чтобы утонуть на мелком месте; но когда он прорывается через сияющую поверхность, где тело все еще дышит за него, остальной его части остается только простой восторг. Он лежит наполовину в этом мире. Звенит в ушах.

* * *

В начале девятого Джорджи отвела молчаливых мальчиков в школу, поцеловала их в уклончивые головы и пошла к Биверу, чтобы присмотреть машину.

Он, кажется, удивился, увидев ее. Он положила кассету с Бетти Дэвис на прилавок.

— Не лучшая ее роль, — пробормотал он.

— Какие ходят сплетни?

— Производственная глухота, Джорджи. Черт бы побрал «Харлей-Дэвидсон».

— Можешь продать мне машину?

— Не раньше Рождества. Хочешь куда-то подъ-

ехать?

— Нет, сейчас я взяла напрокат.

— Господи, Джорджи.

— Что?

— Будь осторожнее.

— Поэтому я к тебе и пришла, — жизнерадостно говорит она. — Не стану же я покупать подержанную машину у кого попало.

— Я дам тебе знать. Когда что-нибудь появится.

— Ты настоящий друг, — сказала Джорджи.

Он рассмеялся утробным смехом.

— А что, разве не так?

— Да я всем друг, Джорджи.

На полпути домой ей послышались выстрелы. Господи, как же она ненавидит этот город!

* * *

Море такое гладкое и лазурное, что облака, кажется, лежат на нем. Скользя по их отражениям при входе в лагуну, Фокс чувствует себя скорее сыном неба, чем моря.

На берегу в Уайт-Пойнте ни движения. Только довлеющий надо всем живописный покой. Пустынный пляж. Неподвижные норфолкские сосны. И тоскующие на якорях катера.

Прибавляя газу и пробираясь через равнины

водорослей, он знает, что вернулся домой свободным — его не в чем уличить: ни рыбы, ни лангустов, ни морских ушек. Кильватерная волна заворачивается вокруг самой себя, как патока. Он думает об изгибе ее шеи. Вдыхает аромат лебеды, полыни, йода. Мир кажется успокоенным и сонно-мечтательным.

Нос осторожно упирается в песок. Пес не поднимается, чтобы приветствовать его. Не блестит стекло в окне грузовика. Цикады. Приходит волна, поднятая катером; она бьет в берег одиноким крещендо, и тогда он начинает видеть то, на что смотрит.

Фокс выпрыгивает из катера прямо в гидрокостюме и подходит к псу, который пятном лежит на конце цепи. Куски мяса и клочья волос меняют цвет песка. Под ногами кровь, но мух еще нет. Стекла грузовичка выбиты, а в морозильниках пробиты дыры. Фокс выуживает ключи из-под ступеньки грузовичка и через разбитую дверь засовывает их в замок зажигания. Он не ожидает искры; искры нет. Он поднимает капот, видит покореженные кишки мотора и знает, что все бесполезно.

Он уходит, чтобы не упасть; идет к катеру. Отмывает ноги от крови. Входит на транец. От-

талкивается от берега.

* * *

Около девяти Джорджи сделала себе крепчайший кофе и встала у кухонного окна, чтобы выпить его. На пляже она заметила трейлер и изгиб крыши автомобиля, большей частью невидимые из-за дюны. Она поставила чашку в раковину и схватила домашний бинокль. О Господи. Лю. Зачем ему понадобилось выходить сегодня? Сегодня — изо всех дней и при чертовом белом свете дня?

Она спустилась по траве почти бегом и подошла к дюне, чтобы увидеть, что у «Форда» разбито лобовое стекло, и розовую, распластанную на песке собаку. Солнце било ей в голову.

…Перво-наперво Джорджи приняла душ. Она не могла себе помочь; ей надо было вымыться, и, как бы ни была горяча вода, она все никак не могла согреться. Она выпила. Полчаса искала ключи от взятой напрокат машины, но их нигде не было видно. Она нашла в гараже картонную коробку и отнесла ее наверх. Рывком открыла платяные шкафы и посмотрела на свои вещи. В основном просто тряпье. Кучка косметики, горсть компакт-дисков — и все. Господи Иисусе,

да своей жизнью здесь она не может и коробку наполнить. Все принадлежит Джиму.

Зазвонил телефон. Она не взяла трубку. Джорджи села на кровать и закрыла руками лицо. Телефон зазвонил снова.

В гостиной она взяла домашний бинокль и осмотрела лагуну, риф, проход между рифами. Пара судов уже, дымя, входили в лагуну, и ею овладел приступ ужаса. Она отрезана, окружена. Она подумала о детях в школе. О шоссе. О настороженной тишине города. Она подобрала диски. Засомневалась, действительно ли диск Джони Митчелл — ее; сказала сама себе, что, если ей удастся успокоиться, она вполне может найти ключи от прокатной машины; ее нужно вернуть в Перт до полудня. Как она могла их потерять? Она была на взводе и все же бесстрастна. Ей нужно еще выпить. Тогда она успокоится.

«Столи» горел у нее в горле, но тепло не распространялось по телу. И она не нашла ключи. В какой-то момент она перестала искать. Даже перестала собираться. Она просто свернулась клубочком на диване, чувствуя только холод.

…Когда вошел Джим, Джорджи была еще не настолько в стельку, чтобы не заметить, что он вернулся на несколько часов раньше обычного.

Его лицо, казалось, обварили кипятком. Ее лицо замерзло в лед.

— Нашел твои ключи на дорожке, — сказал он, бросая их на раковину около неё.

— Чертов *лжец*, — сказала она, неустойчиво следуя за ним в ванную.

— Господи, мальчики будут дома всего через несколько минут.

— Я не могу поверить в то, что ты мог это сделать. Ты злобный ублюдок, я не понимаю, как ты мог.

— Джорджи, протрезвись.

Он закрыл дверь ванной у нее перед носом, и затвор щелкнул с угрюмым звоном.

— Открой дверь!

— Остынь, ради Христа, — сказал он приглушенным голосом из-за двери.

Полилась вода в душе.

Джорджи вернулась в кухню и взяла бинокль. Толпа детей уже толклась на пристани, и их школьная форма лужицами лежала на сходнях. Самые смелые уже карабкались по крану, чтобы спрыгнуть с самой верхушки, подняв фонтан брызг. Вода была бронзовой, и свет падал на их тела сзади. Ветра все еще не было. Люди шли на пляж, чтобы отдохнуть от жары. Она смотрела,

как они подъезжают к самой воде в своих «Пэтролах» и «Крузерах». Оказывается, это был светский день. Большие женщины в безжалостных лайкровых шортах окунали младенцев на мелководье. Мужчины несли с собой пиво в неопреновых чехлах; она смотрела, как шевелятся их губы. Никто, казалось, не интересовался грузовиком и мертвой собакой в нескольких сотнях метров на пляже.

Телефон снова зазвонил.

Джорджи осматривала море. Она не могла придумать, где он мог бы высадиться. На этом побережье больше нет безопасной стоянки. И к северу, и к югу — только прибой с бурунами, и ближайшая гавань — в семидесяти километрах. Может быть, у него хватит горючего. Она сомневалась в этом. И все же погода была отличная.

Вошли мальчики. Она попыталась собраться.

* * *

Фокс идет и идет по плоскому морю. Ветер застрял у него в зубах. Звоном в ушах визжат двигатели «Хонды». Он оцепенел от скорости, почти потерял разум в движении. Постепенно двигатели теряют обороты. Они уже не работают при открытых задвижках, и несколько минут

катер плывет по инерции; наконец опускается нос, и катер останавливается. Фокс стоит у руля, пустой, как послеполуденное небо. Его настигает кильватерная волна; она поигрывает катером и выбивает Фокса из прострации. Он смотрит на измеритель горючего. Пытается подсчитать, насколько далеко он забрался. Компас показывает, что он движется на северо-северо-запад, но без гидролокатора и спутниковой связи он может только приблизительно оценить, как далеко он от побережья, и только догадываться, насколько он забрал к северу. Уайт-Пойнт скрылся из виду, и ландшафт стал просто серовато-коричневым размытым пятном. Он смотрит на морской горизонт. Бинокль остался дома, в сарае, вместе с навигационными инструментами. Он заключает с самим собой пари. Пять миль до берега? Может, с десяток миль к северу?

Он встает на колени у планшира и отрыгивает маленькое пятно чайного цвета. Поверхность моря серебряная, но внизу оно черное.

Из ящика с принадлежностями для ныряния он достает бутылку полузамерзшей воды и пьет, пока у него не начинает гореть горло. Он подумывает о рации, об упаковке сигнальных огней под консолью. Но он знает, кто пойдет его искать.

Он будет здесь один, в открытом море, и из оружия — только автоматический гарпун. Старая уайт-пойнтовская история. Никаких свидетелей, кроме самих уайт-пойнтовцев. Это будет еще один несчастный случай в море.

Он сидит на планшире. Палуба под ногами горит.

Чертов Бакридж. Он пытается вспомнить все про вчерашний день. Неужели кто-то видел их на шоссе? Или когда они купались? Это, наверное, управляющий старой фермой; в конце концов, он вполне мог быть поблизости. Если только она просто не пришла домой и не призналась во всем сама — так сказать, для очистки совести. Черт, он даже не знает, что ему и думать.

И теперь они сожгут ферму. Так все и будет. Конец. Аминь. Ты, гребаный идиот!

Он стаскивает рубашку и натягивает гидрокостюм на плечи. Достает ласты из ящика и пытается нацедить горькой слюны, чтобы подготовить маску. Он выискивает самую темную полоску в дымчатых складках побережья и решает направиться к ней. Нагибается за корму и открывает кингстоны. Он переваливается за борт и оставляет катер покачиваться на волне. Хороший день ты выбрал. Была бы зыбь — никогда

бы ты этого не сделал. Но сегодня у тебя удачный день. В любом случае тебя больше нет.

Вода под ним темно-фиолетовая. Он пытается плыть размеренно и дышит через трубку в маске. Его нет уже давным-давно.

* * *

Джим Бакридж почувствовал, как пластиковая телефонная трубка хрустнула у него в кулаке, — он пытался сдержать ярость. Неужели ж весь гребаный мир населен одними кретинами?

Из двери кабинета ему было видно, что она в кухне, наливает себе еще одну порцию водки с мартини. Закусывает «Столи» какой-то жалкой оливкой. Кажется, у нее шелушится лицо. Мальчики где-то шляются, слава Богу.

— Так что пусть кто-нибудь придет и заберет его, — зашипел он в трубку. — Хорошо, тогда сразу, как только освободится второй человек. Да, я знаю, что это стоит денег, и, кажется, я сказал, что заплачу?. Мне что, переводчика позвать? Уайт-Пойнт. Это на карте. Да, возле придорожной гостиницы. Она красная. Ну, это же ваша машина, приятель.

Он швырнул трубку на рычаг и смотрел, как она глотает напиток. Зазвонил телефон. Он сидел

в кабинете и трубку не брал.

* * *

Фокс ползет через просвеченную солнцем воду. Чувствует, как его голова с трудом разрезает слои воды. В послеполуденной жаре море сгущается карамелью. С каждой минутой ему все труднее двигаться. Как оползень: чем больше копаешь, тем больше остается копать. В гидрокостюме он весь взмок, но он знает, что не сможет снять его — так отяжелели руки. Кроме того, неопрен придает его телу дополнительную плавучесть, а очень скоро ему понадобится вся плавучесть, на какую он только способен.

Потом он перестает грести и просто толкает себя вперед, стараясь дать отдых дрожащим рукам. Вода пронизана столбами солнечного света, которые перекручиваются и разделяются в туманной водяной мути. То одна, то другая морская щука в ужасе порскает прочь. Медузы плывут среди отражающихся в воде облаков. Они сами как облака, и их щупальца — как струи дождя.

Смотрит на распухшие подушечки пальцев. Мозоли от гитар почти совсем сошли.

Думает о распростершихся на жаре салатах-латуках. О серебряных вспышках олив. Дыха-

тельная трубка режет ему десны. Барабанные перепонки туги, как шкура банджо.

Продолжает ползти. Воздух обжигает горло. Он не может заставить себя взглянуть на жуткую глубину внизу. От этого у него кружится голова. Он переворачивается на спину и пытается плыть, подставив лицо солнцу, зажмурив глаза.

Потом. Он понимает, что остановился. Лицом вниз, как мертвец. Его руки покрыты морщинами, как дюны. Можно состариться, лежа здесь. Как воздушный змей — вот на что это похоже. Подвешен между мирами. Это его смешит. Билл Блейк — рыбак херовый, но мы с ним оба подвешены. Ты совсем сошел с ума, ох как пухнет голова, — как ангел задницей кверху. Ты поэт, но ты никогда этого не узнаешь, и смех, вырывающийся из твоей дыхательной трубки, совсем не человеческий.

Он держится спиной к свету, смех дрожит у него в ногах. Продолжает плыть.

Не может поверить, что холодает. Воздух холоден, как больничный.

Видит, как пес падает на конце цепи, розовый в свете стоп-сигналов, розовый пес на песке. И потом уже нет света. Он плывет по привычке. Вода, темный сон без снов. Вода вокруг тела фос-

форесцирует. Он похож на святого в этом сиянии. Святой Лютер — Смерть Арбузам, тырит рыбу — набивает пузо. Хрипло смеется, дрожа в ознобе.

На берегу нет огней.

И никакого берега, пока не встает луна.

* * *

Как раз к закату поднялся нежный северо-западный ветер. Он еле шевелил занавески; это был тот ветерок, что приносит некоторое облегчение, но уже слишком позднее и слишком малое. Джорджи дотащилась до дивана. Бутылка водки стояла на стеклянном столике в лужице собственного пота. В симпатичной голубенькой масленке примостилась кучка оливковых косточек.

На пляже горело несколько ламп. Местные удили карпа или сидели на складных стульях, опустив ноги в водичку. Джорджи взяла бутылку и пошла на террасу. Джим с мальчиками сидели снаружи, и над их головами парили перья дыма от барбекю. Они повернули головы, когда она тяжело уселась рядом. Эти лица — так мало они похожи на те, что она помнила с Ломбока. Они вернулись к еде, и их голоса звучали как невнятное бормотание. Воздух был подсолен.

Одновременно заработали двигатели двух

больших катеров. Рев их дизелей прокатился по лагуне, и они вышли из залива с зажженными огнями. Суда, с которых ловят лангустов, не выходят в море ночью, сказала она себе. Это могут быть пассажирские суда. Может быть кто угодно.

* * *

Теперь, когда он слышит, как они дышат в темноте, ему не страшно. Разве Птичка не дышит ему теплом в ухо почти каждую ночь и разве кресло-качалка не качается иногда, когда он проходит мимо? И теперь он слышит писк и храп даже в самом господнем Индийском океане. Он слышит шум их движения в груди. Он чувствует их дыхание в неподвижном воздухе. Все в нем в мире темной воды. Пение.

Зачарованный, он перестает грести. Он стягивает маску, и воздух неожиданно обжигает ему лицо холодом. Сбрасывает и ласты и понимает, что его затекшие ступни горят от наплывающей на них волны крови. Пузыри разговора вновь взрываются около него. Он снова проваливается в обморок и вполне может прямо сейчас счастливо заснуть. Но вода вся состоит из животов и бедер, как забитая танцплощадка. Это его поддерживает. Впереди него катятся белые облака.

Воздух наполнен скачущими телами. Фокс, не раздумывая, падает в облака и выталкивает их на берег. Он поднимается на ноги и, прихрамывая, погружается в пряный аромат лебеды.

* * *

Когда она проснулась на террасе, во дворе было темно, а в доме горела только одна лампа. Джорджи моргнула и облизнула губы, пытаясь понять, что происходит. Город спал. Пляж казался покинутым. У нее появилось ужасное чувство, что она проспала что-то очень важное.

Кто-то прикрыл ее хлопчатобумажным покрывалом. Она сбросила его. Луч фонарика мигал на ближней дюне, и через мелкую поросль метались тени. Джорджи попыталась встать, но ее ноги еще спали. Она споткнулась и рухнула. Бутылка упала и, не разбившись, покатилась по шиферу. Луч фонарика на секунду хлестнул по балкону. Она попыталась собраться; ее всю будто искололи булавками.

Она увидела, что луч фонарика освещает покачивающееся лезвие лопаты. Ноги Джима. Его ноги. Свет погас. Он пересек газон и через несколько секунд уже был на ступеньках.

— Что ты там делал? — спросила она.

— Иди в постель, Джорджи, — сказал он, проходя мимо нее.

— Это простой вопрос, — сказала она, выбивая фонарик у него из рук — он выпрыгнул и скользнул по ее голени.

— Господи, — пробормотал он. — Убирайся с дороги.

— Нам надо поговорить.

— Тебе, чтобы говорить, надо протрезветь, и хватит отнимать у меня время. У меня дети. И катер. Спи в свободной комнате. И смотри, чтобы тебя ни на что не вытошнило.

— Где ключи от моей машины? Ты их снова забрал.

— В надежном месте.

— Мне они нужны.

— Ну уж нет.

Джим открыл раздвижную дверь. Джорджи отступила на застекленную террасу. Она хотела пойти за ним, но не могла отвести взгляд от большого оранжевого пластикового фонарика у своих ног. В доме раздался звук спускаемой в туалете воды.

Она взяла фонарик и пошла вниз по лестнице вслед за лучом — к пляжу, где в песке все еще стоял грузовичок. Собачья цепь исчезла вместе с

останками бедного животного. И еще было гладкое, выровненное место там, где Джим, должно быть, только что закопал пса.

Вода зловеще плескалась о берег. Она захотела поплавать. Она захотела поджечь дома. Она захотела сесть за руль и ехать куда-нибудь до самого рассвета. Она всхлипывала, пока ее не затошнило от самой себя.

* * *

Некоторое время он ковыляет на заплетающихся ногах. Натыкается на колеи в пустоши и идет по ним на юг. Дневная жара все еще живет в песке, но он дрожит в своем гидрокостюме. Мимо проносится пара кенгуру. Он все тащится, пока не замечает вдалеке блеск крытой жестью крыши. Он подходит ближе и натыкается на несколько фермерских лачуг в лощине. Два пляжных багги. Пирамида пивных банок. Грубоотесанная скамья для разделки рыбы и веревка с бельем. Он ищет глазами собаку, но ему удается незамеченным добраться до ближайшей емкости с водой. Встав на четвереньки, пьет из крана. Вода стекает вниз по горлу, прохладная, с медным привкусом. Он подставляет под воду лицо, чтобы смыть соль и песок.

С веревки он снимает шорты и майку, которая пахнет жидкостью для посудомоечной машины; удалившись на достаточное расстояние, вытряхивается из гидрокостюма и натягивает одежду. Вниз по дороге он видит дюну, исчерченную порослью акации. Он заползает туда, находит ложе из опавших листьев и ложится посреди обеспокоенного шороха всякой мелочи.

Когда он просыпается, уже середина дня и жарко. Он выполз было из-под деревьев, но свет слишком силен, белый песок расплывается перед глазами, и воздух в его горле — как моток шерсти. Ноги у него сводит судорогой. Он прячется снова, чтобы подождать заката. Снова спит.

На закате он чувствует себя лучше, и после небольшого перехода ногам гораздо легче. В положенное время он видит в небе желтый купол. Уайт-Пойнт. Он подходит к городу со стороны пляжа. Прячась в тени дюны, он обходит залив. Суда дергаются на цепях, как дворняжки. Залитая приливом пристань кишит чайками. Он прокрадывается между дюнами, видит, что никого нет поблизости, и снова идет по пляжу.

Там, где стояли его грузовичок и трейлер, не осталось ничего, кроме маленьких кубиков стекла под ногами. Это не удивительно. Так все и

должно быть — будто мы этого не видели.

Он проползает к ограде дома Бакриджа. На расстоянии вытянутой руки от газона лежит он, глядя, как окна мерцают светом телеэкрана. В темноте город кажется вполне добродушным: музыка, смех, скрип дверей. Он массирует сведенные судорогой ноги. Постепенно гаснут огни, и дом затихает.

По пути к поливочному крану он чувствует запах мяса на жаровне. Он берет пару почерневших отбивных с мармита и, скрючившись на газоне, зубами срывает горелое мясо с костей и жадно пьет из шланга.

Он думает о лежащей внутри Джорджи. Всего только подняться по ступенькам. Он видит очертания лопаты, прислоненной к стене. Он подбирает ее, поднимаясь по ступенькам к террасе. Стеклянная дверь-ширма не заперта. Джим Бакридж спит в своей постели. Но и его дети тоже.

Он целует стекло и ускользает прочь.

* * *

Джорджи вынырнула на поверхность только через полтора дня. Предыдущий день слился в жалкое горячечное пятно, но грязное постельное белье и полотенца на полу слишком хорошо

свидетельствовали о том, как именно она его провела. Голова болела, а еще горло и грудь. Она никогда не опускалась так низко. Ее просто убивало то, что мальчики могли это видеть.

Пустой дом был в беспорядке, и послеполуденный свет квадратиками лежал на ковре в гостиной. Она нетвердо подошла к окну и увидела, что грузовик и трейлер Лютера Фокса исчезли. Она поискала ключи от взятой напрокат машины. Спустившись вниз, обнаружила, что гараж пуст. Она вернулась наверх с пустой головой и в тревоге и некоторое время постояла в гостиной.

И уже через несколько секунд поняла, что на стеклянной двери странный отпечаток. Как раз на уровне глаз. Сальный отпечаток пары губ. Джорджи прошаркала к двери и начала пристально разглядывать пятно. Грязным рукавом халата она попыталась стереть его, и, когда поняла, что пятно не исчезает, ее охватила паника — пока до нее не дошло, что пятно находится на другой стороне стекла. Она вышла на жару и поспешно стерла его.

Потом она приняла душ и постаралась взять себя в руки. Она знала, что ей надо поесть, но горло болело так, что она смогла только проглотить витамины и банку спрайта. Если бы она была

в больнице, хорошая порция кислорода из маски ей бы очень помогла; это самый настоящий природный энерготоник. Она подумала было о полиции, но потом отказалась от этой мысли. Не раньше, чем исчезнет последняя надежда.

Вернувшись в гараж, она вытащила свой велосипед из-под груды принадлежностей для тяжелой атлетики и свернутой в рулон рабицы. Седло было как рыба между ягодиц. Она подумала о том, что ей придется проехать мимо супермаркета, почты и школы. Она вяло надавила на педали и выехала на резкий дневной свет.

— Сказать, что ты выглядишь как мешок дерьма, — это еще сделать тебе комплимент, — сказал Бивер, когда она подъехала к нему у колонки.

— Продашь мне машину?

— Подруга, мне тебе продать нечего.

— Я возьму что-нибудь напрокат.

— Господи, Джорджи. Мне здесь еще жить.

— Какую-нибудь старую таратайку со склада металлолома.

— Ты достаточно трезва?

— Да.

— Мамой клянешься?

— Мамой клянусь.

Он вытер руки и посмотрел на нее очень

неодобрительно.

— Мне нужен мой грузовик. Ты можешь взять «И-Эйч». Но…

— Я буду осторожна.

— Да, когда-нибудь, Джорджи.

— Я очень тебе благодарна, — сказала она. — Прямо не пересказать.

— Вот и ладно, — пробормотал он. — И не пересказывай.

* * *

Фокс просыпается на рассвете и видит, что Уайт-Пойнт всего в паре миль у него за спиной. Он даже не помнит, как ложился, и теперь ему приходится идти по дневной жаре. Так медленно, такой слабый и сонный. Он продолжает брести по мягкому, пустому пляжу, и прибой ревет у него в ушах. Песок белый, ослепительный, бесконечный. Прикидывает, что ему осталось пройти десять, а как бы и не пятнадцать миль. Он постоянно натыкается на клочки растительности, свисающие с выглаженной ветром дюны, и ненадолго пристраивается в драгоценной тени, чтобы отхлебнуть из пластиковой бутылки, которую он вчера вытащил из мусорного ведра и наполнил из крана во дворе.

В одинокой бухточке рядом со старой границей владения Бакриджей он пристально вглядывается в отпечатки ног, пока не понимает, что это его собственные следы. И следы Джорджи — такие маленькие. *Когда* же это было — два дня назад? Раньше?

Он идет по собственным следам от шин в глубь побережья, и только потом ему приходит в голову, что он должен держаться подальше от просек и дорог в буше, — но здешняя поросль царапает ему ступни. Крепкий запах лебеды. Жужжит насекомыми акация. Единственные деревья — это редкие кучки прибрежных эвкалиптов, кора которых свисает, как разорванные бинты. Жара дрожит над землей. Ограда. Потом мерзкий пояс кустов банксии — одни ветки, шершавые, как акулья кожа, и зубчатые листья. И это как если бы он пробирался через колючую проволоку.

И наконец шоссе, кварцево сияющее, как река. Он не может открыто идти по нему. Ему придется пробираться задами. Переходя через шоссе, он видит мертвого кенгуру на гравийной бровке; тот лежит, задрав в небо ноги. Зловоние заставляет его перейти дорогу и уйти в каменистую низину, за которой виднеются желтосмолки.

Он выпивает остатки воды. Выходит на выгон,

к остаткам эвкалиптовых зарослей. Несколько изумленных овец — они, должно быть, принадлежат его новому соседу, которого он даже и в глаза не видел. И наконец, задушенная канавка солоноватой реки. Мирты, в тени которых — трясогузки, гуйи[13], медоедки.

Как же они порхают, кричат и кувыркаются! Они сетью опутывают небо над ним, они вплетают его в эту сеть. Он ковыляет на юг по тени. Эму торжественно уступают ему дорогу, как яппи на экскурсии.

У речной излучины, за которой уже дом, где с наклонившегося дерева до сих пор свисает шина, он мочит ноги. Его тень падает на воду. Полдень позади. Не чувствуется ни дыма, ни запаха пожарища. Наконец он вскарабкивается на изрезанный бороздами берег, чтобы посмотреть.

Он распростерся на испекшейся земле, и дикий овес смертельно жалит его в уши; он замечает машину, припаркованную во дворе посреди озадаченной стайки кормящихся кур. Грузовичок «Холден» 1964 года, весь сияющий цветом обезьяньего дерьма. Раздвижная крыша и спицы колес. Настоящий грузовик живодера. И знакомый. Но

---

[13] Примечания: 13
Гуйя — новозеландский скворец.

он не может вспомнить. Может только ждать и смотреть, что будет. И краем сознания ожидать, что в любую секунду откуда-нибудь выскочит совершенно счастливый пес.

Он отступает в тень речного берега; открытые вены реки изрезаны тенями. Рядом с ними он чувствует, что его влечет земля.

Когда он просыпается, солнце уже садится. На ферме горит свет, но за его спиной — грязная муть. Тени скользят по полоске песка внизу. Его глаза привыкают к свету не сразу. Фигуры. Мальчики. Двое. Один склонился над водой, которая волнуется у его ног. Неожиданно он выпрямляется, в руках у него что-то серебристое, и это что-то мерцает и дрожит. Земля вибрирует.

Фокс карабкается вверх по берегу — к дому.

* * *

Джорджи заметила движение между деревьями и приготовилась. Она боялась; с другой стороны, притворяться тоже смысла нет. Она не слышала шума подъезжающей машины. Чтобы прогнать непрошеных гостей, у нее нет ничего, кроме закопченной кочерги. Телефон в доме выглядел так, будто какое-то время назад его выдрали из

стены. «Это может быть собака, — сказала она сама себе, — какая-нибудь дворняжка с фермы, что за рекой! Но слишком высокая фигура».

— Эй, я тебя вижу! — заорала она.

Это прозвучало жеманно, как голос старшей сестры при игре в прятки.

Он подхромал к ступенькам, как наказанное животное.

— Это я, — сказал он, уворачиваясь от брошенной кочерги. — Джорджи?

— Да.

— А кто еще?

— Только я.

— Я…

— Только я, Лю. Заходи.

Он какое-то время стоял на месте, и лицо его было неразличимо во мраке, пока Джорджи не поняла, что ему нужна помощь. Когда она прикоснулась к нему, он отшатнулся. Он был весь липкий от крови и пота. От него ужасно пахло.

— Есть еда, — сказала она, ведя его по ступенькам.

У него тряслись руки, как у старика, и шел он неровно, как больной после операции. На пороге его глаза сверкнули.

Джорджи усадила его за кухонный стол и по-

старалась надеть старую профессиональную маску, чтобы унять ужас, который почувствовала, увидев, в каком он состоянии. Истерзанный, с солнечными ожогами, покрытый запекшейся коркой соли и грязи, с потрескавшимися губами, с красными глазами, которые выглядывали из темных от усталости кругов. В его волосах было полно семян травы и паутины. Его исхлестанные икры и ступни дрожали. Она, стараясь не привлекать его внимания, пощупала у него пульс и подумала, что надо бы сделать ему ледяную ванну, чтобы снизить температуру тела, но его пульс был размеренным и сильным, но боялась оставить его одного, отправляясь на поиски льда.

— Ты покормила курей, — сказал он блаженно.

— Да.

— Сегодня?

— Пару часов назад. Вот, пей.

Она влила в него воду. Он методично глотал. Ее поразило то, как это чертовски характерно; на глаза у нее навернулись слезы.

— Есть еда, — сказала она. — Я кое-что приготовила. Картошка была здесь. Цыпленка пришлось занять. Я наберу ванну. Ты останешься?

Лютер Фокс смотрел на нее с полным непониманием. Она оставила его тянуться за холодной

печеной картошкой, и, когда она вернулась из ванной, он икал. Он пытался улыбаться, но икота звучала болезненно, как всхлипы.

— Пей, — сказала она.

— Они придут?

— Я не знаю.

— Пожара нет.

— Нет.

Он оторвал ножку у цыпленка, которого она пожарила, и торопливо съел ее. Он пытался протолкнуть ее в горло. Он выглядел озадаченным.

— «Холден И-Эйч»?

— Это Бивера. И курица его. Я развиваю дружеские связи.

Джорджи пощупала ему лоб и шею — не снизилась ли температура. Похоже, он был более или менее в порядке.

— Мне конец, — сказал он тоном, в котором Джорджи почудилось удовлетворение.

В ванной он настолько оцепенел, что дал Джорджи снять с себя шорты и майку. Она усадила его в старую ванну и губкой обтерла раны. На руках и шее у него были клещи. Он вздохнул, когда она ополоснула его, и Джорджи про себя подумала: когда в последний раз хоть кто-то опускался рядом с ним на колени и купал его?

Когда он закрыл глаза, оказалось, что веки у него полупрозрачные.

Минут через десять он, похоже, немножко ожил. Он рассказал ей, что? сделал, где был, чего ему стоило добраться домой; и она была благодарна, что он не настолько в себе, чтобы спросить, как *она* провела все это время.

Когда настало время вынимать его из ванны, она взялась приподнимать его, но он встал сам. Джорджи подумала о смазываниях и купаниях, которые она повидала за долгие годы. О мужчинах, рядом с которыми она вставала на колени, чтобы утешить, вымыть, спасти. Этот импульс у нее все еще оставался. Господи, подумала она, есть ли разница между тем чувством, которое она испытала, увидев Джима в первый раз, и тем, что чувствуешь, когда перед тобой изнуренный мужчина, который ждет спасения? Она бросила работу, но она все еще оставалась сестрой Джорджи и готова была лететь на помощь.

Она завернула его в полотенце и отвела на кухню, где выжгла с него клещей булавкой, нагретой на газу. Она чувствует себя, сказала она, как Великий инквизитор, который мучает тебя в надежде выпытать еретические тайны. Он сонно улыбнулся. Все тайны, пробормотал он, это и есть

ересь. Джорджи намазала его антисептической мазью и втерла масло в его солнечные ожоги. Она уложила его в постель и какое-то время посидела, пытаясь прикинуть, куда идти отсюда. Сначала машина. Ей придется завести свою собственную — все равно как.

— У тебя ведь нет тайн, — сказал он. Веки его трепетали.

— Ты моя тайна, — сказала она, пытаясь не думать о миссис Юбэйл.

Он улыбнулся.

— Ну да, мы же не ходим по округе и не кричим: «Вот они мы!»

— Да.

— Я тебе не сказал. О Птичке. Что она еще прожила какое-то время. На аппаратах. И они все совали мне эти бумажки. Я не должен был. Но я все ждал и ждал. Думаю, я просто устал, понимаешь. Они меня истомили.

— Это было милосердие.

Он покачал головой:

— Удобство.

— Нет, Лю.

— Ты не понимаешь, — пробормотал он.

— Поверь мне, — сказала она, — я понимаю.

Он вздохнул.

— У тебя есть атлас? — спросила она.

— В библиотеке, — сказал он. — Зачем?

— Покажу тебе мою вторую тайну. Мой остров.

Когда она вернулась с большим пыльным томом, Лютер Фокс спал. Эти веки были похожи на лепестки, и на них вырисовывался мраморный рисунок капилляров, как у ребенка. Она поцеловала его в лоб и перед тем, как задернуть полог, несколько секунд впивала его пахнущее цыпленком дыхание.

Джорджи вспомнила себя пару дней назад, распростертую на этой постели, медлительную, как герцогиня. И его рука — в ее руке, теплая и удивительная.

Она наклонилась и взяла его за руку. Прижала ее к своей щеке. Прислушалась к ночи за противомоскитной сеткой.

Плывет по хнычущему морю. Вокруг него, в тумане, шипящее дыхание мертвых; они плещутся, и крутятся, и гребут в глубине, вокруг него, вместе с ним. Их дыхание пахнет землей, речной глиной и арбузами. Он рывком приподнимает лицо из воды, и его рук и ног касаются скользкие тела, а одно, особо настойчивое, бьет его в бедро снова и снова, вопрошая, а он все плывет — размеренно, как метроном, как ритм без мелодии. В воде не

протолкнуться от рук и ног, они слишком перепутались, чтобы проплыть сквозь эту массу, и потоки похожих на водоросли волос застревают у него в зубах, хватают за горло.

Он просыпается в темной комнате. Занавески колышутся у обшитой панелью стены. А… Здесь.

Он откидывает покрывало и недоуменно мигает, понимая, как туго натянуты его подколенные сухожилия. Он, шаркая, идет в ванную, а потом на кухню. Дом кажется гораздо более пустым, чем когда-либо.

— Джорджи?

Когда он зажигает свет, на столе находит атлас. Грязный конверт выглядывает из него, и он открывает книгу, чтобы прочитать аккуратно написанное на конверте послание:

«Обещала вернуть машину.
Целую, Джорджи».

Записка Джорджи соскальзывает на стол. Она прилипает к его влажным пальцам, но его взгляд прикован к странице, на которой раскрыт атлас. Австралия. Весь континент — это скалистое нахмуренное лицо, и половина этого лица — Западная Австралия. Он никогда не покидал пределов своего штата, никогда не пересекал

даже эту незначительную границу. Он замечает слегка испещренные точками пустыни, которые отделяют его побережье от остальной страны. В сравнении с Азией или Америками названий на карте немного. Уайт-Пойнта нет на карте; увидев это, он чувствует какой-то укус удовлетворения. Фокс зажимает пальцем то место, где, по его расчетам, он должен сейчас находиться, и размышляет о широких просторах вокруг. Такое одиночество на странице — и это в то самое время, когда каждый засранец в этом мире дышит тебе в спину. Он определяет масштаб и по мальчишеской привычке прикладывает короткую сторону конверта к шкале, чтобы отмерить расстояние в двести миль. На юг всего четыреста миль до дождливого гранитного берега. Леса, свежая вода, люди. А на север? Ну, на север за год не доскачешь. Тысяча миль одного и того же штата. По большей части пустынных миль. А дальше эта земля не исчезает в тропических болотах.

Фокс осматривает все побережье. Дальний север кажется потрескавшимся — так много заливов и островов. И он слегка хмыкает от удивления, когда видит, что это место есть на карте. Да, прямо сверху, рядом с морем Тимор. Залив Коронации.

Он выключает свет и снова ложится в постель, но не спит.

II

Бивер подошел к двери, вытирая рот и бороду комком туалетной бумаги. Бензоколонка была закрыта и тускло освещена, и откуда-то из его логова за конторой доносился, крутясь водоворотом, показательный мотивчик сороковых годов. Комбинезон Бивера расстегнут до пупка, открывая подпрыгивающие груди, прикрытые только тонкой и растянутой майкой. Он отпер стеклянную дверь и приоткрыл ее ровно настолько, чтобы можно было просунуть туда голову.

— Кто поет? — спросила Джорджи.

— Этель Мерман.

— Ты человек-загадка, Бивер.

— Я — он и есть.

— Уверен, что не продашь мне эту машину? — спросила она, протягивая ему ключи от грузовичка «И-Эйч».

— Высечено на камне.

— Мне позарез, ты же знаешь.

— Лучше возвращайся домой, Джордж.

— Господи, а где же это? — пробормотала она.

— Джим за сегодня уже два раза заезжал. Гово-

рит, у него плохие новости. Ты должна поехать.

— Бивер, он *сам по себе* – плохие новости. Ты его не знаешь.

— О, я его знаю.

Вечерний воздух был тяжел от йодистой вони водорослей. На дворе Бивера в свете фонарей вились несколько чаек. Звук моря был похож на ровный шум автострады. Джорджи подумала о своей скромной коробке с имуществом, оставшейся дома.

— Вот, — сказал Бивер, вытягивая волосатый кулак. — Пусть ключи несколько дней побудут у тебя. Я погляжу, что бы тебе такое продать.

Джорджи шагнула вперед и поцеловала его в седую щеку.

— Как-нибудь, — сказала она, — тебе придется рассказать мне историю своей жизни.

— Ладно, только дай мне время просмотреть наброски к мемуарам.

Поднимаясь к дому, Джорджи увидела «Крузер» Джима, стоящий в ярко освещенном гараже, и по пути повернула выключатель. Джим сидел перед мерцающим телевизором с газетой и сводкой погоды на коленях. Его лицо было синего цвета — невозможно было сказать, от телевизора или переутомления. Несмотря на то что все окна бы-

ли открыты, в доме пахло яичницей с ветчиной. Море мерцало в лунном свете.

— Сядь, Джорджи.

— Я постою.

По правде сказать, она чувствовала такую слабость, что вполне могла бы лечь прямо здесь и уснуть.

— Сядь.

— Я никогда не прощу тебя, — пробормотала она.

— Ну а я и не собираюсь вымаливать у тебя прощение.

— Я хочу, чтобы ты это прекратил. Пусть он будет.

— Я уже прекратил, — сказал он.

— Откуда ты узнал?

— Узнал что?

— Обо мне и Лю Фоксе.

— Ну… — Джим свернул газеты и бросил их на пол. — До сегодняшнего вечера это были слухи.

— И кто сказал тебе сегодня вечером?

— Ты.

Когда Джим поднялся, она поняла, что отступает в кухню. Он прошел мимо нее, направляясь в контору.

— Позвони сестре.

— Не волнуйся, я уеду.

— Позвони Джудит, — сказал он через плечо. — Она пытается поговорить с тобой целый день. Твоя мать умерла.

* * *

Самое раннее воспоминание Джорджи было о походе за покупками с матерью. Она сама была годовалой девчонкой на белом нейлоновом поводке. Запахи жарящихся кешью, пончиков, срезанных цветов, стальной мишуры. Младенец в коляске, наезжающей ей на пятки. Воспоминание было таким отчетливым — она почти видела себя скачущей на конце поводка на Хэйстрит как джек-рассел-терьер, в окружении городского рождественского распродажного веселья. Джорджи поражал и пророческий характер этой попытки вырваться из пут, и сама природа этого похода; они во многом объясняли ее характер и ее отношения с матерью.

Она была своевольной девчонкой, и чем старше становилась, тем больше людей говорили это. Непутевая. Если все хотели идти на север, Джорджи Ютленд шла на юг. В школе ее с сомнением в голосе называли «слегка индивидуальной» — такую фразу австралийцы все еще произно-

сили, неопределенно кривя рот, будто чувствуя что-то неподобающее. Теперь Джорджи думала: а насколько осознанным был ее индивидуализм? В классе и в группе она была признана индивидуалисткой, и вместо того чтобы сопротивляться этой навязанной роли, она принимала ее и старалась соответствовать. В узких рамках благонравной частной школы она стала крепким орешком. По утрам на электричке по пути в школу она понимала, что она всего лишь еще одна принцесса из кузницы настоящих леди. Но в ее собственном ограниченном мирке она заставляла людей поволноваться. Она считала себя популярной и очень долго не понимала, что девочки и учителя не любили ее. Она воспринимала страх как уважение. Она не видела, насколько была одинока.

Тем не менее дома она не питала таких иллюзий. Там все было ясно. Она любила мать — Джорджи казалось, что об этом и говорить нечего, — но ей приходилось часто повторять это себе, потому что с очень раннего возраста она поняла, что никогда не сможет ее порадовать. В какой-то момент она решила бросить вызов своему старику — это для нее было как воздух и вода, — но то, что мать разочаровалась в ней, все-

гда было для Джорджи источником несчастья.

Она была старшей из четырех сестер. Джорджи, Энн, Джудит и Маргарет — девочки Ютленд. Джорджи чувствовала, что ее по-своему любят, но никогда не могла понять, откуда берется то невероятное удовлетворение, которое она видела на лице матери, наблюдающей за тем, как ее сестры превращаются из младенцев в девочек. Их невероятная способность доставлять радость раздражала Джорджи. Даже их зубы и волосы доставляли матери радость. Энтузиазм, с которым они носили свои платья и фартучки, их страстное желание носить *ее* одежду и мазаться *ее* косметикой вызывало у Джорджи тошноту. Они были настоящие леди. Девочки. То, что в Джорджи было от девчонки-сорванца, инстинктивным и бессознательным, к десятилетнему возрасту превратилось в горько-целенаправленное сопротивление девчачести. Она начала упорствовать. Несмотря на воспитание и манеры, единственной страстью матери было хождение за покупками. Именно эти походы окончательно отрезали Джорджи от женщин Ютленд. Это каким-то образом сплачивало сестер и не давало им удалиться от матери. Дважды в неделю они шли на штурм модных лавок.

Раз в несколько лет, скривив рот и из чувства долга, она заставляла себя пойти с ними, но эти бесконечные вылазки были неотличимы от походов в детстве, когда она с опущенными веками маршировала за матерью и зависала в дверях, задыхаясь от соревнующихся ароматов, утомленная и скучающая до невозможности. Полет тканей, щелканье ногтей по кнопкам кассовой машины, вешалки, ярлычки и выгодные покупки — от всего этого ей хотелось лечь на пол и уснуть. Мать обижало это отсутствие восхищения, и сестры уже давно решили, что отказ Джорджи ходить за покупками — это отрицание семейных устоев, которое невозможно простить.

Она рано ушла из дома, вылетела из медицинского, прошла сестринские курсы, и оказалось, что она плохой пример семейству, тот самый, над которым остальные, по замыслу, должны были подняться.

Джорджи была в Саудовской Аравии, когда ее отец, Уорвик Ютленд, КС[14], бросил мать.

Так что ее не было дома, чтобы поплакать и поспорить, чтобы подержаться за руки, и это тоже свидетельствовало не в ее пользу. Через неделю

---

[14] Примечания: 14

КС — сокращение от «королевский советник», официальное название адвоката по гражданским делам в странах Британского Содружества.

после развода старик женился на женщине, которая была всего на девять дней старше Джорджи. Грета — нервная, приличная женщина, красивая такой красотой, которая, должно быть, напоминала отцу о матери Джорджи. Джорджи все не могла понять, что нашла Грета в *нем.* В детстве Джорджи восхищалась отцом, его энергичностью и чувством юмора. Они вместе ходили в речные регаты и в разговорах про мореплавание были наравне. И все же настал день, когда она разуверилась в нем. Она думала, что отцу приятно ее общество, что она ему нравится. Но довольно неожиданно в доке яхт-клуба одним субботним вечером, где были все эти хлопающие тебя по спине наследники, горделиво спрыгивающие со своих яхт, она увидела, что ее демонстрируют, что она становится кусочком его успеха. Отважная морячка-дочь, которой судьбой уготовано стать первой женщиной-врачом в клане. Это был кусочек удачи, блеск, добавленный балу Ютлендов. Она повернулась против.

И теперь Джорджи припарковала грузовичок Вивера на сияющем газоне позади его «Ягуара», оттягивая момент. Примостившийся рядом с «Саабом» и двумя «Бимерами» «Холден» выглядел как нечто из ряда вон выходящее — раньше бы

она не осмелилась на такое. Она подумала, что было бы лучше забросить его к Фоксу по пути сюда.

Ночь была благоуханна. Еще до эры кондиционеров, когда она была девочкой, в такие ночи можно было *услышать* реку, а не просто почуять ее запах.

Дверь открыл, напустив на себя печальный семейный вид, муж Энн, Дерек, и Джорджи услышала свой вздох. Дерек был высок и немного сутуловат, и искренность не была его коньком. В речных пригородах Перта он считался выскочкой. Даже если бы он не был дерматологом, на ум все равно приходило бы определение «шелудивый». Он приветствовал Джорджи, заключив ее в утешительные объятия, от которых получил больше, чем дал.

— Они там, на террасе, — сказал он. — Выпьешь?

— Нет. Да. Водка с мартини.

Она подумала: «Моя мать мертва».

На ковре в гостиной было длинное мокрое пятно, и электрический вентилятор гнал на него воздух. Пятно пахло средством для чистки ковров с еловым запахом и очень слабо, несмотря на все меры, мочой.

— Инсульт, — сказал Дерек, протягивая ей стакан. — По крайней мере, сразу.

— И сколько она так пролежала? — спросила она, осознавая, что он смешал в одном стакане водку и вермут.

— Двенадцать–восемнадцать часов.

— Господи!

— Парень, который следит за бассейном, нашел ее в обед. Увидел через стеклянную дверь.

— Где тело?

— Его нет.

— Ох, — сказала она со странным облегчением.

— Мы не могли тебя достать. Джим сказал, что у тебя сейчас что-то…

— Мне бы хотелось увидеть ее.

— Чтобы усомниться в диагнозе, конечно же, — сказал он, ухмыльнувшись.

Ей захотелось швырнуть стакан ему в рожу.

— Это свойственно человеку, Дерек. Тебе не понять.

— Завтра будет прощание.

— Конечно.

— Ну, я побуду снаружи, с остальными.

Джорджи стояла и думала о том, как мать ходила по этому большому дому совсем одна, на высоких каблуках. Она почувствовала вину за

то, что ее не было здесь. Снова. Снова дала этому случиться. Мать пролежала здесь всю ночь и половину дня, и ее обнаружил какой-то незнакомец.

Джуд нашла ее плачущей. Она отобрала у Джорджи стакан, обняла, погладила по спине. Не надо иметь любимиц, но Джуд была ее любимой сестрой. Джорджи прижалась лицом к мягкому выступу подплечника сестры. Льняной пиджак пах лавандой — ароматом, который повсюду сопровождал мать.

— Как ты, сестренка?

— Одеться не успела, — сказала она, заметив, что на Джуд костюм от Диора, а на ней — походные шорты. — Где малышка Хлоя?

— Мы наняли няньку. И не такая уж она и малышка. Дети Энн спят наверху.

— Как она?

— Нормально. А вот Маргарет не в себе.

— Все еще нянька.

— Господи, да ей на прошлой неделе исполнилось тридцать два.

— Ой, я и забыла про ее день рождения. Отдай мне стакан.

— Ну, выпивка, разумеется, *тебя* подбадривает.

— Надо же кому-то подавать дурной пример.

— О Господи, Джорджи, — сказала Джуд, падая духом. — Ее и правда больше нет.

Они снова постояли, сцепившись, пока муж Джуд — Боб не вошел и не положил этому конец, ловко выведя их наружу. Джорджи смотрела, как он ловко правит Джуд своей ладонью, положенной между ее лопатками.

Двор был чередой террас, спускавшихся к реке. Фонарики на деревьях выглядели до странности празднично. Бассейн был изумрудным. Она подумала: «Я выросла здесь».

— Джорджи? — крикнула Энн, уже раздраженная. — На что ты уставилась?

— На двор, — сказала она. — Он кажется больше. Я была здесь на Пасху, но уже забыла. Какой он большой!

— Ты еще со своими провалами в памяти, — сказала Энн. — Иди и познакомься с новым парнем Марджи.

Джорджи позволила, чтобы ее провели от одного обмена любезностями к другому. Ни одной из сестер мужчины не принесли большого счастья. Энн, казалось, терпела Дерека из-за денег, а Джудит, которая снова подсела на валиум, была глубоко несчастна с Бобом, но боялась бросить

его, потому что опасалась потерять дочь. Бывший приятель Маргарет сидел за мошенничество с налогами. Маргарет, младшая, специализировалась в том сорте обидчивой нуждаемости, которая отлично служила ей с младенчества, но Джорджи, которая все еще помнила, как ей приходилось менять Мардж пеленки, в конце концов привыкла к этому. Ее новая симпатия носила феску и шелковые тапочки. Кто это он, интересно, бюрократ от искусства?

Во время каждого разговора Джорджи ощущала присутствие самого КС, который рыскал возле бассейна, ожидая нравоучительного момента.

И разговор… Господи, да что это такое? Это был разговор о *приготовлениях*, но не о Вере Ютленд. И что мы можем сказать, — думала Джорджи. Уступчивая, пусть и брошенная жена. Умелая и отстраненная мать. Женственная. Хорошая кожа, отличные манеры. И все же как именно она определяла себя? Какие истории можно тут рассказать? Это было ужасно. И ощущение того, что ее у тебя больше нет, — гораздо хуже, чем незнание того, как быть с нею.

В конце концов старик зажал ее в угол у бассейна.

— Джорджиана.

— Высокоученый адвокат.

Она клюнула его в кирпичную щеку. Под вонью его сигары можно было учуять «Булгари», аромат Греты. На нем были носки в шотландскую клеточку под смокинг. Он пришел с какого-то мероприятия, сразу после того, как услышал. Грета из уважения к приличиям осталась.

— Боже милосердный! — сказал он. — Ты только посмотри на свой загар.

— Жизнь рыбацкой женки. Ты и сам цветешь цветом, — сказала она, протягивая стакан по направлению к его цветущему лицу.

— А-а, загар из Типперери, — сказал он. — Каждая порция алкоголя, которую ты выпиваешь, решает поселиться у тебя на носу. И все-таки некоторые участки еще имеют шанс оказаться солнечными ожогами. Мы плаваем в Роттнест почти каждые выходные. Ты все еще выходишь в море?

Джорджи покачала головой:

— Кажется, мои морские дни давно позади. Мне исполнилось сорок, знаешь ли.

— Да, — сказал он. Это прозвучало так, будто он помнит. — Я знаю. Жаль, что твоя мать этого никогда не любила. Плавать, я имею в виду.

— Ну.

— Но ты была настоящий морской дьявол. Хотелось бы мне снова увидеть тебя в море. Господи, девочка, да ты же ходила в Индонезию.

— И это плавание меня вылечило, — сказала она с лживым смешком.

— Но все-таки.

Джорджи чувствовала, что оно приближается, его последнее заявление по поводу ее матери. Оно висело в воздухе, как южняк на горизонте.

— Ты довольно ничего себе выглядишь, — сказала она, увиливая от этого.

— Грета посадила меня на тренажеры.

— Тогда Грет для тебя хороша.

— Грех? — Он ужаснулся.

Джорджи рассмеялась:

— Посмотри на *себя*. Грех? Я имела в виду Грету, ты, кукушка.

— Ах вот как!

— Мама умерла, папа. Не надо ничего говорить.

Тогда он улыбнулся, и на его лице отчетливо проглянуло героическое снисхождение.

— Я понимаю.

Джорджи вздохнула. Теперь у него на щеках были настоящие слезы.

— Господи, я как будто вижу ее на заливе

Фрешвотер, в пятьдесят седьмом. Какая-то университетская гулянка. Розовато-лиловый кашемировый свитер, разлетающиеся волосы. Такая свежая и прекрасная. Могла бы быть Одри Хепберн.

— Ну, теперь тебе придется утешаться Кристин Скотт Томас.

— Кем?

— Я просто не хочу больше этого слышать, пап. Неужели не видишь?

— У меня тоже есть воспоминания, знаешь ли. Что ты *делаешь?*

– Раздеваюсь, — сказала она, сбрасывая туфли и вытряхиваясь из шортов.

— Господи Боже Всемогущий! — взревел он, когда она сбросила нижнее белье и безрукавку. — Ты вообще потеряла всякое представление о приличиях?

Джорджи упала в бассейн и легла на прохладное, гладкое дно, вне звука его голоса, всех их голосов.

* * *

Джорджи было едва-едва двадцать один, и она еще была трепещущей практиканткой, когда ей впервые пришлось столкнуться с мертвым

телом. Дежурная сестра позвала ее и объяснила порядок оказания последних услуг, обмывания покойного. «Думай об этом, — сказала она тогда, — как об уборке». Джорджи знала пациента, старину Теда Бенсона, за которым она ухаживала неделями. Его смерть была вполне ожидаема, но Джорджи все равно была потрясена. От нее требовалось обмыть его, заделать отверстия на теле и перевязать конечности, перед тем как отвезти тело вниз, в морг. Вскоре после того, как Джорджи приступила к делу, дежурную сестру куда-то позвали, и Джорджи осталась с телом наедине. Оно было уже холодным, и она начала быстро обрабатывать его губкой, как будто купол живота — это крыша «Фольксвагена»; но, занимаясь своим делом, она вспоминала Теда, который никогда не жаловался, его мягкий голос, его джентльменскую почтительность, и это воспоминание немного устыдило Джорджи — и успокоило. Она начала относиться к его останкам по-другому. Она ополоснула лицо и вытерла так аккуратно, будто он был все еще жив. Она поняла, что успокаивающе шепчет ему что-то, как будто он — пациент, положившийся на ее заботу. Больше Джорджи не сожалела о том, что ей досталась такая работа; она жалела только, что не сумела

спасти его. «Ты мне нравился, Тед, — сказала она. — Я восхищалась твоим самообладанием, ты же знаешь. Я уже скучаю по тебе». Она обтерла его тампоном, нежно обвязала его лодыжки и челюсть, и когда закончила, то уже знала, что нашла самую чистую часть себя. На комнату снизошла святость.

…К удивлению и ужасу остальных, Джорджи отказалась от всех предложений приютить ее на ночь и, когда все уехали, осталась в доме матери. Место казалось заброшенным и покинутым. Там были только Джорджи и пятно, оставшееся от матери. Утром Джорджи посетило настойчивое желание еще разок поплавать голой в бассейне. Для начала она сделала несколько ленивых гребков, чтобы как следует прочувствовать все, чтобы ощутить чистый рой пузырьков на животе. Потом она втянулась в более четкий ритм и стала грести энергичнее, и от этого мышцы начали гореть, пока она не поняла, что плывет в состоянии ярости. Это было то чудовищное влажное пятно на ковре. Знак того, что последняя возможность исчезла. Никто из них не понял бы, но она смогла бы по-настоящему оценить полчаса наедине с матерью до того, как придут могильщики. Раздеть ее, да, и обмыть, смыть корку косметики,

которая всю жизнь скрывала ее лицо, всю эту помаду, тон и румяна, карандаш и тени. Нежно. С суеверным почтением. Не злобясь и не торжествуя, но отдавая дочерний долг. Чтобы они обе освободились от груза. Ты всегда хотела показать ей то, что делаешь лучше всего, — чтобы она поняла кое-что о тебе. И доказать, что ты могла любить ее. В тихой комнате, одна. До того, как уйдет ее суть. До того, как твое сердце съежится до размеров сушеной фиги.

Плавая, Джорджи услышала, как кто-то окликает ее. Рука появилась в пятнистой голубой мути.

— Джорджиана!

Это была Энн. Она стояла на коленях у края бассейна и полоскала рукой в воде, как дрессировщик дельфинов.

— Ради всего святого, Джорджи.

Джорджи стояла, уцепившись одной рукой за перила, и пыталась дышать. В тени сестры ей было жарко и хотелось упасть в обморок. Ее тело чувствовало отраву внутри. Ее начало трясти.

— Тебе мало прошлого вечера? — закричала Энн. — Дети здесь. Сегодня суббота, день похорон твоей матери, а ты голышом купаешься в бассейне, как девчонка!

Джорджи посмотрела вверх на Энн в костюме

от Шанель.

— И вытри нос! Господи, они идут.

— Привет, тетя Джорджи! — крикнула Блейк со ступенек.

Лицо девочки пожелтело от желтого платья. Совсем недавно сменившиеся зубы казались слишком большими для рта. Рядом с ней ухмылялся юный Джаред.

— Ты нудистка.

— Всем нудистам нудистка, Джаред.

Дети прикрыли рты руками и искоса посмотрели на мать, будто бы спрашивая разрешения рассмеяться.

— Джим звонил, Джорджи.

— Вот как.

— Он подъедет?

— Нет.

— Я просто предположила.

— О Боже!

— Я тебя не понимаю, — сказала Энн. — Уже полдень. Вылезай.

Джорджи взобралась по лесенке и минуту поискала полотенце, которое, как оказалось, просто позабыла захватить. Потом она заметила глаза детей, широко раскрытые, как анемоны, и как раз поворачивалась к Энн, когда сестра заключила

ее в стыдливые объятия, которые на секунду показались Джорджи похожими на любовь, но, как она почти сразу поняла, были просто выражением стыда.

Позже Джорджи сидела в пропекающемся на солнце черном лимузине, пока остальные роем шли взглянуть на тело. Никто не разговаривал, когда родня наконец присоединилась к ней в катафалке.

Сама служба была образцом утонченности и вкуса. Присутствие Уорвика Ютленда, КС, повергло викария в раболепное волнение, и Джорджи показалось, что отец был восхвален не меньше, чем покойная мать. Когда она произносила слова холодноватых, многословных гимнов, знакомых со школы, удивлялась, с чего это Дереку взбрело говорить об их матери. Во время службы на нее снизошло понимание того, что у нее на заднице ужасный солнечный ожог, и чем дольше шла служба, тем жестче становилась кожа, — до тех пор, пока уже почти в самом конце Джорджи не начала ощущать, что ее задница раздулась так, что, наверное, стала в два раза больше, чем обычно.

Потом, в крематории, который был оформлен как холл трехзвездочного отеля и наполнен со-

ответствующим духом, на обитой скамье рядом с Джорджи появились Джим и мальчики — будто бы по предварительной договоренности. Костюм Джима отлично на нем сидел, но ему все равно как-то удавалось выглядеть так, будто костюм ему безнадежно мал. Мальчики, казалось, были потрясены. Джорджи подумала, были ли они на похоронах собственной матери или нет. Разговоры на эту тему по молчаливому согласию всегда считались неподобающими. Когда гроб спускался под мраморный пол, на коленях Джорджи появился носовой платок; она в изумлении подняла глаза и увидела, как Джош садится обратно рядом с отцом. Этот платок был ей знаком — в свое время она прогладила его утюгом, свернув в маленький квадратик, — но она никогда не видела, чтобы он покидал шкафчик Джоша. Она уставилась на него, а крематорий тем временем наполнился мелодией песни Барбры Стрейзанд.

Поминки были у Дерека и Энн. Джуд лежала на кровати и всхлипывала. Потом Джим отвез Джорджи обратно к матери, и мальчики сидели внизу и смотрели телевизор, когда они с Джимом пошли в спальню поговорить. Она чувствовала оцепенение. Она не понимала ни того, почему он здесь, ни того, почему она согласилась, чтобы

он отвез ее. Джорджи казалось, что против нее что-то замышляют, и у нее болела задница.

— Ты говорил с Энн, — сказала она, встав у окна, а он сидел на ее узкой постели с жутко розовым покрывалом.

— Трудно было бы не говорить, — пробормотал он. — Похороны и все такое.

Она вздохнула. Отсюда была видна река, сияющая между эвкалиптами с ароматом лимона. Красный рододендрон был в два раза больше, чем она помнила.

— Я и не знал, что ты держишь здесь свои вещи, — сказал он.

Когда она обернулась, он обозревал горы одежды, которые годами пылились здесь. Он был прав. В тех редких случаях, когда она приезжала сюда за последние несколько лет, все эти вещи выглядели как мебель, попавшая к ней по случаю. Весь этот хлам, сросшийся с нею, она едва воспринимала. Комната казалась гораздо меньше, но теперь она видела, что ее изменило не время, а горы мусора. Чемодан со шрамами от наклеек, рюкзак, корзинки сувениров и безделушек. Тубы с плакатами, коробки с пластинками, стереопроигрыватель. На маленьком рабочем столе кипы фотографий и кинжал джамбия — Джим выта-

щил его из кучи и торжественно осмотрел лезвие, как могут только мужчины. Она отвернулась и увидела полки с рядами учебников. «Варианты развития шока», «Ключ к психиатрии», «Онкология для медсестер и медиков-профессионалов» (в двух томах), «Руководство по сестринскому делу Липпинкотта». Они были толстые и твердые, как больничные матрасы, и наверняка давно устарели. На стене — фотографии в рамках, которые повесила здесь мать. Джорджи в школьной форме с прической «ангелы Чарли», которая была у нее, пока она не обрезала волосы и не покрасила их в лиловый цвет. Она же где-то в Саудовской пустыне с верблюдами, с глазами как щелочки почтовых ящиков на солнце. И она же в мини-юбке и темных очках на капоте машины без верха в Мексике.

— Здесь вся твоя жизнь, — сказал он.

— Я здесь не живу с восемнадцати лет.

— Но ты держишь здесь все вещи.

Она пожала плечами.

— Что станется с домом?

— Кто знает! Наверное, будет завещание.

— Потянет прилично.

— Да уж наверное.

— Джорджи…

— Мальчики отлично себя вели.
— Да. Слушай, я хочу поговорить о браконьере.
— Я не могу.
— Это по-честному. Но когда-нибудь.
— Может быть.
— Ты вернешься?
— Мне надо подумать.
— Правильно.

Он поднялся с кровати. Она посмотрела на «Эксминстер» и увидела, что на нем все еще морщины от утюга. Присутствие матери.

— Я пошел, — сказал он. — Чтобы до темноты. Не собираюсь объезжать каждого кенгуру в округе.

— Спасибо, что приехал, — сказала она.

Она для приличия спустилась, чтобы проводить мальчиков. Она стояла на краю аккуратного газона и махала, как настоящая родственница. Еще до того, как они завернули за угол, она обернулась и пошла к дому, но на нее из засады напал распрыскиватель.

Около восьми в тот вечер она сидела у бассейна с высоким стаканом минеральной воды и несколькими цитронелловыми свечами, когда вниз по ступенькам процокала на каблуках Энн. Ночь была удушающе жаркой, и сад был тяжел

от аромата храмовых деревьев и хлорной вони.

— Вот ты где.

— Вот я где.

— Бобу пришлось вызвать доктора. Джуд не в себе. Дал ей транквилизаторы.

— Бедная Джуд.

— Я почти была уверена, что ты уехала. Господи, как жарко!

— Поплавай.

— Нет.

Они сели у стола, их ноги были освещены бассейном, а лица — свечами, мрачный лимонный запах которых поднимался от стола и смешивался с более сладкими запахами в вышине.

— Я не могу вынести мысли о том, что ее больше нет, — сказала Энн.

— Я знаю.

— Но ты не пошла с нами прощаться. Я просто не понимаю тебя, Джорджи. Мы хотели пойти все вместе. Как сестры. А ты делаешь такое — как маленький сорванец, ведешь себя так, как будто это всего-навсего небольшое неудобство.

— Я не хотела видеть ее такой, — сказала Джорджи, понимая, что это невозможно объяснить.

Если даже Джуд не поняла, то у Энн нет никаких шансов.

— Ты медсестра! Даже Маргарет и та смогла.

— Извини, Энн.

— Это водка? — спросила Энн, указывая на стакан с водой.

— Да, — солгала Джорджи.

— У тебя проблемы?

— Есть кое-какие, как у всех.

— Джим знает?

— Джим знает все, ты уж мне поверь.

— Я видела, как ты разговаривала с папой.

— В чем дело, Энн? Похоже, ты пришла сюда с какой-то целью. Если честно, ссориться я не хочу.

— Так почему ты осталась?

— Мне надо кое в чем разобраться, сестренка. Мне просто нужен передых на одну ночь.

— Ты видела завещание, так?

— О чем ты?..

— Это меня просто бесит. Это твое холодное отношение. Ты вдруг начинаешь околачиваться возле дома нашей матери.

— Энн?

— И это так… нагло. Сидеть здесь возле бассейна, как будто он уже тебе принадлежит.

Колготки Энн затрещали от статического электричества, когда она перекинула ногу на ногу.

— Ты просто устала, сестренка.

— У некоторых из нас есть обязанности.

— Я знаю, милая.

— Нет, не знаешь. Ты не знаешь, каково это — оказаться в ловушке.

— В браке, ты имеешь в виду?

— Нет, Джорджи. В финансовом плане.

— У вас с Дереком проблемы с деньгами? — спросила Джорджи в совершенном изумлении, которое для Энн, наверное, прозвучало как веселое недоверие.

— Только у меня.

— Долги?

— Попытайся говорить так, чтобы не чувствовалось твое потрясающее превосходство.

— Как это случилось?

— Я затеяла дела с Маргарет. Ну, я была негласным партнером.

— О нет.

— Ты хочешь, чтобы мы умоляли тебя?

— И поэтому ты пришла посидеть со мной сегодня вечером?

— Ты почти не знала нашу мать. А нам нужны деньги.

— Ну и забирай эти деньги.

Энн начала всхлипывать.

Джорджи почувствовала, что не в состоянии утешить сестру, но, что любопытно, и не хочет ее утешать.

— Я уеду утром, — сказала она.

* * *

Со всеми симптомами похмелья, которого она не заслужила, Джорджи собрала все, что хотела забрать из своей старой спальни, погрузила в грузовичок Бивера и поехала через кольца пригородов к реке у Кроули, где на минуту притормозила, чтобы поглядеть, как старик ныряет с пристани и плывет по сверкающей воде джентльменским ползком. Суда в доках яхт-клуба были похожи на сцену из воскресной картины, а их мачты были как серебряно-белые заросли.

Она вспомнила о «Миррорах» и «Мотах», на которых плавала. «Австралы», «Робертсы» и «Фары», на которых гоняли друзья отца. «Сворбрик»[15], который был у них одно время. Встречи в сумерках. То, как они пропахивали море по дороге из Роттнеста.

Когда она въехала обратно на дорогу, она окинула взглядом арки и овалы университета и

---

[15] Примечания: 15

Здесь перечисляются модели небольших яхт.

подумала, были ли те два года, которые проваландалась на медицинском, саботажем, как она представляла это отцу, или настоящей неудачей, которую она втайне подозревала.

Она ехала по Маунтс-Бей-роуд и смотрела на реку между финиковыми пальмами. У старого здания пивоваренного завода протестующие аборигены, похоже, собрали пожитки и ушли обратно в свои лагеря. За поворотом гудел торговый район. В этом городе для нее ничего не оставалось. Ей не стоило возвращаться из-за границы. Она никогда больше не будет здесь жить.

Был полдень, когда она съехала с шоссе у старого фруктового киоска, и ее настроение начало улетучиваться, когда она подумала о Лютере Фоксе и обо всех своих вещах в его доме. Им не надо больше возвращаться в Уайт-Пойнт. Они могут раз в неделю делать покупки в городе и ездить на пляж короткой дорогой. И там была река. Умиротворяющая тишина. И музыка. И дом, полный книг. Ей не надо спасать его; она просто будет *вместе с* ним. Они будут сажать деревья, и он снова сможет выращивать арбузы. Это настоящий шанс, ведь так?

Куры выпорхнули из-под дома, когда она вышла из машины. «Мы сравним, у кого солнечные

ожоги больше», — подумала она, остро ощущая свою задницу. Куры бросились к ее ногам с такой готовностью, что это ее даже удивило. Она увидела, что задняя дверь закрыта. Она на секунду задержала дыхание и подошла. Дверь была заперта. Она обошла дом кругом, и кровь стучала у нее в горле, и она поняла, что и передняя дверь заперта на засов. Еще не начав стучать или звать, она уже знала, что его нет.

На столике на веранде, в трухе, которая осталась от столпотворения москитов вокруг лампы, лежали два речных камня. Вороны с расстановкой каркали из зарослей казуарин. Джорджи эти звуки показались насмешкой. А чем еще это могло показаться?

Она подняла камень и бросила его в бахчи, а потом бросила и второй следом. Они ударились в грязь с глухим стуком. Даже скорее не со стуком, а с хлопком. Тихие насмешливые аплодисменты. Она стояла, вцепившись в перила, и какое-то время даже не плакала.

Ей не хватило гордости, чтобы удержаться и не обойти сараи и излучину реки. Она дошла и до холма над карьером, хотя была уверена: там его нет. Она твердила сама себе, что он мог уехать на время. Но куда на пару дней может уехать

человек, у которого нет машины? Не по магазинам же он собрался прошвырнуться, ради всего святого. Она знала, что он дал деру. Оставил ее на съедение волкам.

Последняя судорожная надежда исчезла, когда она въехала во двор Бивера. Джорджи еще казалось, что он вполне мог заглянуть туда в поисках машины, а может, даже ждет ее там. Но Бивер не сказал ни слова. Похоже, он был не в настроении. Она поехала к Джиму, потому что больше идти ей было некуда. У нее была машина, набитая мусором, а чистой одежды не было. Она не могла думать.

Дом был пуст, но, как всегда, не заперт. Она увидела, что жалкие остатки ночи, проведенной ею в свободной комнате, уже убраны. Между велотренажером и креслом-качалкой, которое давно пора было перетянуть, кровать была аккуратно заправлена, и в изножье стояла картонная коробка, которую она упаковала много дней назад. Она спустилась и разгрузила машину.

Через два часа вернулся Джим. Он бросил на раковину что-то в пластиковом пакете и заметил на диване Джорджи.

— Мальчики ловят на блесну карпа.

— Удачно?

— Да.

— Где они?

— На пристани. Жарко, как в аду.

— Я приготовлю что-нибудь, — сказала она.

— Как хочешь. Я их разделаю.

— Да.

— Ты в порядке?

Джорджи пожала плечами.

— Хочешь выпить?

— Нет.

— Как там твои сестры?

— Дерутся из-за денег.

— Уже? Вот черт!

— Кто сегодня был шкипером? Кто выводил «Налетчика»?

— Борис.

— Вот как!

— Я, если честно, не ожидал тебя увидеть, — сказал он.

— Ты хочешь, чтобы я уехала?

— Вовсе не обязательно тебе уезжать.

Джорджи смотрела, как суда подходят к стоянкам — бронзовые силуэты на фоне закатного солнца.

— Хотя, я думаю, у меня есть полное право не просить тебя, — сказал он.

— Просить?

— Ты можешь оставаться на своих условиях. Правда. Мне все равно.

Джорджи смотрела на сухую, белую кожу у себя на коленях.

— Я и мальчики, — пробормотал он, — мы очень ценим то, что ты сделала для нас.

— Кажется, у вас здесь была настоящая сходка.

— Вроде того, — сказал он, отворачиваясь, чтобы вымыть руки. — Джошу кажется, что он доставил тебе много неприятностей, и ему от этого плохо.

— Потому что моя мама умерла?

Джим сполоснул руки и вытер их. Даже с того места, где она сидела, было видно, какие они огромные и коричневые, как изрезаны шрамами.

— Они не идиоты. Они все понимают. Они уже умеют слышать разные вещи. У каждого пацаненка в городе есть отец или брат на катерах. Я не хочу, чтобы они чувствовали, что это их вина.

— Что?

— То, как ты себя чувствуешь. То, что ты делаешь. Я себе яйца скручиваю, чтобы быть благоразумным и не сорваться, Джорджи.

— По мне, так это двойственная позиция.

— Я было подумал, что ты будешь чертовски мне благодарна за мое полное гребаное безразличие, — сказал он, разгораясь от ее наглого, глупого тона. — Любой другой в этом городе на моем месте выбил бы тебе зубы и выкинул за порог, как блевучую кошку.

«Вот оно, — подумала она. — Вот то, чего ты всегда боялась. В глубине души».

— Ну, — сказал она и услышала в своем голосе биение сердца, — девушка должна быть благодарна судьбе, что оказалась в руках джентльмена.

— Чертовски верно.

— Так что Бакриджи смыкают ряды. Не выносить сора из избы. Показать всем, что у нас больше нет разногласий?

— Ты даже и не поймешь, в чем дело, Джорджи.

— А могла бы!

— Зачем ты это делаешь? Господи, твои сестры были правы. Ты думаешь, что слишком хороша. Ты превращаешь все вещи в дерьмо.

Она встала; она скорее оскорбилась, чем испугалась, но, когда он направился к ней, отступила.

— Сядь, — сказал он.

— Иди к черту.

— Я сказал, сядь, твою мать.

— Ты думаешь, ты чертовски культурный, — сказала она в последнем приступе неповиновения. — Потому что ты ходил в какую-то школу, где делают снобов, и читал Шекспира, и *греб,* как чемпион. Но я знаю, кто ты. Теперь знаю.

— Сядь!

Он подошел к ней так быстро, что она села, не успев ничего подумать.

— Я пытаюсь сказать тебе, — зашипел он. — Не я это сделал. Я этого не одобрял и не организовывал. У меня нет чертова пистолета, и я совершенно не в восторге, что это случилось. Ты слышишь меня? Я говорю, оставайся или, черт тебя дери, не оставайся, потому что мне от этого плохо, и я *стараюсь соблюдать* приличия. У меня дети. Моя жизнь на тебе клином не сошлась, и на том, с кем ты играешь, и на том, что ты думаешь. Но ты вполне можешь обдумать, прилично ты себя вела или как. Вдруг ты захочешь об этом поразмыслить? Ты не знаешь меня. Ты даже не видишь, кто ты такая.

Джорджи закрыла глаза. Она чувствовала, что солнце нашло ее на диване, что его жар ползет с лица на грудь. Она бы не удивилась, если бы узнала, что в сиянии солнца под ее кожей отчетливо проступили кости.

* * *

В предрождественские недели, пока вся флотилия гонялась за лангустами, которые мигрировали на запад, в глубокие воды, Джорджи жила у Джима в состоянии трезвой и адской летаргии. Через пару дней после возвращения она вновь взяла на себя домашние обязанности; их она выполняла с тщательностью, позволявшей забыть о беспорядке, в котором находились ее чувства. Джорджи чувствовала, что внутри у нее все как будто выжжено. После похорон и выхода с цыганочкой, который устроила Энн, после того, как она побывала в пустом деревенском доме и потом выдержала испепеляющую проповедь Джима Бакриджа, у Джорджи появилось ощущение, что ее вытолкнули за пределы собственной личности. Рутина стала для нее убежищем. Она даже не думала о своих каждодневных обязанностях; все это просто происходило с нею. Она жила этими делами.

Они поделили пространство: Джорджи досталась свободная комната, а Джиму — кабинет. Мальчики смягчились и даже проявляли какую-то заботу. Джорджи чувствовала, что ее низвели до положения гостьи, выполняющей кое-какую

работу по дому. С обожженной задницы клочьями слезала кожа, и вид у нее стал довольно-таки облезлый, и, когда туман у нее в голове начал рассеиваться, она начала подумывать, что в этом есть высший смысл.

Теперь, когда нужно было выходить в глубокие воды, Джим поднимался задолго до рассвета. Теперь ему приходилось проходить по двадцать–сорок миль, чтобы добраться до сетей, и каждая корзина для лангустов лежала на конце веревки длиной с Эйфелеву башню. Над этим он в свое время подшучивал — выуживаем, мол, лангустов из туристических глубин, — но теперь, в те недолгие часы, когда он был рядом и не спал, он говорил мало. Он был обходителен, даже учтив, но не фамильярен.

Иногда, когда оказывалось, что заняться больше нечем, Джорджи сидела на террасе и смотрела, как по пристани снуют грузовики. Грузовики с наживкой, грузовики с живыми лангустами, грузовики-рефрижераторы. На некоторых платформах возвышались бухты оранжевых и желтых канатов. Она не могла себе вообразить, как это все эти канаты простираются в водах, как раньше не понимала, как это тонны лангустов в тот же вечер оказываются в Токио живыми.

Джорджи старалась держаться подальше от пляжа. Продукты она покупала в городе. Она совершила вылазку только один раз, когда решила развесить белье, и дневной свет показался ей слишком ярким.

Из подвешенного состояния Джорджи наконец вывела злость, но какое-то время ей трудно было определить источник ярости, которая горела у нее в сердце двадцать четыре часа в сутки. Недовольные звонки Энн, которую злила окружающая завещание тайна, раздражали ее; а Джудит, ухитрявшаяся, судя по электронным письмам, пройти за день всю гамму состояний от капризного до глубоко несчастного, так и просто начала ее беспокоить. Но только когда она проезжала мимо старого фруктового киоска на шоссе во время первой поездки в город, эта злоба наконец сфокусировалась на одном человеке. На Лютере Фоксе. На его трусости. И на унижении оттого, что ее бросили. Ради него она разрушила всю свою жизнь в Уайт-Пойнте, а он не мог подождать пару дней, пока Джорджи похоронит мать и соберется с духом. Было ужасно сознавать, что она снова сделала это с собой, что она попалась на удочку собственной идиотской мечте спасать гадких утят. Но в этот раз она по-настоящему открылась

другому человеку. Лю больше чем просто заинтриговал ее. Она запала на него так, как никогда не западала ни на кого раньше, а он оказался еще одним самовлюбленным идиотом. И о чем она только думала? Он просто фермерский мальчик, еще один ползучий вор с тайным желанием смерти. Горюющая развалина. И она ничем не лучше этих буржуазных принцесс, которые влюбляются в покрытых татуировками уголовников. Надо спросить саму себя: а не был ли весь этот омерзительный эпизод, когда она оказалась между рыбаком с большими кулаками и его деревенщиной-соперником, просто бесцельным повтором ее юношеского бунтарства? В возрасте сорока лет должна ли женщина все еще идти на такие крайности, чтобы выделить себя из своей среды? Она была в ярости на себя из-за этого, но она-то просто совершила глупость. Она не убегала. Она не как Фокс; она не трусиха.

Некоторое время ей было жалко Джима, и она чувствовала себя виноватой в том, что унизила его перед товарищами. Но Джорджи начинала видеть, что его раны едва ли смертельны. Когда все немного улеглось, она начала понимать, что ему было больно, но он не был опустошен.

Реакция Джима озадачивала ее. Не то чтобы он

не испытывал эмоций. Она видела, что ему больно, что его мир рушится, что он выведен из строя, что он в том самом состоянии, в каком был, когда они познакомились. Смерть Дебби едва не убила его. Не было никаких сомнений, что Джим любил ее; и, по правде сказать, именно остаточный свет этой преданности и привлек Джорджи к нему тогда в Ломбоке. Но теперь была хорошо видна и разница. Джорджи увидела, что к ней он никогда не испытывал особенно глубоких чувств. Даже рядом не стояло. Ей казалось, что она знала это всегда, — в конце концов, эти чувства были обоюдны. Жар ее интереса к Джиму был направлен на ситуацию не меньше, чем на него самого. И все же Джорджи ужалило сознание того, что Джим Бакридж был просто… ну, привязан к ней, что ли. И теперь у нее не было ничего, а он, очевидно, перегруппировывался. Она не представляла себе, куда идти и что делать.

Электронные письма Джуд стали еще более странными и настойчивыми. То, что она говорила, могло бы еще сойти за шутку, если бы в этом был хоть какой-нибудь смысл. Джорджи перестала удалять письма из почтового ящика. Уже через несколько дней они громоздились в ящике как антология безумных коанов. Джорджи

знала, что должна позвонить сестре.

Она начала предпринимать вылазки на пляж, чтобы избежать неловких встреч с уайтпойнтовцами, она держалась подальше от пристани и полюбила дальние полоски лагуны. На самом мысу виндсерферы из города собирали доски на капотах машин; среди них — шведы, датчане и немцы, приезжавшие сюда каждый год за ветром, который местных безумно злил. В своих флюоресцентных водолазных костюмах они были очень похожи на представление Джорджи о сверхчеловеке. Среди них она чувствовала себя невидимой. У берегов залива и внешних рифов, над которыми возвышалась башня прибоя, летали сотни парусов. Джорджи бродила по одиноким пляжам, и там не было ничего, кроме выброшенных на берег каракатиц и глухого стука прибоя. Иногда она ходила часами, но, как существо одомашненное, постепенно обратилась к убежищу, которое знала лучше всего.

Однажды днем, уже почти дойдя до дома, она легла на полынной подстилке между дюнами и заплакала о своей матери. Она просто остановилась передохнуть и на секундочку укрыться от бриза, но длинные пальцы сухой травы, гладившие ее по лицу, неожиданно напомнили ей о

прикосновении материнских рук к щекам. Когда в последний раз мать делала это — держала ее лицо в руках и смотрела на Джорджи по-настоящему, так, как только мать может смотреть? Она тосковала по простоте раннего детства, по тем годам, когда живешь без маски, когда не играешь никакой роли. В те дни Джорджи просто нужна была мать; она не научилась еще скрывать детские обиды, притворяясь, что ей все равно.

Джорджи всхлипывала, пока не охрипла, пока не осталось ничего, кроме опустошенного спокойствия. Там, в лощине между дюнами, она посмотрела вверх и увидела в воздухе пятнышки и пузырьки. Небо было морем — голубое, как кома. Вокруг нее пчелы зарывались в розовые бутоны и издавали усыпляющий музыкальный гул. На голую кожу ее живота падали тени пролетавших стрекоз. Песок скрипел под нею. Теперь, прислушавшись, она понимала, что дюна ворчит, как закипающий чайник. Джорджи полежала какое-то время, как в обмороке от теплового удара, пока мир был полным.

В тот вечер позвонила Джуд. Она была очень возбуждена. Выяснилось, что все сбережения матери, ее акции, дом и яхта, о существовании которой никто не имел ни малейшего представ-

ления, достались Уорвику Ютленду, КС. Это было невероятно. Он уже был богат. Он был ее неверный бывший муж, это можно было выкрикивать вслух. Это было восхитительно. Джорджи поняла, что смеется — впервые за долгое время. «Наши сестры, — сказала Джуц, — не воспринимают это столь жизнерадостно».

* * *

Бивер иногда видел ее. Иногда ему хотелось, чтобы он мог ей что-то сказать. Она была похожа на тех людей, которые не понимают, что забрели в кинозал тогда, когда показывают уже третью часть фильма. Так много всего она не знает об этом месте, о Бакридже, даже о нем, о Бивере. Господи, да она и представить себе не может, чего она не знает. Ей достался конфидент, даже союзник, и, знает Господь, он мог бы сделать для нее больше, чем сделал; но тут замешано столько чертовых старых историй, что это безнадежно. Она ему нравилась. Он ее даже любил, если честно. Но она скоро уедет, исчезнет. Как долбаная побочная сюжетная линия. Он присматривал ей приличную машину. Лучше бы она уехала. Не надо бы, чтобы Большой Джим дышал ему в затылок хоть на секунду больше, чем это дей-

ствительно необходимо.

Все равно стыдно. У нее было такое лицо, которое увидишь разве что в журналах с девками. Ё-мое, вот какое. В свое время, должно быть, была настоящий фейерверк. Как Дженнифер Джейсон Ли.

* * *

Джорджи снова приснилась миссис Юбэйл. Она проснулась в ужасе, прошла по всему дому и зажгла везде свет. Миссис Юбэйл была из не особенно богатой купеческой семьи в Джедде. Наверное, красавицей она никогда не была, но можно было догадаться, что раньше у нее были простые черты лица, шедшие к ее хрупкому сложению. Перед тем как саркома колонизировала ее лицо, она, наверное, страдала от ношения паранджи, как все женщины в Саудовской Аравии; но к тому времени, когда Джорджи пришлось с ней столкнуться, бедняжка нуждалась в уединении и до ужасной опухоли с трудом можно было добраться через пелену черного льна. Она прижимала паранджу к груди в стыде и страхе. Рак был настолько запущен и настолько ужасающе агрессивен, что сразу, только увидев ее, все поняли, что меры могут быть приняты только

паллиативные. Семья женщины относилась ко всему со странным безразличием. Каждую неделю посланец клана Юбэйл приходил в приемную, нервно сминая свою тобу, и спрашивал о ее состоянии, печальные детали которого обычно разъяснялись напарником-мужчиной.

Несчастная пациентка корчилась от боли и потела под своими покровами, а эта маска из живой ткани поглощала ее день за днем. Ее можно было унюхать даже из коридора, зловонную и сладкую, как компост. Поверхность щеки была похожа на гнилую цветную капусту, и только один глаз, сжавшийся в щелочку из-за давления опухоли, мог следовать за тобой по комнате, пока ты готовила ее чертовы лекарства. Она довольно хорошо говорила по-английски. Однажды, до того, как ее переборол наркоз и сильные успокоительные, она сказала, что хотела бы побывать в Австралии. Она спросила, правда ли, что арабы импортируют оттуда верблюдов. Джорджи рассказала ей о диких стадах на севере — о наследии афганских торговцев. В начале своего пребывания в госпитале миссис Юбэйл боялась. Но прошло немного времени, она впала в состояние озадаченного непонимания.

Чтобы иметь дело с ее лицом на близком расто-

янии, Джорджи поняла, что должна превратиться в чудовище. В ее болтовне с пациенткой была какая-то ветреность, которая представлялась Джорджи колючей, как щиток черепахи. Жесткие и нежные — такими казались себе девчонки из онкологии. Но она знала, когда потеряла нежность. Она и до того видела, как страдают и умирают люди, и нескольких, что страдали и жили ради того, что есть; но до того Джорджи никогда не приходилось бороться с простым внутренним отвращением. Оно доходило до того, что она с трудом могла выполнять простые клинические процедуры, не дав воли истерической судороге, которая ставила под сомнение ее компетентность. Однажды, проруководив орошением опухоли миссис Юбэйл, Джорджи стояла в коридоре, ее скрутило от смеха. На смех оборачивались. Его, должно быть, слышала и пациентка. И когда ее младший коллега посмотрел на нее, Джорджи согнулась пополам со вскриками и смешками, которые перешли в захлебывающиеся, ужасные всхлипы.

Миссис Юбэйл, конечно, умерла. Джорджи считала, что за ней хорошо ухаживали. Не имея возможности убить ее, врачи избавили ее ото всех возможных страданий, насколько позволял

закон. Если бы даже миссис Юбэйл попросила, Джорджи знала, что не смогла бы совершить эвтаназию. В такой стране это было бы безумием. Ей нельзя было забывать о карьере.

Джорджи не было, когда умерла миссис Юбэйл. Она ныряла без снаряжения в Шарм-Абуре с двумя врачами — парой британцев, на которых ей было плевать. Они вернулись в миссию ближе к вечеру, когда приятель-радиолог сообщил ей новость. И тут же Джорджи поняла, что все осуждают ее удовлетворенный вздох. Джорджи даже не почувствовала улыбку на своем лице, но она увидела ее по реакции приятеля, который смущенно покатил к бассейну, и в конце недели она услышала ходившие по миссии разговоры, что какая же, мол, она неотзывчивая стерва. Именно тогда и ушла магия, вера, с которой она относилась к себе и к избранному пути.

В Уайт-Пойнте, ближе к Рождеству, миссис Юбэйл снова навестила Джорджи во сне. По освещенным беспощадным светом коридорам, с отброшенной назад паранджой и вызывающим суеверный ужас лицом, и с протянутыми вперед руками. «Сестра! Сестра?» Джорджи бежала и с помощью стальной каталки пробивалась сквозь камень и стекло под дождем бумажных стакан-

чиков и ампул. К ней летел этот сладковатый запах. И всегда была стена, тупик, из которого она не могла вырваться.

* * *

Джорджи всегда нравилось готовить, но теперь она чувствовала, что скатывается к какой-то кухонной мании. Это было в какой-то мере лицемерием, но в товарищеской тишине, которой все они наслаждались за ужином, было определенное удовлетворение. Она без звука радовала их разнообразием и количеством. Это стало для нее чем-то вроде способа существования. Она не знала, что еще ей делать.

Однажды днем в последнюю неделю школьных занятий она готовила оссо буко, когда вошел Брэд, чтобы стянуть кусочек сельдерея.

— Что это? — спросил он.

— Костный мозг.

— Круто.

Джорджи занялась изучением своих рук, чтобы не смотреть ему в лицо. За последнее время это был первый разговор не по необходимости.

— Я нравлюсь Зое Миллер, — сказал он.

— Круто.

— Но я не понимаю.

— Чего, дружок?

— Чего ей надо. Я с ней даже не разговариваю. В смысле, *ты* же девушка.

— Ну да.

— Ну так и что? Чего вы там хотите?

— Не знаю, — запнулась она. — Чего вообще хотят люди?

— Ну, парни просто хотят, чтобы их оставили в покое. С друзьями. Все равно, она дочка Обезьяны Миллера. Он зеленопузый[16]. Все зеленопузые — дерьмо.

— Я-то думала, она такая милая, — тихо сказала Джорджи.

Он пожал плечами и голодным взглядом посмотрел на голяшки, которые она поджаривала.

Бивер нашел ей машину. Какому-то норвежскому серферу пришлось спешно улетать домой, и Бивер купил его машину, имея Джорджи в виду. И все же, когда Джорджи добралась до него и посмотрела на то, что стоит на платформе, которую Бивер так трудолюбиво волочил на цепи, она увидела, что это скорее не машинка, а игрушка. Маленькая «Мазда» была канареечно-желтого

---

[16] Примечания: 16

Зеленопузый — приблизительный перевод слова greenie, которым в австралийском сленге обозначаются борцы за охрану окружающей среды — «зеленые».

цвета. Она была такая маленькая, что Джорджи еще подумала, чего это Биверу взбрело в голову везти ее на транспортере, хотя он вполне мог бы взять машинку под мышку и принести в контору.

— Сыны Тора, — хмыкнул он. — Интересно, они цвета различают или нет?

— Веселенькая машинка.

— Как ююба, страдающая желтухой, да?

Джорджи горестно покачала головой. Надо было улыбаться.

— Она ездит, Бивер?

— Бегает, как дите от баньки.

— Этот европеец что, мачты и паруса к ней приматывал?

Бивер рассмеялся:

— Да нет, он, скорее, примотал всю машину к педали газа, давай так скажем.

— Хорошо, — сказала она. — Я ее беру.

— Да мы даже и не поторговались.

— Поторгуйся за нас обоих, Бивер. Я заплачу ровно столько, на сколько ты сможешь себя унизить.

— Вот оно что. Слушаюсь, мэм.

— Ключи и бумаги у тебя?

— Да, да. Слушай, мне жаль — насчет твоей

мамы.

Джорджи поняла, что Бивер, наверное, знал о смерти матери еще до того, как об этом узнала она. Это и еще много всякого, подумала она. Гораздо больше, чем она давала себе труд узнать.

— Скажи мне кое-что, Бивер.

— Без проблем, — сказал он, поглаживая карманы и облизывая губы.

Почудилась ли ей дрожь осторожности, которая пробежала по его телу?

— Это ты буксировал грузовик и трейлер? — спросила она.

— Ключи должны быть в замке зажигания.

— Бивер! Ну, «Эф-юо».

— Чей?

— Ты знаешь чей. Лю Фокса.

— А… Арбузного мальчика. Нет.

Джорджи пошла за ним внутрь, по замасленному полу к крохотной желтой машинке. Ему пришлось присесть на корточки, чтобы заглянуть в окно.

— Я не знаю, что я делаю, Бивер.

— Ты скоро уедешь. Не волнуйся.

— Почему ты здесь остаешься?

Он пожал плечами:

— Не все ли равно где?

— Ты знаешь что-нибудь о дробовиках?

— Много всего, — сказал он, опираясь локтями на крышу.

— Ты ему помогал?

— Это не он, Джорджи.

— По крайней мере, вы хорошо сговорились.

— Это был Шовер.

— Шовер Макдугалл?

— Он как чертова сорвавшаяся с цепи пушка.

Джорджи обдумала это. Шовер Макдугалл вполне мог бы быть подходящей кандидатурой. Он был параноик и сутяга, и все его презирали за то, что он резал тросы и путал сети. Он был трезвенник и ненавидел наркотики. В прошлом сезоне он протаранил еще один катер. Он был невероятно удачливым рыбаком. Его сын учился в одном классе с Джошем.

— Откуда ты знаешь? — спросила она.

— Ходят слухи.

— И распускает их Джим.

— Такие слухи, Джорджи.

— Но зачем?

— Ну, не кисни и не реви. Когда у нас по водам шастает браконьер, это уже плохо, но браконьеры тут и там, дорогая. Шовер, наверное, решил защитить нашу честь. Думает, что рыбацкие

короли помягчали с годами. Решил, что Джим не знает или что у него больше не хватает духу. Он всегда преклонялся перед Джимом, ты же знаешь. Спорю на что угодно, он сделал это от большой любви. Господи, да разве ты не видишь, как его женушка ездит взад-вперед по округе, как долбаный спутник-шпион? На этом сатанински белом «Камри»?

Джорджи подумала. Да, теперь вспомнила. Машина, которая выезжала из ворот дома Джима в ту ночь, когда она возвращалась.

— Шовер Макдугалл, — сказала она.

— Даже и не думай. Он любит кровную вражду. Он из старых добрых времен, Джорджи. Даже Джим не сможет его отвадить от этого — вот разве что убьет.

Джорджи удивленно моргнула.

— Расслабься, я шучу.

— Нда.

— Этот парень, он был необычный.

— Шовер?

— Нет, этот твой приятель. Фокс. Он и правда умел играть. Они все умели. Я буксировал их раздолбанную машину, знаешь ли. Кабина внутри была как чертова бойня. Не пристегнулись, я так думаю. Но я никогда такого не видывал. Раз пе-

ревернулись — и четверых нет. Люди говорили, что все было очень странно, как вроде бы Божий промысел. Такая вот их удача.

— Что-то ты неожиданно разоткровенничался, Бивер, — сказала Джорджи, потому что не могла больше об этом слушать.

— Ты меня знаешь. Раскалываюсь под давлением.

Джорджи проехала домой через владение Макдугаллов, где на минуту затормозила, чтобы посмотреть на фасад их дома — как у крепости. За высоким стальным забором и аллеей кокосовых пальм дом примостился на дюне. Сплошь электрические ставни и сигнализация.

Шовер Макдугалл. Она видела его на концертах в школе, высокого и лысеющего, с вечным взглядом искоса, как у животного, с которым плохо обращаются. Его жена Эвис была унылая, ревнивая женщина с отвисшей нижней губой, которую Брэд сравнивал с тресковой челюстью. Шовер и Эвис. Еще две причины, по которым стоит уехать. После Рождества. До Рождества она подождет. Осталось всего несколько дней.

За ужином никто не заговорил о маленькой желтой машине, которая приткнулась на стоянке рядом с «Крузером». Они погрузились в свои

бараньи филейчики и запеченную с тимьяном картошку, смотрели, как моторная яхта входит в пролив и бросает якорь как раз под ними. Джорджи была благодарна за возможность отвлечься. Она восхищалась очертаниями судна. Это была яхта «Дюфур», отлично сработанная. Мужчина и женщина занялись обустройством на ночь с усталостью, которую она очень хорошо понимала.

— Отличная еда, Джорджи, — сказал Брэд.

Она взяла нож и вилку, слегка удивившись, и увидела, что они обмениваются взглядами.

На следующее утро в каком-то странном порыве она поплыла к стоящей на якоре яхте в надежде завести разговор, а может быть, и на то, что ее пригласят на борт. Ей нужна была передышка, и вид прекрасного длинного белого судна вызвал к жизни фантазии, к которым у нее до сих пор не выработалось иммунитета.

Она лениво плыла сквозь поля водорослей. Якорные цепи позвякивали в воде. Подобравшись поближе, она увидела кевларовый корпус, запятнанный ржавчиной и пролитым маслом. Сталь помутнела, и выстиранное белье висело по веревкам, как группа матросов после порки. Рулевые лопасти были погнуты, и знакомый запах заплесневелого шкафа висел над водой. Трудный

переход. В это время года ты бежишь на юг от муссонных бурь, но все время натыкаешься на южный ветер. Джорджи подумала о том, чтобы предложить им воспользоваться стиральной машиной и, может быть, накормить их. Но когда она проскальзывала рядом, с кокпита поднялась женщина с таким яростным взглядом, что она проплыла мимо, будто бы не заметила, что где-то рядом есть судно.

Осветленные соломенные волосы. Обожженное, шелушащееся лицо. Тени как мазки черной краски под глазами. Взгляд как с расстояния в тысячу ярдов. Джорджи все это знала. Она подумала, не мечтает ли эта женщина о счастье и удаче, не бережет ли их, не перестает ли верить в удачу даже после этого перехода. Всего три года назад Джорджи чувствовала, что ее переход через Тиморское море был удачей, от которой она могла так никогда и не оправиться. Она, бывало, начинала верить в то, что можно копить удачу и потом использовать ее одним махом, вроде как в тот переход. Теперь она была в этом уверена. Но где и когда покинула ее удача? Как можно жить, если знаешь, что удача от тебя чертовски далеко?

* * *

Однажды днем безо всякого предупреждения или повода сестра Джорджи Джудит появилась у них перед дверью в легком платье и с жуткими потеками туши на щеках.

Джош в ужасе наблюдал, как Джуд упала в объятия Джорджи в холле и заплакала. Через несколько секунд он отправился в игровую комнату, и Джорджи вывела сестру на террасу, где едва чувствовался морской бриз.

— Я просто… очень скучаю… по маме, — сказала Джуд в перерывах между ужасными сдавленными всхлипываниями.

— Я знаю, сестренка, — пробормотала Джорджи. — Я знаю.

На ощупь Джуд была обжигающе горячей. Ее аромат лаванды припахивал каким-то вареным душком, и шея сзади была испещрена сыпью. Когда Джорджи приподняла лицо сестры, она увидела, что в ее глазах полопались сосуды от того, как сильно она плакала. Это было жуткое зрелище. Самой Джорджи удавалось добиться такой красноты глаз только тогда, когда она становилась на колени перед унитазом, отравленная выпивкой. Это расстроило Джорджи: она

никогда в жизни не плакала так горько.

— Где Хлоя, Джуд? Каникулы ведь начались?

— Она у подружки. У ее подружки Анджелы такая *счастливая* семья!

Джуд надела солнечные очки.

— Вот оно что, — сказала Джорджи.

— Что это с нами, Джорджи? С нами и мужиками.

Джорджи помедлила.

— В смысле, — продолжала Джуд, — посмотри на Энн. Она замужем за…

— За дерьмом.

— Ну да. Он не *любит ее.* Она просто инкубатор для его отпрысков. Он заставляет ее чувствовать себя такой маленькой и ни на что не годной. Это как наблюдать за мамой. Отец вел себя по отношению к ней как порядочная свинья, а она этого не видела.

Джорджи знала, что весь этот разговор о браке Энн был всего-навсего завуалированным признанием Джуд в том, что ее собственный брак был большой неудачей.

— А как же тогда Маргарет, Джуд? Она-то не жертва. Она ест мужиков.

— Это просто чувство надвигающейся опасности.

Этому Джорджи рассмеялась. Сестру ее смех, кажется, удивил.

— Как насчет того, чтобы поплавать, сестренка?

Джуд отрицательно покачала головой.

— Я не привезла купальника.

— Возьми мой. У меня есть лишний.

Джуд помертвела при одной только мысли об этом.

— Ну так иди в белье.

— Что, прямо как ты в мамином бассейне? При детях, Джорджи? Я не думаю, что Энн тебе это когда-нибудь простит.

— Энн вообще несвойственно прощать, Джуд. Все равно, я же поплатилась. И собственной шкурой — ни больше ни меньше.

Юго-западный ветер начал шевелить пальмы. Джуд скривила губы. Она смотрела на сияющую лагуну, как будто та была не интереснее шоссе-восьмирядки.

— Так это насчет вас с Бобом, так?

— Я просто не могу *поверить*, что она оставила все ему.

— Ты не подумывала о том, чтобы обратиться к психологу по семейным делам? — настаивала Джорджи.

— Ты же знаешь, я всегда восхищалась твоей страстью к приключениям.

— Ох, Джуд, да перестань же! Ты всегда думала, что я бесчещу семью.

— Это Энн. Она думала… ну, что ты играешь за другую команду.

— Лесбиянка, что ли?

— Та фотография, что ты прислала из Америки. Ты и другие девчонки. И эта большая машина. Как в «Тельме и Луизе».

— Черт, *ненавижу* этот фильм.

— Но Брэд Питт.

— Джуд…

— Все равно, ты же плавала в Азию с этим парнем.

— С Брэдом Питтом?

— Ну, почти.

— Джуд, этот парень был полный придурок.

— Но роскошный.

— Он даже не мог рассчитать курс.

— Папа собирается отдать тебе яхту, знаешь? Ту, что она оставила ему.

— Черт, — сказала Джорджи в ужасе, — я ее не хочу.

— Мы так давным-давно не разговаривали, — беззаботно сказала Джуд. — У тебя найдется

стакан воды?

Джорджи принесла ей воду и смотрела, как она глотает пару таблеток.

— Вот я-то тебя любила, Джорджи. Но ты меня никогда к себе не подпускала.

— О, Джуд.

— Неважно. Мне пора, спешу.

Джорджи поняла, что тащится за сестрой к двери, когда Джош высунул нос из комнаты. Она яростно поцеловала Джуд и почувствовала ее неожиданное напряжение, вернувшееся самосознание. Когда она, покачиваясь, шла по траве в своем летнем платье, Джош стоял рядом с Джорджи.

— Это твоя сестра?

— Да.

— Вон чего. Симпатичная.

— Да.

Они смотрели, как она осторожно забирается в черный «Сааб».

— Она сейчас въедет задом в дерево, — сказал Джош.

— А может быть, ты и прав. Не смотри. Ой!

Джош покачал головой совсем как отец, и их глаза встретились, но мальчик почувствовал, что лучше ничего не говорить, и Джорджи была этому

рада. Джуд потратила на дорогу два с половиной часа, чтобы поболтать пятнадцать минут, и еще два с половиной часа будет добираться домой. Она здесь раньше никогда не бывала. Эти таблетки — валиум, Джорджи была уверена в этом, и Джуд была одурманена. Она совсем запуталась; они обе совсем запутались. Они шли разными путями, но пришли к одному и тому же концу: стали своей бедной безнадежной матерью.

…Когда фестиваль Бетти Дэвис был отменен по молчаливому согласию, Джорджи уселась на террасе и начала смотреть на мачтовые огни яхты, пришвартованной внизу, и думать о приключениях, которым притворно завидовала Джуд. Скорее всего, Джорджи покрывала медяшки позолотой, вспоминая о них как о жалких семейных барбекю, и теперь чувствовала себя обманщицей. Она проехала по западному побережью Штатов до самой Мексики, но звучало это гораздо роскошнее, чем было на деле, даже после суровых реалий арабского мира. И Тайлер Хэмптон был волшебно красив в своих бермудах и расстегнутых на груди шелковых рубашках, но он останавливал на себе только взгляд. Эта сумасшедшая поездка по Штатам, в сущности, состояла только из предательств и порушенных дружб, а путешествие с Тайлером

из Фремантла в Ломбок было отмечено страхом и неуверенностью. И все же несколько вещей оставались в воспоминании незапятнанными. Как, например, залив, куда они пришли, чтобы спастись от шквала на оконечности австралийского побережья. Это была длинная полоска молочно-голубой воды, по краям которой были пляжи и полоски мангровых деревьев. У устья залив был усыпан островами, а в другом конце его неясно вырисовывалось огромное душное плато. Под защитой самого большого острова, всего в полумиле от материка, они ближе к вечеру бросили якорь, молчаливые от усталости и облегчения. На том берегу проливчика в живописном беспорядке поднимались в небо сухие каменные гряды, уходя в дымную даль. Земля здесь была похожа на дубленую кожу. Это была дикая местность того сорта, с которой Джорджи прежде не сталкивалась, и остров, за которым они укрылись, был дикой местностью внутри дикой местности. Едва взглянув, Джорджи в тот же момент поняла, что видела его раньше.

Это была огромная красная скала, окаймленная тропическим лесом, как столовая гора, проклюнувшаяся в саду. На белом, усыпанном ракушками пляже были баобабы и лозы, а со скалистого

лика острова, на которые заходящее солнце бросало желтые, розовые и пурпурные отблески, доносилось крутящееся эхо птичьих песен. Джорджи никак не могла понять этого чувства узнавания. Это был картинный австралийский пейзаж, но даже двадцать лет националистской пропаганды не могли объяснить этого ощущения. Он даже пах правильно, так же знакомо, как тыльная сторона ее руки, как место, где она спала каждую ночь.

Перед рассветом начались неприятности. К восьми утра их выбросило на берег.

Два дня они пытались выбраться на моторе, а потом оттолкнуться от глинистого берега, к которому они по глупости пришвартовались во время весеннего прилива. Они с Тайлером бранились и дрались, зная, что кругом никого нет на сотни миль и некому им помочь. Они кричали друг другу в лицо. И вот из глубокого брюха залива появился нежданный корабль. Рыболов-инструктор в алюминиевом ялике, с двумя обожженными солнцем клиентами и бьющейся на палубе барамунди. И имя, и лицо были незабываемы. Рыжий Хоппер. Это был драчливый, налитый кровью человек с фиглярским чувством юмора и задорно задранным бычком в зубах. Единственный

человек на невообразимые расстояния вокруг, и их выбросило на берег всего в нескольких милях от его лагеря.

Он жаждал их спровадить; по правде сказать, не прошло и двенадцати часов, как он их выпроводил, но, когда они пошли к Тиморскому морю, Джорджи испытала в равной мере облегчение и сожаление. Она не могла выбросить образ этого монолитного острова из головы. Воспоминание об острове там, в молочном заливе, острове, окруженном дикой природой, которую невозможно было постигнуть, так велики были пространства и расстояния. Она пометила остров на карте и в своем блокноте. Она все время думала о нем. Эта мысль вызывала у нее теплое, неясное чувство.

Она все еще сидела на террасе, уставившись на мачтовые огни в лагуне, когда рядом с ней появился Джим с пивом. Она заметила, что в доме играла музыка — старый альбом Джо Коккера.

— Хорошая машинка, — сказал он.

— А я думала, ты и не заметил.

— Чуть об нее не споткнулся, — сказал он, улыбаясь. — На чем она ездит — на птичьем молоке?

— Хотелось бы мне, чтобы было так, — сказала она, не в состоянии подделаться под его тон.

Она смотрела на воду, пока музыка не стихла.

* * *

Веселенькая машинка оставалась в гараже волновавшей глаз деталью. Она стояла возле груды картонных коробок, в которых содержалась жизнь, которую она так и не распаковала здесь, — всякая дрянь, что она приволокла из города. Каждый раз, когда она ездила в Перт купить продуктов или рождественских подарков, Джим и мальчики, казалось, слегка удивлялись ее возвращению. Но она возвращалась. Проезжая мимо фруктового киоска на шоссе, она испытывала неприятное чувство, но Джорджи удалось загнать Лютера Фокса в тусклый уголок, где ему и следовало находиться. Это был еще один симптом ее странной привязанности к страданию. Он оказал ей услугу. Она решила, что она просто такая — беззащитная перед сексуальным влечением из жалости. Детские горькие слезы у тебя на груди, восхитительный падающий вес отчаявшегося человека — они давали тебе могущество, которому нельзя было сопротивляться и в котором трудно было себе отказать. И вот она ты, продираешься через облачную завесу, горячую, как само солнце, решив, что ты и есть лучшее лекарство. В Уайт-Пойнте считалось, что Фокса больше нет.

Официально он уже был признан несуществующим — сведений о нем не содержалось ни в одной базе данных, у него не было налогового номера. Ну и пусть будет призраком своих амбиций. Может оставаться несуществующим. Она с этим справилась.

В Сочельник Джим пришел с невероятным уловом, но казался до странности подавленным. Большая акула следовала за катером весь день, и ее морда высовывалась на поверхность каждый раз, когда они вытягивали или забрасывали снасти. Джим сказал своим палубным, что это не может быть одно и то же животное, потому что они проходили огромные расстояния на приличной скорости. Но Борис настаивал на том, что это одна и та же акула, и к полудню Джиму пришлось признать, что, скорее всего, тот прав. Это была тигровая акула добрых двенадцати футов в длину и уродливая, как теща. Ближе к вечеру Борис горячо настаивал на том, чтобы убить ее, и Джим признался, что, если бы на борту было оружие, он бы согласился. Она наводила на него ужас. Борис сказал, что это дурное предзнаменование. Но Джим не знал, что и думать. Верит ли Джорджи в предзнаменования?

— Ну не в Сочельник же, — сказала она ему,

подавая пиво.

В тот вечер, перед тем как разложить подарки под пластиковой елкой, они несколько раз выпили за «Налетчика» и его удачу. Воздух был мягок, и с пляжа доносился смех. Завтра никто не будет рыбачить, никому не придется вставать затемно, чтобы загружать наживку в корзины, или отрывать головы кальмарам, или катить по танцующей палубе тяжелые снасти, и в воздухе ощутимо чувствовалось освобождение, атмосфера столь заразительная, что Джорджи с Джимом засиделись допоздна, чтобы распить на двоих бутылочку искристого бургундского. Поднялся горячий пустынный ветер, они расслабленно припозднились, слушали музыку и даже немножко шутили. В ту ночь свободная комната пустовала. Они занимались любовью нежно, почти осмотрительно.

На Рождество все четверо поехали на ялике на остров, чтобы полежать в тени зонтика и поплавать с маской вокруг гряд рифов. Все они были осторожны, но дружелюбны, и в тот день, кажется, наступила слегка озадаченная разрядка. Это новое состояние казалось хрупким, даже искусственным, но после последних событий это было такое облегчение, что Джорджи убедила себя: это

новое настроение знаменует возвращение к той жизни, которая была у них до весны.

Уайт-Пойнт был диким местом в лучшие свои времена, но во время рождественских каникул городок сходил с ума. По мере того как наполнялись стоянки и пляжные хижины, население увеличивалось раза в четыре. Пивная была всегда набита народом, а в маленьких магазинчиках было не протолкнуться. Везде были суда и трейлеры, лодки с водными лыжами, джипы, байкерские мотоциклы, парапланы, бумбоксы, столкновения, перебранки, заблудившиеся и нашедшиеся. Местные вели себя невероятно нахально, и солнце было беспощадно. По ночам воздух был густ от дымов барбекю, запаха горелого мяса, и на террасе дома Джима, когда ветер поднимался с запада, чувствовалась переполняющая воздух сальная вонь рыбных фритюрниц.

Посреди всего этого в середине святок, в день, когда почтальоны получают подарки, исчез Бивер — ни больше ни меньше. Не прошло и дня с его отъезда, как в Уайт-Пойнте воцарился полный беспорядок. Никто не мог купить горючего. Посреди суматохи и неурядиц он вернулся — и уже женатым человеком. Его жена Лоис была крохотная темная женщина с серебряным перед-

ним зубом. Она была с Филиппин или из Тайваня, смотря кого спрашивать. Много дней Джорджи пыталась поймать его взгляд из-за столпотворения у бензоколонок. Она видела Лоис в окно, видела, как та озадаченно смотрит на кассовый аппарат и в ужасе — на толпу печатей, и поняла, что к Новому году самая жуть, наверное, уляжется и можно попробовать урвать момент.

Джорджи заметила государственный флаг, поднимающийся на белом шесте во дворе Макдугаллов. Она никогда его там раньше не видела.

Перед Новым годом традиционная пьяная драка в пивной переродилась в бунт, когда обкуренной компании пришлось прятаться внутри, спасаясь от порывов ветра на пляже. Это, для простоты выражения, было настоящее столкновение культур. К полуночи юнцы стаскивали черепицу с уайт-пойнтовской пивной и швыряли ее на переполненную стоянку, а само здание как раз начинало гореть. Через тридцать минут уайт-пойнтовские волонтеры (одетые гораздо хуже забияк) пригнали пожарную машину и начали стаскивать молодежь с крыши на ту же самую стоянку.

Первого января Джим вернулся на берег с бумажным корабликом. Борис настаивал на том,

что это хорошее предзнаменование.

Когда Джорджи наконец познакомилась с женой Бивера Лоис, она обнаружила, что та вьетнамка. Бивер был настроен мрачно и решительно, стараясь обуздать свою гордость. Лоис, сказал он, помешана на Абботте и Костелло, хотя по-английски говорит с трудом. То, как уайт-пойнтовцы пользовались языком, представляло определенную коммуникативную трудность даже для тех, кто разговаривал по-английски с рождения, поэтому Лоис действительно приходилось нелегко. Местные, успевшие проведать, как именно Бивер нашел себе жену, уже называли ее в лицо невестой по почте. Джорджи заметила, как подозрительно Лоис переводит взгляд с нее на Бивера, как будто чуя что-то подозрительное в их дружбе. Она не очень хорошо понимала, как разубедить бедную женщину, которой и так достается, и поэтому чувствовала, что будет разумнее держать дистанцию. Однажды вечером, проезжая на велосипеде мимо мастерской, Джорджи услышала звук бьющейся посуды и высокий, тихий вскрик Лоис, которая выражала некоторые сомнения. Она почувствовала себя крысой, но поняла, что лучше ей не попадаться Биверу на глаза.

Одним влажным январским днем, когда остатки циклона принесли с собой на центральное побережье низкие облака и гнетущий воздух, Джорджи ехала домой с почты со стопкой счетов для Джима и с письмом, адресованным ей, — почерка она не узнавала.

На кухонном столе она осмотрела потрепанный конверт.

Джорджиана Ютленд
Почтовое отделение
Уайт-Пойнт,
Западная Австралия

Она открыла конверт ножом для масла и вынула чистый лист, вырванный из блокнота. На нем ничего не было. Только неяркие голубые линейки и оторванный край дырочек от спирали из простенького блокнота. Когда она потрясла конверт, чтобы убедиться, ручеек пыли пролился между ее пальцами и упал на оттертый до блеска стол. Пыль была похожа на молотый болгарский перец или чили, но, когда Джорджи тронула ее пальцем и лизнула, она поняла, что это просто красная земля.

Конверт с марками, на которых были изображены баобабы, был отослан из Брума несколько

дней назад. Две тысячи километров отсюда. Дальний север, край тропиков. Она узнала розовую грязь; этот естественный цвет нельзя забыть, если видел его собственными глазами. Краем конверта она собрала пыль в маленькую кучку. Там оказалось больше, чем она подумала сначала, — может быть, целая чайная ложка. Это была не случайность; это был какой-то жест.

Она смяла конверт и бросила его в мусорное ведро. Потом она некоторое время пристально смотрела на горку грязи, пока, слюнявя палец, щепоть за щепотью, не съела ее всю.

Она начисто вытерла стол. По рации Джим сообщил, что через десять минут входит в лагуну. Споласкивая рот у раковины, Джорджи будто выплевывала кровь. Она почистила зубы и вытерла раковину. Все.

III

Он идет по узкой асфальтовой дороге в теплой тьме. Море осталось во многих милях позади, но он чувствует его спиной. Над мрачной пустошью висят звезды, как искры и пепел от дальнего лесного пожара. К рассвету его сухожилия напряглись, и ноги в ботинках болят. Рюкзак довольно удобно пристроен на спине, но скарб, навьюченный сверху, съезжает на каждом шагу и бьет его по макушке. Он ковыляет навстречу восходящему солнцу, пока старый грузовик не тормозит рядом и из него не высовывается приглашающая рука.

Человек высок и худ, на нем бесформенная шляпа, и у него веревочные седые волосы до плеч. Он выглядит устало и ждет, пока Фокс заговорит, потом вздыхает вздохом из разряда «устраивайся поудобнее» и просто ведет машину. Фокс оглядывается назад, на платформу грузовика, на которой лежат несколько мотающихся оливковых деревьев, обернутых брезентом.

Они катят по пойме к началу тучных земель, где поздние посевы медно горят под солнцем. Они поворачивают на север, к пшеничному поясу,

где комбайны поднимают тучи трухи и пыли по проносящимся мимо холмам.

— Вот, — говорит водитель в Новой Норсии.

— Спасибо, — говорит Фокс.

Негра мог так сыграть.

Фокс вылезает.

— На север едешь?

Он стаскивает рюкзак и спальный мешок с проржавевшей платформы.

Фокс загоняет себя в угол. Солнце бьет ему в лицо.

— Это был только вопрос времени, — говорит человек. — Ты бы все равно смылся в конце концов.

— Еще раз спасибо.

— Не за что, тебе спасибо, приятно поболтали.

Фокс идет через старый испанский город с монастырем, почти не глядя по сторонам. Городские машины и фермерские грузовики проезжают мимо, но он даже не беспокоится о том, чтобы проголосовать. На окраине он скидывает груз на гравийную бровку и ждет. Мухи сосут пот с его век и с шеи. На остатках бахчи, огороженной камедными деревьями, возятся мелкие фермеры. В конце концов рядом тормозит «Кенворт» в клубах дыма от воздушного тормоза. Он забрасывает

вверх свои пожитки и забирается в кабину.

— Привет, — говорит водитель.

— Привет.

Этот человек цвета вареного краба. У него тонкий, сломанный нос. Его уши все в корках от ожогов.

— Большое северное шоссе, — говорит водитель.

— Пойдет, — говорит Фокс, устраиваясь в запахе пота, старых носков и жареной еды.

— Скрываешься?

Фокс морщится. Он и не думал, как он выглядит после всех этих заплывов и ходьбы пешком до дому.

— По лицу все можно понять, знал?

— Знал.

Остаток утра они едут в молчании, и из радио тонкой струйкой течет крикет, как пытка водой. Кондиционер высушивает пот, а потом морозит Фокса. По мере того как они продвигаются в глубь материка и мимо них проносятся трейлеры, местность становится суше и ниже, и пшеница уступает место овечьим пастбищам, которые все мельчают, пока не остается только припадающая к земле поросль акации; просто оливковые мазки растительности, разбросанные по каменной

желтой грязи.

— Страна диких цветов, — говорит водитель, не сумев сдержать пуканье. — Посмотрел бы ты на это в сентябре. Насколько глаз хватает — всюду цветы.

Фокс не может себе этого представить. Он не предполагал, что деревья могут так внезапно исчезнуть. Он и пяти часов не провел в дороге, но кругом осталась только желтая грязь.

— Так от чего ты бежишь?

— От людей, — говорит Фокс.

— От конкретных людей или от людей вообще?

— И так, и так.

Водитель понимает намек и довольствуется крикетом по радио. Сложно вообразить что-нибудь более ужасное, но, по крайней мере, это избавляет его от музыки.

Молодой вол лежит на краю дороги, подняв ноги в воздух, как перевернутый стол. Рябящая черная скатерть птиц.

Из низкой поросли вдали поднимается камедное дерево, и, когда они проезжают мимо, Фокс видит белый крест и пару спортивных ботинок. Сцена из песни Берла Айвса. Старина Берл. Как его любил старик! Заверни меня в мой кнут и

простыню.

У таверны «Пейнс-Филд» Фокс сидит в кабине «Кенворта», пока заправщик закачивает топливо в огромные баки. Он осматривается по сторонам, пытаясь найти поселение, у которого есть название, но вокруг только чахлая поросль и каменистая земля. Наконец запах бензина выгоняет его из кабины. Он покупает себе коку и сидит в душной тени, пока водитель, ясно давший понять, что хочет поесть один, уединяется за столиком в закусочной.

Караваны автотрейлеров, уставленные «Паджеро» и «Роверами», тянутся с севера и выстраиваются в очередь за бензином. Старики в мешковатых шортах и с выдубленной солнцем кожей проходят по запятнанной маслом грязи двора к вонючим туалетам.

Молодой парень в комбинезоне защитного цвета и в подбитых сталью ботинках выходит из таверны, вынося с собой порыв охлажденного воздуха и сигаретный дым.

— Уаиу, — с отвращением говорит он.

— Что? — удивляется Фокс, допивая коку.

— Уаиу, — говорит парень, кивая в сторону пенсионеров, валом валящих из туалетов и сравнивающих мили на одометрах. — Увидеть

Австралию и умереть.

Фокс пожимает плечами.

— Некоторые из них проезжают все целиком. Север, потом по побережью к Территории. Квинсленд. Едут на юг. Возвращаются назад, объезжая Налларбор. Большой круг. А потом заново. Все дороги ими забиты. А ты куда направляешься?

— Да так, — говорит Фокс, — на север.

— Автостопом?

— Заметно?

— Большая практика, друг.

Фокс смотрит на вышитый логотип у него на рубашке. Золотодобытчик.

— Через секунду отправляюсь обратно на Магнитку. Подвезу, если не возражаешь ехать сзади. Мой напарник чего-то захандрил от выпивки.

— Спасибо.

Бензоколонка продолжает закатывать глаза на «Кенворт». Неудачливые автолюбители, застрявшие между грузовиками и трейлерами, ждут, пока он уедет. Фокс снимает свои пожитки с насиженного места за кабиной и забрасывает их на шахтерский «Крузер» пикап.

Весь день с продуваемого ветром кузова «Лэндкрузера» он смотрит на местность, поросшую

акацией, которая постепенно преображается гранитными скалами. Каменные вертикали приносят облегчение после горизонтальной монотонности. Караваны грузовиков с укрепленными на багажниках яликами проносятся мимо на юг. Весь поток транспорта направлен в другую сторону, за исключением нескольких случайных автомобильных поездов, направляющихся на север. В кабине играет Джудас Прист; его милосердно приглушает стон ветра.

У горы Магнитной молодые парни высаживают его на углу, который поначалу кажется перекрестком. Здесь кончается юг. Заборы ферм исчезли, и уже давно исчезла почва, уступив место пыли или песку. До Индийского океана — несколько часов на запад. На дорожных знаках расстояние до городов отмечено трех– и четырехзначными цифрами. Он пытается представить себе туманные равнины и красные дюны на востоке, невероятный размах материка. Говорят, там пусто, и эта мысль ведет его вперед, но он не может охватить ее своим разумом. Он думает о севере, о котором его старик говорил с гордостью и страхом в голосе, о суровых каменных грядах, об иссушающей жаре, о непрерывных взрывах и копании, об эпическом питии, от которого начи-

нало казаться, что хмельные южане — это еще довольно умеренное явление; о стадах, поднимающих красную пыль до неба, и о временах года, которые называются Мокрое и Сухое.

Он подхватывает груз и раздумывает о своих возможностях. Еще не слишком поздно, чтобы пробраться в сторону моря на шоссе № 1 и направиться на север вдоль берега, но у него теперь есть импульс, и он знает, что маршрут, пролегающий в глубине материка, проведет его мимо Уиттенума и шахты, которая сделала его сиротой. Он решается продолжить путь.

Он вытаскивает из рюкзака сверток купюр и засовывает несколько бумажек в шорты, чтобы купить еду. Он переходит широкую, пустую улицу к станции «Бритиш петролеум» и заказывает себе еду. Пока он сидит там, приходят и уходят черные дети. Они покупают коку и мороженое и стоят на гудроне, дразнят друг друга и строят ему рожицы в окно. Потом он снова взваливает на себя груз, и они недолго идут за ним, хихикая, щекастые и громкие, как какаду.

Никто не останавливается, так что он идет, чтобы убить время. Солнце садится, но жара не уходит с земли. На другой стороне города, на закате, не остается никаких шансов, что его кто-

нибудь подвезет в таком мраке; он забредает в поросль, чтобы найти место, где расположиться на ночлег.

Он направляется к гранитному выступу, который замечает над акацией, и там находит приличный клочок земли. Он раскладывает спальный мешок и собирает палки, пока окончательно не стемнело. Он разводит огонь — скорее для освещения, чем для чего бы то ни было еще. Он не так давно поел и теперь не собирается готовить. В отблесках своего маленького костерка он осматривает содержимое своего рюкзака: сухая еда, котелок, зажигалка, фонарик, две перемены одежды, запасные носки, бутылки для воды, карманный нож, разделочный нож, мягкая шляпа, которую он весь день забывал надеть, щиток от солнца, репеллент.

У него с собой есть маленькая аптечка. Конечно, пластыри. Пинцет, бетадин. Но ни одной книги. Это он плохо продумал. Он хочет быть один, видит Господь, но не без чтива.

Теперь у него все болит, вся кожа чешется в тех местах, где образовались струпья. Нос у него лупится, и губы потрескались. Он снимает ботинки и чувствует на пальцах мозоли, там, где кожа все еще мягкая.

Он не думает о Джорджи Ютленд. Она, конечно, болтается где-то в сознании, как что-то, во что невозможно поверить, но он не позволяет себе думать о ней. Растянувшись на спальном мешке и наполовину откинув покрывало, он думает о себе на бахче в то утро, как он тогда встал на колени, отрезал попку от арбуза и засунул в арбуз руку по локоть. Он был горяч от солнца и сладок, этот арбуз, он был винного аромата, как море, о котором мечталось. Он откусил сразу много, чтобы почувствовать на языке бурление пузырьков. Даже теперь он представляет себе, как ест эту забродившую сладость. Это было последнее, что он сделал перед тем, как вытащить деньги из-под камня на холме и уйти. Он не знает, почему сделал так, хотя правда и то, что его рот пересох с прошлой ночи и от того, что? он решился сделать. Это было таинство, в котором он не мог признаться. Просто прощай, вот и все. Выплюнул семечки, быстро повернулся к холму.

Ни меланхолия, ни наводящая ужас тревога не грозят ему бессонницей в эту ночь. Ферма, может быть, и горит, но Фокс спит. Последнее, что он слышит, это крик кроншнепа.

* * *

Небо все еще расписано розовыми и серыми полосами, когда грузовичок «Бедфорд» семидесятых годов тормозит рядом в облаке пыли и музыки. Он подходит к дверце и открывает ее, и поток воздуха из кондиционера и взрыв музыки ударяют ему в голову. Водителю нет тридцати, у него выбеленные солнцем африканские косички и плоские голубые глаза, по виду настоящий серфер.

— Есть деньги на выпивку? — кричит он, стараясь перекричать музыку.

— Вроде бы.

— Тогда залазь.

Фокс открывает боковую дверь и забрасывает внутрь свои пожитки. Там настоящий кавардак. Голая пенка, от которой откололось несколько кусочков, и косо наброшенная на нее простыня. Поверх всего этого лежат дешевые виниловые сумки, удочка, утюг, эскимосская иглу, походная печка, порнушные журналы, кальян, сделанный из садового шланга и бутылки из-под сока. Ящик «Виктории биттер»[17] рассыпался, и жестянки

---

[17] Примечания: 17
«Виктория биттер» — сорт австралийского пива.

лежат повсюду.

Он забирается на пассажирское место и чувствует, как грузовичок рванулся вперед. Мотор от «Холдена», можно спорить.

— Куда едешь? — спрашивает водитель, слегка приглушая музыку.

— В Уиттенум.

— Вот черт. Город призраков, а?

Фокс пожимает плечами.

— Я неаккуратно пакую вещи, — говорит серфер, замечая, что Фокс оглядывается на завалы в кузове. — Купил все это только прошлым вечером. Ну, на самом деле не купил, а выиграл.

— Как это?

— Ну, оказался лучше, чем тот, другой парень, конечно, — говорит он с хриплым смехом.

Грузовичок воняет дымом беспорядка и грязной одеждой, и холодный воздух, дующий из вентиляционных отверстий, пахнет плесенью. Ботинки Фокса упираются в груду коробок из-под фаст-фуда, пивных жестянок, измятых карт и пластиковых пакетов. На неожиданных изгибах двухрядки полупустая бутылка «Саузерн комфорт»[18] перекатывается через его лодыжку.

---

[18] Примечания: 18
«Саузерн комфорт» — крепкий ликер.

— Ржавый, — говорит водитель.

— Лю, — неохотно называется Фокс.

Музыка стучит у него в голове, как молот; он чувствует музыку у себя в горле. «Стили Дэн», их лучший альбом. Полный угловатых аккордов и гладких переходов, слова, которые легко целуют тебя. Но он не хочет этого слышать. Музыка сейчас просто распарывает его; он может без нее обойтись.

Они упрямо едут сквозь утро. Пленка заканчивается и начинается снова и снова. Ржавый, похоже, почти ее не слышит. Местность раскрывается соляными озерами и широкими, пропеченными солнцем равнинами, на которых еще держатся крохотные островки низкорослых австралийских эвкалиптов. Они проносятся через старый шахтерский город Кью, где карьеры и горы шлака стали частью пейзажа.

В Микатарре земля красная. Она пятнает гудронированные улицы, машины и дома вдоль улиц. Ржавый заворачивает на станцию техобслуживания и выжидательно смотрит на Фокса. Ему требуется несколько секунд, чтобы понять, что тот хочет денег.

— Ты заплатишь за бак, а я — за завтрак.

— Я поел, — говорит Фокс, хотя его чай из ко-

телка и плитка мюсли давно забыты.

Ржавый берет у него три двадцатки и хромает внутрь, пока Фокс накачивает полный бак. В Ржавом есть что-то странное. Он смотрит, как Ржавый хромает из ресторана к туалетам. По пути обратно к стеклянной двери его походка становится мягче. Вернувшись, он протягивает Фоксу гамбургер и пакет с плохо прожаренной картошкой и роняет на сиденье коробку с похожими деликатесами. Фокс отмечает звяканье голени Ржавого, когда тот залезает в машину. Ржавый смотрит на него с неожиданной яростью.

— Искусственная, ясно? Я чертов калека с деревянной ногой.

— Ах вот как!

— Да, вот так, вот так, черт побери!

Ржавый достает из кармана чудовищную самокрутку, косяк размером с какашку. Он закуривает и выруливает на улицу.

— Какой-то осел на своем «Рейнджровере» вписался в меня сзади, — говорит Ржавый. — Прямо перед таверной «Маргарет-Ривер». Я сижу себе спокойно в своей машине. Он разворачивается и дает мне под коленку — в общем, мать его, врезается и разбивает его ко всем чертям. Какой-то богатенький адвокат из Катслоу, в дорогих

штанах.

— Я думал, ты катался на доске на Маргарет-Ривер.

— Больше не катаюсь. И этот хрен подряжает себе кучу таких вот умных дружков, и они делают так, что мне вроде бы как не полагается никаких приличных выплат.

На шоссе Ржавый разоткровенничался, и трансмиссия «Бедфорда» захлебывается.

— Автоматическая, — говорит он. — Настоящий друг калеки.

Грузовик набирает такую скорость, что почти парит, и кажется, что он, как гидроплан, скользит по водяным миражам на дороге.

— Когда-нибудь чувствовал себя хреново? — спрашивает Ржавый, не замечая, что Фокс вырубил стерео. — Ты выглядишь вполне довольным.

— Вот-вот.

Фокс наблюдает, как он затягивается косяком со всем удовольствием человека, откачивающего бензин из чужой машины. Грузовичок наполняется дымом, но снаружи слишком жарко, чтобы высунуться в окно. Докурив почти до конца, он предлагает бычок Фоксу, но тот отказывается.

— Кинь мне тот пакет из «Вулвортса» из-за сиденья, а?

Фокс поворачивается и ставит пакет на сиденье между ними.

— Заимел отличную фигню в Джеральдтоне.

Фокс кивает.

— Ну-ка взгляни.

Он открывает пакет и видит гору тюбиков, бутылочек, целлофановых пакетиков. Там коробочки с лекарствами, которые выдаются только по рецепту, и несколько шприцев.

— Собираешься открыть аптеку? — говорит Фокс.

— В точку.

Весь день Ржавый едет, вцепившись в руль, но его поступь переменчива. Утреннее лихачество уступает место припадочным порывам и затишьям к середине дня. Тут и там они тормозят, чтобы он смог уколоться морфином. Днем Фокс предлагает сменить его у руля, но его отвергают, и Ржавый ведет грузовичок так медленно, что трехчастные автомобильные поезда воют сигналами, обгоняя их в клубах пара, которые почти отбрасывают «Бедфорд» на обочину.

Почти не замечая этой перемены, Фокс видит, что местность стала живой, яркой, эффектной. Средний Запад остался позади. Это Пилбара. Все выглядит очень большим и очень ярким, как в

цветном кино. Впереди громадные железные гряды. Снова появляются деревья. Эта земля кажется фантастической, волевой, могущественной, вымечтанной.

— Епт, — говорит Ржавый вроде бы ни к чему.

В Ньюмене они едут, на какое-то время заблудившись, через большие кривые улицы шахтерского города. Здесь есть сочные газоны и цветы, туманы разбрызгиваемой воды, которые смягчают очертания аккуратных бунгало и магазинов. На одном углу над пригородами возвышается громадный грузовик. Вода, железная руда, деньги.

Наконец Фокс заставляет Ржавого повернуть на шоссе, которое забирается в гряду Офтальмия: ее обрывы, пики и столовые горы поднимаются в безоблачное небо — алые, черные, малиновые, терракотовые, оранжевые. Там пурпурные тени от вымоин, и неровные слои железа лежат испятнанные зеленоватой пылью пырея. Можно учуять спрятавшиеся реки. В ушах звенит от высоты. Ближе к дороге, на каменистых склонах цвета запекшейся крови, гладкие белые стволы камедных деревьев поддерживают кроны, такие зеленые, что это даже пугает. Толпы белых какаду спархивают со своих сучьев. Цвета горят в его

голове. Широкие повороты дороги открывают местность, оставшуюся позади, потемневшую от предзакатных теней. Фокс чувствует, как его голова откидывается на шее. Он родом из низких, сухих, суровых мест: известняк, песок и желтосмолки. Дома единственные величественные элементы ландшафта — это море и лепные дюны. Даже изящные эвкалипты здесь кажутся убогими.

— Господи, я все, — говорит Ржавый, выворачивая на обочину, где колючие камедные деревья и несколько пятен низкой поросли отмечают собой какую-то наблюдательную точку.

Фокс понимает, что спустились сумерки. Он немного оцепенел от дыма в кабине. Небо красновато-коричневое; пики и утесы железных гряд чернеют на его фоне.

Ржавый вырубает мотор, нараспашку открывает дверь, и горячий, чистый воздух врывается в кабину. Он кажется бархатистым. Ржавый мочится в грязь.

Фокс вылезает наружу, в тихую жару вечера.

Они ломают поваленные деревья, чтобы разжечь костер, и к наступлению темноты котелок уже кипит. Фокс бросает заварку в воду, но оставляет ее настаиваться так долго, что Ржавый

забирает котелок с собой в грузовичок, где они оставили кружки. Фокс устал и не хочет ничего делать; ему все равно.

— Ты что, хочешь, чтобы я еще и готовил, а? — кричит ему Ржавый.

— Мне все равно.

— Хочешь взбодриться?

— Глоточек. А потом, может, еще и пива.

— Нет проблем!

Когда Ржавый приносит чай, у того оказывается медный привкус.

— Вот, — говорит Ржавый почти игриво. Он наливает капельку «Саузерн комфорт»[19] в каждую кружку. — Ржавый знает, как взбодриться.

Фокс потягивает свой горький чай и, не мигая, смотрит на танец огня. Гул дороги, кажется, все еще вибрирует в нем. Ночь тяжела и толста, как одеяло.

— Почему Уитнум? — спрашивает Ржавый.

Фокс рассказывает ему о своем старике и асбестовых копях. О мезотелиоме и о монументальном ублюдочничестве, с которым тот все это скрывал.

— Там была «Полуночная Песня Нефти», прав-

---

[19] Примечания: 19
Ликер.

да?

Фокс кивает. Он не говорит об умирании, о том, как он ушел на самом деле. О желтых глазах, как у животного на бойне, об ужасном распухающем теле. Об обмороках и о поносе. И об отчаянном потении. В конце всего этого была больница. И он лежал там, как человек, которого держат в ванне. Он напрягал шею, будто бы мог высунуть голову из-под воды и вздохнуть свободно, если бы только ему удалось собраться с силами. Но он все равно тонул. И Фокс сидел у его постели, он был слишком молод, чтобы водить машину самому. Негра и Сэл ждали на стоянке.

— Из мести, — говорит Ржавый, — это я могу понять. Но я слышал, что там никого нет, никогошеньки.

Ржавый, кажется, давно уже отъехал.

— Он говорил, что здесь земля Господня, — говорит Фокс. — И я все равно направлялся на север…

— Что, *еще дальше* на север?

— Да, до самого конца.

— Довезу тебя до Брума, если будешь платить за выпивку.

Фокс пожимает плечами.

— Ладно, — бормочет он. — Наверное, это при-

даст поездке какую-то оформленность.

— Оформленность. Да. Именно за этим-то я и гонюсь. Я оформлюсь прямо в Бруме.

— Да? Как это?

Ржавый начинает жарить пару отбивных на косточке на старом поддоне от холодильника. Фоксу кажется, как будто он смотрит на него с другого конца водосточной трубы. За пределами огня — только чернота.

— Мой парень с «Рейнджровера». Он в Бруме в этом месяце.

— Откуда ты знаешь?

— Заплатил кое-кому.

— Черт.

— Приятель, — заговорщически мурлычет он. — Я подготовился. Собираюсь придать его поездке новую форму.

— У меня губы онемели, — говорит Фокс в ту же секунду, как начинает это чувствовать.

Ржавый тихо хихикает.

— Ты что-то подмешал в чай.

— Расслабься.

— Черт!

Фокс прислушивается к тысяче тихих звуков шипящего жира, пульсирующих углей, расширяющихся и трескающихся от жара говяжьих

костей.

— Вот.

Неожиданно перед Фоксом появляется горячая отбивная на разорванном куске картонной коробки. Его нога горит. Он чувствует, чувствует.

Обглоданная кость Ржавого летит в костер еще до того, как Фокс принимается за свою. Когда он приступает к еде, на него оседает туча пепла.

Доев, он поворачивается и видит Ржавого у открытой дверцы «Бедфорда» — джинсы спущены до колен, и игла втыкается ему в бедро.

— Я сиротинушка из-за морфина, — говорит Ржавый. — А ты почему?

Издалека доносится гул машины. Это скорее рев дороги, а не звук мотора; он перекатывается через ущелья и возвращается, как плещущая в берег волна. Фокс сидит и слушает, смотрит на Ржавого, как через перевернутый телескоп, пока фары не выбеляют столовую гору прямо перед ними и мотор не стихает и не остается только шум сбавляемых оборотов и зловещий грохот тормозов. В нестерпимом сиянии фар что-то тормозит рядом. Пока оно разворачивается по гравийной полоске, Фокс понимает, что это старый универсал «И-Кей». Кто-то — женщина — зовет их.

— Не возражаете, если мы здесь переночуем?

— Располагайтесь, — говорит Ржавый.

Машина отъезжает на несколько ярдов в сторону, мотор стихает, и, когда открывается дверца, в салоне появляется слабый желтый свет.

Мужчина и две женщины бредут к огню, потягиваясь и постанывая. У мужчины спутанные волосы и борода. Треники, сияющая жилетка на голое тело. Они босы. На женщинах мешковатые хлопчатобумажные платья и позвякивающие браслеты.

— Привет, — говорит мужчина.

— Куда вы? — спрашивает Ржавый.

— В Перт. Возвращаемся из Дарвина.

— Далеко.

Фокс внимательно вглядывается в лица женщин. Огонь извивается в их глазах; от него загораются серьги у них в носу и в бровях. Они кажутся совсем молодыми — восемнадцать, двадцать.

— Тихо, правда? — говорит одна.

Ее руки в платье без рукавов покрыты пушком.

— Можем мы приготовить еду на вашем костре? — спрашивает вторая.

Ее волосы густы и кудрявы, и свисают до локтей, и мерцают в свете костра.

Они приносят к угольям железный котелок, уже наполненный рисом и овощами, и помешивают длинной стальной ложкой. Фокс наблюдает за ними с усталой отстраненностью.

Женщина сгибается, ежась, ее волосы мерцают огоньками. Кто-то предлагает ему кальян, но он едва это замечает. Стили Дэн играет в «Бедфорде». Губы позвякивают булавками и иголками.

— А ты молчун, — говорит мужчина.

— Высшее существо, — отвечает Ржавый.

— Мы заметили, — говорит женщина с мерцающими волосами.

Фокс поднимается на ноги со всей возможной осторожностью и выблевывает свою отбивную в грязь рядом с «Бедфордом». Когда он выпрямляется, понимает, что в руке у него все еще зажата сальная кость, и швыряет ее во тьму. Шатаясь, липкий от пота, он сбрасывает с грузовичка свой спальник, оттаскивает его на некоторое расстояние от костра и там ложится и смотрит, как медленно поворачивается небо, усыпанное перхотью звезд.

Под ним гудит земля, она взволнована тысячью перемалывающихся позвякиваний и стонов, как палуба корабля в шторм. Он чувствует, как земля сжимается и разжимается, и бормочет, и глубо-

ко-глубоко между вросшими в землю камнями есть бесконечная повторяющаяся вибрация, как пистонный звук сирены в тумане. *«Врррр, врррр, врррр».*

Он то проваливается, то выплывает вновь из тьмы, сна, оцепенения.

Они двое — Ржавый и девушка с волосами, их силуэты вырисовываются на фоне огня. Она на коленях в грязи. Что-то блестит на ее языке. Воронье карканье — смех серфера. Он сжимает в кулаках ее волосы.

Фокс лежит, чувствуя, как горит горло. Земля мурлычет ему прямо в уши. Тьма, свист статического электричества.

Какое-то время спустя девушка — или одна из девушек — на крыле универсала, раскинув ноги и руки, а Ржавый стоит над ней, будто собирается выстрелить. Потом так много криков!

Крохотное создание с блистающими глазами секунду стоит, дрожа, возле его спальника и потом исчезает.

Силуэты неясными пятнами проносятся мимо костра, и их подгоняют крики. Фокс приподнимается на локте и пытается выдавить из себя крик, но крика так и нет. Спазмы и суматоха в мерцающем полусвете. Мужчина с бородой — без

рубашки. Огромный взрыв искр, когда что-то с грохотом падает в костер.

«Мой рюкзак, — думает Фокс. — Надо было оставить его при себе».

Звук бьющегося стекла. Мужские и женские крики. И в последний видимый момент ночи — Ржавый, бьющий по кузову универсала отстегнутой ногой, как сумасшедший, который порет собаку. Фокс падает назад, и под его веками мерцают вспышки и зарево. Они трещат и жужжат, как неоновая реклама. Кажется, он спит. Свет гаснет.

Фокс просыпается, и жаркое солнце бьет ему в лицо, и, переворачиваясь на другой бок, он видит, что в грязи рядом с ним лежит девушка лицом вниз; видит ее растрескавшиеся пятки и пушок на задней стороне ее голеней — как туман в утреннем свете. От нее пахнет пачулями и по?том. Рисунок ее хлопчатобумажного платья — поле крохотных ракушек, пурпурных на белом. Долгое время он размышляет, не потрогать ли ее, но боится того, что может ощутить; она от Фокса меньше чем на расстоянии вытянутой руки, и его рука несколько раз отпрядывает назад, пока она наконец не начинает храпеть; и он облегченно роняет руку. Компания какаду с криками

пролетает над ними, и девушка вздрагивает, просыпаясь. Показывается ее маленькое, разбитое и грязное лицо.

— Привет.

— Привет, — скрипит он.

Она кладет голову на край его спальника. У нее в волосах палочки, и на одной щеке — полосы красной грязи. Она дышит горечью ему в лицо.

— Я Нора.

Он кивает и видит за ее спиной, что второй машины нет. Рука Ржавого свешивается из открытого окна «Бедфорда», а его нога лежит неподалеку в грязи.

Местность вокруг сухая и красная. Когда Фокс поднимается, в глазах у него мелькают звезды и губы колет. Он находит канистру с водой в кузове грузовичка и жадно пьет. Он тянется за своим рюкзаком и обнаруживает, что его не ограбили.

Фокс везет их в страну ущелий. Он будто едет через кино. Через вестерн. Столовые горы, холмы. Скалы, ущелья. Нора сидит, приоткрыв губы, дыша ртом в полудреме. Они не разговаривают. Его подташнивает, и он чувствует беспокойство; он не уверен в событиях прошлой ночи, но в достаточной мере соображает, чтобы понять, что она не хочет говорить ни об этом, ни о чем бы то ни

было еще. С той самой минуты, как они встали, она просто вела себя так, как будто едет с ними. Он ведет машину, а Ржавый спит в кузове. Серфер просыпается, когда они начинают подскакивать на выбоинах на повороте к Уитнуму.

В грязном старом поселке Фокс провозит их по мощеным улицам с остатками тропинок и садов, но домов там нет. Почти все снесено и вывезено, чтобы люди перестали здесь жить. Крылечки и залитые бетоном площадки пусты. Там и сям встречаются сваи домов, подъездные дорожки. Одинокий школьный знак. Секции низкой ограды, экзотические деревья, шпалеры, увитые бугенвиллеей и жасмином. Несколько людей, кажется, все еще живут здесь, но по большей части тут пустые улицы и предупреждения об охране здоровья. В конце последней пустой улицы Фокс выезжает на потрескавшийся асфальт и смотрит на стену каньона. Именно там, полагает он, они и добывали голубой асбест, горами вздымающийся вокруг. Когда его старик был золотоволосым пареньком с женой-книгочейкой и у него была присмотрена землица на юге.

«Бедфорд» тормозит. Над ними поднимается скала, как волна, красная, пурпурная, черная.

— Не думал, что это так красиво, — говорит

Фокс, не собиравшийся произносить этого вслух.

— И не красиво вовсе, — откликается Ржавый. — Тут чертовски жарко и пыльно, пусть здесь черномазые живут, а нам не надо.

Девушка оглядывается на Ржавого, а потом на Фокса; она моргает.

Фокс понимает, что увидел достаточно; тем больше ему хочется продолжить путь.

Девушка открывает дверь, выбирается и садится на корточки. Ее моча катится по каменной земле, не впитываясь.

— Чче-орт, — стонет Ржавый.

Фокс поворачивается и смотрит на него, но ничего не говорит. Ржавый лежит, откинувшись, на зловонной горе мусора в своих леопардовой расцветки плавках в облипку, выпятив свой пенек и злющий как черт.

— Я хочу есть, — говорит Нора, забираясь внутрь и закрывая дверь от жары. — Я могу целую лошадь съесть.

— Съешь меня, — говорит Ржавый.

— Ты свинья.

— А ты сидишь в моем грузовике, так что выбирай выражения.

Фокс разворачивает грузовик и проезжает обратно по пустым улицам, занимая себя процессом

вождения, чтобы ничего не говорить.

— Что? — орет Ржавый. — И вот оно? Ты заехал так далеко, и это все, что ты хочешь увидеть? Это место, которое убило твоего отца, и ты отдаешь ему всего пять минут времени и писюльки какой-то хиппушки?

Девушка смотрит на Фокса, он чувствует ее взгляд, но не встречается с ней глазами; он проезжает мимо развалин жилищ тех, кто оставался здесь до конца, и выезжает на волнистую красную дорожку, ведущую к шоссе.

— Твой старик гордился бы тобой.

— Заткнись, а? — говорит девушка, пытаясь перекричать грохот подвески.

— Отсоси мой пенек.

— Щас.

— А я тебя оттяну в твой большой хипповский зад.

— Господи, ну и невоспитанный же ты!

— Я буду качать, качать, и качать, и качать…

Фокс вставляет кассету со «Стили Дэном» обратно в деку и заглушает Ржавого. Через некоторое время он снова видит серфера в зеркале заднего вида, и шприц снова торчит у него в ноге и шатается, когда машину подбрасывает на кочках; и через несколько минут он разваливается, раски-

нув ноги, и руки на члене, и он напевает слова под музыку.

Громыхая, они едут через глубокие красные ущелья, под каменными основаниями холмов, утыканных колючими камедными деревьями, ветви которых — просто бакенбарды на челюстях огромных скал и холмов над ними. В расщелинах прячутся тени, которые так черны, что это его беспокоит. Посиди здесь достаточно долго, думает он, и эти тени высосут у тебя разум. Всего один вдох всех этих жаброподобных трещин. Эти гряды напоминают Фоксу какое-то задремавшее существо, сон которого длится недолго, — будто бы получившая солнечный удар пыльная шкура этого места может затрястись и упасть, подняться на свои кривые ящеричьи ноги и в любой момент поковылять прочь.

Его мысли странствуют, пока на крутом повороте дороги Фокс не замечает одинокий термитник, черная тень которого ложится на путь к его входу. Через секунду показываются и другие, целая колония. Он медленно тормозит «Бедфорд».

— Ты в порядке? — спрашивает девушка Нора, когда он вылезает.

— Я просто хочу посмотреть, — говорит он, и его настигает вскипающий шлейф пастельной

пыли, поднятый грузовичком. — Я на секунду.

Горячий воздух гуще пыли. Он пробирается через поросль пырея, чтобы постоять среди красных монолитов. Он прикасается к первому из них и чувствует, как в его руках отражается форма, он ощущает трещины на стенах термитника, обжигающее прикосновение. Недалеко от него вспархивает голубь. Сзади сигналит «Бедфорд».

В огромной и бесцветной таверне девушка просит рису. Женщина за прилавком ухмыляется. На шоссе Нора ест пирог с мясом с видом великомученицы. В кузове Ржавый сидит на своем матрасике, и на подбородок ему свешивается серебристая нитка слюны.

Они выезжают из сияющих ущелий в широкую степь. Они пересекают реку Фортескью, и из земли начинают показываться железные шишки и валуны.

Фокс не понимает, следовало бы ему задержаться в Уитнуме подольше или нет. Он мог бы сходить к шахте. Но старик бы подумал, что он окончательно сбрендил. Дышать всем этим асбестом на каждом шагу — это было бы как оскорбление. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов — не так ли он сам говорил?

Долгое время он хочет заговорить с девушкой,

понять, что к чему, но она, как ящерица, невосприимчива к его взглядам. Когда наконец он отчаивается, она заговаривает с ним.

— Он твой приятель?

— Шутишь? — говорит он. — Я просто автостопом еду.

Она кивает и кладет голые ноги на приборную панель. Ветер раздувает ее платье. Она приглаживает платье руками.

— Ты в порядке? — бормочет он.

Она пожимает плечами.

— Ты знаешь, куда поехали твои друзья?

— В Перт, наверное. Эмбер надо забрать ребенка.

— И туда-то ты и едешь?

— Да.

— Тогда ты едешь не в ту сторону. Ты это знаешь?

Она не шевелится.

— Черт, — говорит он.

Слеза от ветра скатывается по ее щеке в волосы.

— Сколько тебе лет? — спрашивает он.

— Шестнадцать.

— Господи!

— Господи? — горько смеется она. — Господу

шестнадцать. И это женщина.

— Ну…

— И мужчины до смерти затрахивают ее каждый день.

— Слушай, — говорит он в замешательстве. — Мы высадим тебя в следующем городе. Можешь сесть на автобус. В Порт-Хедленде, думаю. Ты наверняка догонишь приятелей.

Девушка не отвечает. Фокс начинает замечать граффити на каждом обнажении пород.

Великое северное шоссе заканчивается на развязке с шоссе № 1. Фокс поворачивает. Низкая, плоская пойма бело-желтого цвета, цвета высохшего печенья. Она кажется прибрежной, но моря не видно. Эта полоска дороги усеяна раздолбанными двигателями, трупами зверей, пивными банками.

— Добро пожаловать, — говорит Нора, — в страну большого белого ублюдка.

— Что?

— Одни деревенщины.

Они едут и едут, но грузовичок кажется неподвижным на сияющей равнине. Скука ест Фокса. Он ерзает на сиденье.

После бездны времени, может быть через полчаса, над равниной поднимаются соляные горы

Порт-Хедленда. На заброшенных окраинах порта, на бесплодных землях из линий электропередач, вагоноремонтных мастерских, стальных башен и дымовых труб они заезжают в придорожную таверну, грязный двор которой черен от разлитого бензина. Разобранные автомобильные поезда. Времянки, перемазанные железной пылью. Автостопщики, спящие рядом с ящиками «Эмубиттер»[20].

Фокс тормозит возле бензоколонки и вытаскивает несколько купюр.

— Вот, — тихо говорит он Норе, пока Ржавый не встрепенулся. — Доезжай до города, если автобус здесь не останавливается.

Она кивает. От нее пахнет заплесневелым полотенцем. Она берет деньги и вылезает. Дверь со стуком захлопывается.

— Черт, надо поссать, — говорит Ржавый. — Где это мы?

— Хедленд.

— Дыра.

— Ты здесь бывал?

— Не-а. Где телка?

— Пошла в сортир, — говорит Фокс. — Я плачу

---

[20] Примечания: 20
«Эму биттер» — сорт пива.

за бак?

— Я тебя не для компании держу.

Фокс вылезает и качает бензин, пока Ржавый пристегивает ногу. Они встречаются у кассы.

— Возьмем кусок вон того стейка, — говорит Ржавый, показывая на большой кусок филе в вакуумной упаковке за стеклянной дверцей морозильника в бусинах воды. — Она любит мясо, эта телка.

— Сам покупай, — говорит Фокс, желая быть на месте девушки.

Если бы не она, он бы давно уже дал отсюда деру. Маленькая девочка с дымящейся тарелкой жареной картошки в руках пристально смотрит на протез Ржавого. Под лампами дневного света протез сияет ужасающе розовым цветом из его шортов в цветочек.

— Денег нет.

— Слишком большой.

Ржавый чешет голову, продираясь пальцами сквозь несвежую гриву африканских косичек. В окно Фокс видит, как Нора забирается обратно в «Бедфорд». Несчастная унылая девушка за прилавком театрально вздыхает.

— Мы возьмем бифштекс, милая. Выбивай.

Фокс расплачивается и несет мясо наружу, оно

холодит ему грудь.

Нора даже не смотрит на него, когда он забирается в кабину.

Он ведет машину, и его злость уступает место опустошенности. Двухэтажные дорожные знаки не помогают. Перт в тысяче шестистах пятидесяти километрах к югу, а Кунунарра — на том же расстоянии к северу. Полпути — это совсем не путь.

Некоторое время он находит утешение в величественных столовых горах, которые поднимаются из опустошенной поймы, но они уходят, и остаются только те же унылые равнины с мрачными, узкими ручьями.

Фокс ведет, и странные вспышки мерцают у него в глазах.

Река Де-Грей, коричневая и широкая, на своих усыпанных деревьями берегах дает им минутную передышку, а потом они летят через мост.

Ржавый забивает косяк, и они курят его с Норой. Она затягивается с чувством. Губы Фокса покалывает, и несколько секунд у него дрожит одна нога. Никто не разговаривает. Грибной запах дури наполняет салон.

Фокс ведет.

Двое позади шебуршатся в мешке с наркотой.

Равнина, равнина, равнина.

Ржавый начинает чихать.

Фокс знает, что это земля скотоводов, потому что на пути попадаются туши павших животных, но до сих пор он не видел еще ни одного живого. Здесь, на севере, нет оград. У него вдобавок ко вспышкам начинаются еще и судороги.

По бокам дороги — сплошь остатки костров, пустые бутылки и мусор. С севера волокут грузы «Лендкрузеры» и «Чероки». Это как колонна беженцев, которым наступают на пятки. Фоксу нужно остановиться. Ему надо выйти.

В Парду он останавливается. Там просто бензоколонка и стоянка для грузовиков. Он вылезает и вытаскивает свои пожитки из-под серфера. Ржавый лежит развалившись, его глаза превратились в щелочки. Когда Фокс вытаскивает рюкзак, оказывается, что он насквозь пропах Ржавым.

— Залить бак? — спрашивает заправщица сквозь зубы.

— Вон та отворотка ведет на побережье? — спрашивает Фокс.

— Да. Вам нужен бензин или как?

— Спросите его.

— Спасибо ни за что, — говорит Нора.

Фокс идет, пока не входит в ритм. Воздух шерстяной. Пот заливает ему глаза и слепит его. Он подумывает о шляпе, но солнце уже низко. Гравийная дорога по обеим сторонам окружена низкой выжженной порослью. Деревьев не видно. Он самый высокий предмет на равнине.

Через долгое время он слышит звук мотора и разбрасываемого гравия. Он продолжает идти, не голосуя. Слышит, как автомобиль тормозит позади.

— Ты кое-что забыл, — говорит девушка с водительского сиденья.

Это кое-что бьет его в живот, и он сгибается пополам, и, когда грузовичок заканчивает свой разворот в брызгах грязи и его пыльный след в поросли удаляется к шоссе, он находит в пыли у ног бифштекс в вакуумной упаковке. К нему возвращается дыхание. Он поднимает упаковку, выпрямляется и идет навстречу закату и собирающимся комарам.

* * *

Как раз на закате Фокс подходит к ручью, окруженному манграми, который из-за отлива превратился в ручеек, и идет вдоль него, к бездревесному, каменистому мысу, с которого

в сумерках все еще виден Индийский океан. Он решает пойти к низине над линией прилива и сбрасывает груз. Он выпивает литр воды и снимает шорты и майку, чтобы забраться в каменистый пруд и смыть с себя пот. По его телу пробегает минутная дрожь при мысли о крокодилах, но лучше этого пруда найти ничего нельзя. Вода прохладна.

На минуту, перед тем как одеться, он чувствует себя посвежевшим, но, когда он разворачивает свой спальник в сгущающейся тьме, он уже снова покрыт липким потом.

На мысу он видит костер, и сердце его падает. Тогда он думает о бифштексе в рюкзаке. Он натягивает свои пропекшиеся ботинки.

Только бледная песчаная тропка ведет вверх, к скалистому хребту.

— Эй, привет компании! — кричит он с разумного расстояния.

— Господи всемогущий! — говорит кто-то.

Что-то звякает о землю — уронили от удивления.

— Извините, что напугал, — говорит Фокс, подходя к костру, который освещает пару ног.

— У меня вся душа в пятках!

Это мужской голос. Пожилой. Фокс заслоняет

глаза от огня. Он замечает автомобиль с прицепом.

— Я пришел с пляжа.

— Ладно, — осторожно говорит человек.

— Куда делась эта крышка? — спрашивает женщина.

Фокса неожиданно ослепляет луч фонарика.

— Все в порядке, старина? Что это там у тебя?

— Мясо, — говорит Фокс, протягивая упаковку.

Он пытается объяснить, что ему этого много и он будет рад поделиться с ними, или они могут забирать все — ему все равно. Но мужчина и женщина у костра: сомневаются. Он говорит им, что мясо в вакуумной упаковке, и что он его не украл, что все абсолютно в порядке и что он просто не хочет, чтобы мясо пропало.

— Я понимаю, что все это выглядит немножко подозрительно, — заканчивает он.

— Бойся данайцев, дары приносящих, — говорит женщина, которую все это, похоже, забавляет.

— Ну, — говорит Фокс, — троянцы просто испортили кайф будущим поколениям.

Женщина смеется. Они выключают фонарик и приглашают его присоединиться. Флуоресцентная полоска возникает над дверью прицепа. Фокс

видит старика в белой фуфайке и в обвисших на заду шортах. На складном стуле седая женщина держит стакан белого вина. В свете костра виден блеск ее очков и цепочки, которая свисает с дужек. Они представляются: Хорри и Бесс. Фокс протягивает им мясо. Хорри дает ему пиво. Он выпивает его одним жадным глотком и потом останавливается, неожиданно сбитый с толку.

— Пить хотите? — говорит Хорри.

— А… да.

— Вы хотите что-нибудь за это мясо?

— Нет. Может быть, несколько литров воды.

— Без проблем. Легко.

— Вот, — говорит Бесс. — Сядь и намажься репеллентом. Тебя могут съесть живьем. Песчаные мухи гораздо хуже комаров.

Фокс садится. У них есть складной стул и палатка на песке рядом с огнем.

— Так ты студент, — говорит Бесс.

— Нет, — бормочет он. — Безработный.

— Едешь на юг за прохладой, наверное.

— На самом деле — на север.

— Хорри, он такой же сумасшедший, как и мы с тобой.

— Каждый нормальный засранец уже проехал здесь несколько недель назад. Никто не едет на

север в это время года, кроме полных идиотов.

— И тех, у кого есть миссия, — говорит Бесс. — Так который же из двух вы, молодой человек?

Фокс смеется.

— Боюсь, что из идиотов.

— Вроде нас, — говорит Хорри.

— Умоляю, но я хотел бы отличаться.

— Она отличается, но я никогда не видел, чтобы она умоляла, — со смехом произносит старый парень.

— «А вот и те, кто дорог был тебе, — говорит Бесс. — Но почему же мы?»

— Завелась!

— «А будущее? Пусть его, вот мой совет».

— О, — говорит Фокс, отшатываясь в изумлении. — Это… Это же Харди?

— Дай ему еще пива, Хорри.

— Она учила английскому языку, — говорит старик. — Сорок лет.

— В каком университете ты учился? — спрашивает Бесс.

— А!.. Я даже школу не закончил.

— Но ты читаешь.

— Ну да.

— Настоящие книги? Настоящую поэзию?

— О Боже… — бормочет Хорри.

— Так значит, не только *информацию?*

— Оставь мальчика в покое, Бесс.

Фокс неловко смеется:

— Нет. Только книги.

— Какие?

— Бесс!

Фокс пытается думать.

— Хемингуэя, наверное.

Он пожимает плечами.

— Байрона, по всей видимости.

Он морщит нос.

— Может быть, Блейка?

— Ага, — говорит Фокс.

— Вот именно, ага. Потом, конечно, Вордсворта. Но не Шелли.

— Вы меня поймали, — улыбается он, удивленный.

— Так с кем ты себя *ассоциируешь?*

– На этой неделе? С Китсом.

— Ох, бедный грустный мальчик. Имя, написанное на воде.

— Давайте уже съедим это чертово мясо, — говорит Хорри.

Фокс остается и помогает им жарить отбивные из разделанного филе. На гарнир — рубленый салат и холодная картошка. Хотя ему нелегко

поддерживать добродушную шутливость Бесс, ему нравится сидеть с ними. Фокс с тоской думает о своих родителях, о том, как бы они старились вместе, как эти двое. Он был ребенком, когда умерла мать, но он помнит ее несдержанную пылкость, их соревновательную преданность друг другу.

Через пару часов он поднимается и благодарит их, желает им хорошего путешествия на север. Пожилая пара восхваляет широкую равнину Кимберли перед ними, а он стоит и пятится от них дюйм за дюймом.

— Этот штат, — говорит Хорри, — он как Техас. Только он *большой.*

Фокс смеется и пользуется моментом.

…В ту ночь он с головы до ног обмазывается репеллентом и лежит в спальнике, глядя на звезды и слушая, как прилив наполняет залив. Перед глазами у него все еще полыхают огни, но недостаточно ярко, чтобы он не смог заснуть. На рассвете он видит кенгуру-валлаби, наблюдающего за ним из поросли, — яркие глаза, настороженные уши. Птичья песнь несется с хребта, высокая и веселая, как шум детской площадки. Кенгуру неясным пятном шарахается прочь, как только он начинает шевелиться.

Когда котелок подогревается на огне, Фокс забирается на скалы, туда, откуда ушел прилив. Известняковые колонны мыса текут струйками и сочатся. Плоским камнем он раскалывает несколько устриц и высасывает мясо и жидкость. Он идет в сторону моря через лужицы и ямки, которые оставил прилив. На расстоянии мили от берега море становится страннейшего молочно-белого цвета.

В одной прозрачной лужице он тянется за роскошным камнем с голубыми пятнами, но отдергивает руку, когда пятна начинают шевелиться. Голубые пятна превращаются в желтые мазки. Камень открывает глаз, и — черт! — Фокс отшатывается в ужасе. Осьминог, и не просто осьминог, а полосатый. И он чуть не прикоснулся к нему. Его укус убил бы Фокса, прежде чем он смог бы дойти до лагеря. Полное нервное отключение. Прошло.

Он спешит обратно к костру, делает чай и съедает пару батончиков мюсли. Его беспокоит девушка. Нора. Он думает, что он мог бы еще сделать.

Он начинает собираться, когда его зовет Хорри.

— Ты ведь в Брум, так?

— Да, — говорит Фокс. — Он на моем пути.

— Поехали с нами. Я и не понял, что ты идешь пешком. Мы уезжаем после обеда. Я хочу порыбачить в прилив. Любишь рыбачить?

Фокс кивает. Он думает об этом. Он хочет уйти прямо сейчас, но к тому моменту, когда он дойдет до шоссе и прождет там час под жалящим солнцем, они как раз и подъедут. Он вытягивает свою холщовую шляпу и соглашается.

Они с Хорри рыбачат в приливе, в поднимающейся жаре. Влажно. Воздух похож на бульон. Фокс забрасывает одолженную удочку. Он забрасывает крючок в облачную бирюзовую волну у скал.

— Есть заветная мечта? — спрашивает Хорри. Фокс не очень искренне качает головой.

— Я тоже думал, что у меня нет, — говорит старик. — Кроме как разве поймать ту барамунди на пятьдесят фунтов, за которой на север приезжает каждый мужчина. Везде я бывал. Моряк торгового флота.

— Я видел наколки, — бормочет Фокс.

— Но заветные мечты как-то сами на тебя наседают. Ты, может, догадался насчет Бесси. Почему она почти не встает. Сокращение, а? Придает тебе новый вид.

Фокс заканчивает тащить леску и зажимает крючок в руке. Он непонимающе смотрит на старика.

— Ты знаешь, о чем я, приятель?

— Нет, — признается он.

— Она уже на пути туда, сынок. Рак кишки. Это вроде как вышло из моды.

— О Господи!

— Я мечусь туда-сюда, хватаю всякую таблетку и яд, который они ей дают, но она и не собирается дать судьбе понять, что она сдалась. Ты знаешь, в ореоле славы. Она романтик. Ей хочется драмы. Хочется ей заехать прямо в сердце бури, вроде того. Что-то большое. Циклоны, закаты, красные реки в две мили шириной. Деревья, с которых свисают машины. Она хочет уплыть на край земли.

— Господи, Хоррй.

— Мне раз сказал русский парень. Сказал, что все мы умираем. Но вполне можно умереть с музыкой. Уйти красиво. Понимаешь, о чем я? Она хочет большой музыки, Лю. И на севере все это есть. Кимберли, приятель. Большая погода, большая рыба, большие расстояния — крупнее, чем в жизни. И вот моя мечта. Доставить ее туда. Потешить ее гордость. Просто уехать туда, что бы

там ни было, что бы ни случилось.

Фокс может только кивнуть.

— Ты ей понравился. Стихи и все такое. Только я прошу… понимания.

— Конечно.

— Она меня многому научила, да. Больше о музыке, чем о поэзии. Но я рад, что она может поговорить с тобой о стихах. Тебе нравится музыка, Лю?

— Ну…

— Приятель, эти русские!

— Русские?

— Похоже, клев кончился. Что, подхватываемся?

…По шоссе №1 они едут медленно. Старый «Ниссан-Пэтрол» — это ревущая жестянка. Он вздрагивает и трясется на укороченной колесной базе, его подвеска почти совсем разболталась, и с прицепом позади он не может ехать на высшей передаче даже по бесконечной плоской равнине. Бесс болтает о звериных инстинктах, о птицах и рыбах, о муравьях и об их коллективном сознании. Они слышат, как думают другие, говорит она. Я верю в это. Стайка рыб поворачивается, как один организм. Да, и стайка воробьев. Они резонируют. И мы тоже. Фокс думает о тех тер-

митниках. И да, он видел, как стая рыб ведет себя как одно живое существо. Тысячу раз. Но у Хорри на крохотной магнитоле играет Прокофьев или еще что-то, такое же жуткое. От этого у Фокса сжимаются зубы, и он с трудом слышит, что говорит Бесс. Бесс заставляет его подумать о своей матери. Она была менее сдержанна, и не такая красивая, какой он ее помнит, но кажется, что Бесс ищет связи между вещами, а не пропасти. Самое яркое воспоминание о матери, кроме исходившего от нее аромата ванили, — это то, что она воспринимала мир священным, соединенным, смешанным. Но он не может додумать эту мысль со всеми этими разговорами. И — Господи! — эта вгрызающаяся в него музыка. Когда старый грузовичок перегревается, ему это представляется милостью Божьей. Хорри обнаруживает, что у них порвался ремень вентилятора, и Фокс помогает ему закрепить разодранные половинки. Снаружи стоит потрясающая жара, которая, как кажется, усиливается с каждой милей. Пока в сиянии над головами протяжно зовут вороны, Фокс с Хорри наполняют радиатор. Когда они возвращаются в машину, Бесс просит Баха. Фокс узнает мелодию старого гимна — и как же она *ест* его! Он видит себя самого, мальчика в коротковатой пижаме,

на веранде. Запах горящих противомоскитных бухт. Он хочет только, чтобы музыка кончилась, прежде чем измучит его окончательно.

Бесс прикладывает платок к лицу.

Вскоре «Пэтрол» снова перегревается, и Хорри приходится выключить кондиционер, чтобы старичок мог ехать. Он решает, что его старый приятель Шостакович — как раз то, что нужно.

— Квинтет для фортепьяно! — орет он. — *Большая* музыка!

Фокс откидывается поближе к багажному отделению, изнемогая. Музыка такая зазубренная и навязчивая, и он меньше всего на свете хочет слышать ее, черт возьми, но взрывы струнных и фортепьяно суровы и неутешительны, как равнина розовой грязи снаружи, все эти тонкие, чахлые акации и красная земля.

Их обгоняют в порывах ветра машины и автомобильные поезда. Грязь цвета еды. Музыка, кажется, сдирает с него кожу. Фокс не может позволить, чтобы это продолжалось. Ему нужно укрыться, а не раздеться. С той ужасной ночи, в которой все, казалось, распалось на серию прыгающих, неясных моментов, и все были мертвы так неожиданно, и он хотел только, чтобы его оставили в покое, и музыка такая чертова задира, — с

той самой ночи не может быть ничего хуже этой музыки; она в конце концов раздерет его на куски. Его просто не хватает, чтобы вынести все это.

Бесс теперь корчится от боли. Хорри тормозит. Она ковыляет в заросли акаций, но растительности недостаточно, чтобы скрыть ее, и поэтому старик идет за нею и держит покрывало. Фокс отворачивается, изнемогает. Бесс возвращается в хорошем настроении, как у молоденькой девчонки, но ясно, что она скрывает расстройство и боль.

— Как у тебя с географией, Лю? Ну-ка мысленно проведи линию на восток прямо из этой точки. Через всю страну. И назови все, что встретится тебе по пути.

Фокс пожимает плечами.

Бесс выпаливает:

— Большая Песчаная пустыня, пустыня Танами, Теннант-Крик, плато Баркли, гора Иза, Чартерс-Тауэрс, все, что лежит между нами и Большим Барьерным рифом.

Он улыбается со всей возможной терпеливостью.

Она лихорадочно корчится на сиденье.

— Теперь литературный лакмусовый тест, — говорит она.

— Бесс, — говорит Хорри, вытирая ей лоб влажной тряпкой, поворачивая руль свободной рукой.

— Вирджиния Вулф.

Фокс морщит нос.

— А почему нет?

— Никогда не доверяй человеку, который не умеет плавать, — говорит он, радуясь тому, что, по крайней мере, музыка на минуту стихла.

— А Шелли?

— Тоже плохой моряк.

— Полегче, — говорит она. — Я вышла замуж за плохого моряка.

— Ой!

— Тогда Мелвилл.

Он кивает.

— Но эта поэма про акулу, Лю. Бледный пожиратель ужасного мяса — как же это звучит!

Фокс смеется, смущенный ее абсурдными речами. Она продолжает без него, оживленно, отвечая на собственные вопросы с дрожанием в голосе. Хорри смотрит на Фокса в зеркало заднего вида, и во взгляде у него отчаяние. Он засовывает в магнитолу Мусоргского, и Фокс сжимается в своем гнездышке из багажа.

Еще пару раз они останавливаются из-за Бесс.

Она садится на корточки за испятнанным покрывалом, кричит от боли.

Ближе к вечеру радиатор снова вскипает, и они останавливаются в узкой тени одинокого кровавого дерева. Когда Фокс выскальзывает наружу, чтобы помочь Хорри, Бесс ловит его за руку.

— Пловцы, — говорит она. Она дышит горечью ему в лицо. Она декламирует ему в лицо: –

А мертвецы? Лежат в своих гробах
Босые, точно в каменных челнах.
Окаменели больше, чем моря
Застывшие. И не хотят они благословенья.

— Господи, Бесс, — говорит он, вытирая ее плевки со щек.

— Энн Секстон. Знает Господь, ей-то уж пришлось поплавать.

Под капотом воет Хорри. Фокс стоит рядом с ним несколько секунд, потом трогает старика за плечо. Хорри отшатывается. Фоксу очень хочется столкнуть рюкзак в розовую грязь и попытать удачи одному, но вместо этого он достает жестянку с водой и помогает наполнить хнычущий радиатор.

Милосердие — Бесс спит.

— Побудь с нами несколько дней в Бруме, — говорит Хорри. — Ради Бесс.

Фокс облизывает губы. Спускается ночь. Они все ползут. Кажется, что они движутся не быстрее черепахи или вообще идут пешком. С сиденья Хорри поднимает кассету с Арво Пяртом. Они трясутся по неосвещенному шоссе. Вдалеке сверкает небо. Походные костры мерцают у дороги. Люди склоняются над едой. Их машины стоят на самой кромке поросли, а некоторые — почти целиком на асфальте.

— Там как в Средневековье, — говорит Бесс, оживая. — Посмотрите на них. Сразу вспоминаешь о пилигримах, купцах, беженцах, крестоносцах, сумасшедших. Ничуть не удивлюсь, если за следующим поворотом нам откроется Византия. Только поворотов-то и нет. Поверни эту дорогу, Хорри. Одним махом.

— Успокойся, родная.

— Арво, — говорит она, корчась от боли. — Я хочу Арво. Это музыка смерти. Арво в послеполуденной жаре.

— Бесс, родная…

— Не пугайся, Лю. Смерть уже задевала нас крылом.

— Нет, Бесс.

— А вот Джеймс Дикки. Раньше я его называла Джеймс Дикий, но этим он себя вполне искупает.

— Ради всего святого, женщина!

Старушка кричит:

– Я смываю с рук глину черную
В тусклом свете могилы,
Я склоняюсь пред живою луной
В самом сердце чужедальнего леса
И держу на руках дитя
Воды, воды, воды.

Лютер Фокс отшатывается от этого. Ему надо выбраться. Бесс засовывает пленку в магнитолу, и медленно, приливно, салон наполняется звоном колокола, и начинается нисходящий струнный аккорд. Что-то катится вниз с пугающей неизбежностью, насильственно, почти чарующе. Вниз. Ныряя. От этого по коже идут трещины. Так прекрасно, что от этого становится больно.

Колокол продолжает звонить, все звонит и звонит, поймав его в ловушку между небом и луной, которые принадлежат только ему, — на коленях, как последний человек, что слышит звук, с которым остальные ускользают в забвение. Ему по хрену, что это прекрасно; он хочет, чтобы это

кончилось.

К концу пыточных равнин Рубека он затыкает уши. Едва заметив дальние огни Брума, он начинает планировать побег. Никакая мольба, никакой всхлипывающий моряк не встанет у него на пути.

IV

В то лето нервные приступы готовки у Джорджи превратились в лихорадочные припадки, будто бы с помощью кухонной возни можно было выбраться из неуверенности. Даже Джим — а он поесть любил — начал вслух сомневаться, уж не напекло ли ей голову солнышком.

Однажды вечером, когда она, в одном бикини, готовила ризотто и получала кровожадное удовольствие от бесконечного перемешивания и подсыпания в клубах пара, Джим поднялся наверх, стоял и откровенно смеялся над ней. Смех ее испугал, вырвал из сосредоточенности. Она мрачно размышляла о Шовере Макдугалле.

Джим открыл рот, чтобы что-то сказать, и тут зазвонил телефон. Он обошел столешницу и схватил трубку.

— Эх, черт меня дери! — сказал Джим, немедленно приходя в восторг от голоса в трубке. — Давненько не слышал тебя, приятель… *Двоюродные,* не пытайся втереться в семью. Ты чего, хочешь нанять здесь пару узкоглазых, так?

Джорджи продолжала помешивать рис — он

наконец стал совсем однородным от всего этого перекатывания по сковородке, — и, пока рис впитывал последние капли соуса, она подумала, что надо бы добавить туда еще и оставшиеся в живых зубчики чеснока.

– *Что* он сказал? На что это будет похоже?.. Да? А вот это интересненько… Да, даже слишком правильно. Спасибо, что сказал.

Джорджи выключила газ и перемешала ризотто еще раз. Джим слегка отвернулся от нее.

— Может, и буду, — сказал он. — Да, у меня есть отличная мыслишка… Да, моя очередь платить. Увидимся.

Он повесил трубку; лицо у него было довольное, но все же недоуменное. Сейчас он казался таким молодым — совсем мальчишка, и красота его была какаято детская. Она улыбнулась этому.

— Хорошие новости? — спросила она.

— Дальние родственники.

Джорджи поджала губы. Родители Джима умерли, а братьев и сестер у него не было.

— Не знала, что у тебя есть родственники.

— По всему штату. Да что там, некоторые члены клана — главные овцеводы в округе. Только посмотри на это ризотто, — радостно сказал он.

Джорджи повернулась к тяжелой кастрюле. Это

и в самом деле было зрелище. Она почувствовала, как он поднимает бретельку ее купальника и целует ее потное плечо. От него пахло мылом и очень слабо — бензином.

— Я позову мальчиков, — промурлыкал он.

* * *

Джорджи уставилась на электронное письмо Джуд. «Мужчины убивают нас, сестренка».

Что ж, в этом, по крайней мере, больше смысла, чем в том, что она написала вчера. Отправив письмо в мусорную корзину и начав скитаться в мягком голубом свете Сети, она записала, что надо бы сегодня вечером позвонить Джуд. Снаружи, за стеклом и стеной кондиционированного воздуха, был жаркий, ясный летний день. На время каникул Джим отдал мальчикам ялик в полное распоряжение, и они шатались на нем туда-сюда по лагуне; в водорослях они ставили сети на крабов — каждая сеть уходила в воду из-под покачивающихся на поверхности пустых молочных бутылок. Дневной свет реял над Джорджи, как головная боль на грани сознания, а она пыталась выбраться в другой, не такой жестокий мир. Она набрала слово *медицина.*

Англичанка, отчаянно желающая стать ма-

терью. Чудодейственные лекарства от бесплодия. Господь награждает ее тройняшками из пробирки. И она отдает двух детей в приют… Австралийские власти высылают беременную беженку-китаянку, зная, что сразу по возвращении ее ребенка убьют с помощью зловещего, насильственного аборта на позднем сроке… Селезенка Киану Ривза выставлена на торгах на И-бее[21]… Президент Южной Африки заявляет, что ВИЧ не вызывает СПИДа.

Джорджи выключила компьютер. Ей надо выйти наружу.

…К моменту, когда мальчики поняли, кто это плывет к ним, их удивление уступило место тревоге, будто бы то, что она днем выползла на воздух и собиралась проникнуть на их территорию, уже было поводом для беспокойства. Джорджи подплыла прямо к ялику. Джош насаживал рыбьи головы на крючки, а Брэд сидел на веслах. Она отдала им честь. Она попросила разрешения подняться на борт.

Произошел быстрый обмен братскими взглядами. Разрешение было даровано. Очень серьезно, и все возражения остались невысказанными.

---

[21] Примечания: 21
И-бей (E-bay) — крупнейший электронный аукцион в Интернете.

— Мы крабов ловим, — сказал Джош.

— Отлично. Я за палубного.

Они медленно двигались вдоль сетей, вытягивая их и перенаживляя, тихо, пока осторожная вежливость мальчиков не исчезла. Они дали ей немного погрести. Не так давно они гордились и много хвастались тем, какая Джорджи отличная морячка и как ловко она управляется с сетями и спиннингом. Она не могла вспомнить, когда в последний раз стояла с ними бок о бок, забрасывая удочку на камбалу и мерланга. Как же она отстранилась ото всего за последние полгода! Она решила рассматривать это как отклонение от нормы. Это не должно определять остаток ее жизни; Джорджи этого просто не позволит.

Все крабы, попадавшие на борт, были мышастые самки. Мелкие, и ни одного самца. В середине дня Джорджи предложила отплыть подальше, половить кальмаров, и немедленный успех связал всех троих цепями товарищеской теплоты. Они весело раскачивали яркие крючки по краю водорослей и вытаскивали на поверхность кальмаров, плещущих и пускающих струей чернила. Скоро они хихикали и дразнились и были все перемазаны кальмаровыми чернилами. Они наполнили корзину. Они перемазали

друг другу лица. Когда подул бриз, они легли на спины и плыли, окруженные счастливым, скачущим гулом, и в конце концов зашли так далеко по заливу, что было бессмысленно грести обратно против ветра, — так что им пришлось вылезать на берег и волочь ялик по мелководью. Оказавшись напротив дома, они вытащили ялик на песок.

Джорджи помогала перевернуть ялик вверх килем, когда почувствовала, что у нее отваливается спина. Она с криком упала на песок. Боль была такая неожиданная и сильная — это как если бы у нее из поясницы выкусили здоровенный ломоть. Мальчики решили, что она все еще дурачится в духе прошедшего дня, но когда Брэд опустился рядом с нею на колени, он испугался ее слез. В нем сразу же появилась отцовская спокойная уверенность. Он заслонил ей лицо от солнца, подложил под щеку шляпу, чтобы не жег горячий песок, и, когда счел, что она готова, принял на себя обязанности по доставке ее перекособоченного тела по песчаной дорожке к дому.

День и ночь она пролежала в постели. Противовоспалительные лекарства не помогали, а кодеин-фосфат вызвал у нее запор, от которого парой чернослив не избавиться. Это было

унижение.

Пока Джим все ловил лангустов на глубокой воде, мальчики изо всех сил старались присматривать за ней. От Бивера они притащили кучу видеокассет с фильмами, которые считали подходящими для людей ее склада. Она страстно желала Кэри Гранта или Хепберн и Трейси, но ей пришлось удовлетворяться Джессикой Тэнди, Майклом Дугласом и Кевином Костнером. Она была благодарна уже за то, что они не позабыли про Мег Райан. В первый день они старательно смотрели кино вместе с ней, присев на краешек кровати, но вскоре уже только забегамли на минутку — проведать ее. Не прошло и нескольких дней, как оказалось, что им сложно устоять перед искушениями улицы, и они окончательно позабыли про нее.

Прошла почти неделя, улучшений не наступило, и Джим предложил отвезти ее в город для лечения. Но Джорджи не хотела и слышать об этом. Она сказала, что не хочет отрывать его от моря на целый день в горячий сезон, особенно когда лангусты ушли на глубину, но на самом деле она просто не могла и помыслить о четырех или даже пяти мучительных часах в машине. В конце концов она согласилась, чтобы ее закинули

к Рэчел. Ходили слухи, что Рэчел Нильсам умеет делать массаж.

Когда она подошла к двери в тот вечер, Рэчел видимо удивилась. Даже была поражена. Но быстро оправилась и пригласила их войти; Джим отказался и оставил их на пороге. «Дети», — сказал он.

Рэчел провела ее по своему скромному дому к высокой кушетке, покрытой батиком. Джорджи не смогла раздеться сама. Это было ужасно. Она чувствовала себя ребенком, хрупкой старушкой. Она до самого конца не осознавала, что ей придется раздеться догола. Когда она лежала на кушетке, у нее горело лицо. Она повернула голову к стене. Рэчел пробежалась пальцами по позвоночнику Джорджи. Дом был наполнен музыкой. В голове у Джорджи крутилась только одна мысль: в любую минуту кто-то может войти.

— Да у тебя здесь спазм, Джорджи. Давно это с тобой?

— Не знаю. Несколько дней.

— Ты должна была позвонить.

— Я об этом даже не подумала. Если честно, с самого начала меня слегка пристукнуло, а потом я просто думала, что оно вроде как пройдет, если я не буду его трогать. Как тебе такое решение

проблем? Господи, что за лето!

— Да. Мне жаль. Я слышала о твоей маме. Слушай, я положу на это место компресс. Сейчас там слишком воспалено, чтобы что-то делать. Утром я попробую выпрямить тебя.

— Да уж, хотелось бы. А что за компресс?

— Ну, да ты же знаешь. Крабовая горчица, яйца ежа-рыбы, безымянный палец португальского матроса и пот со лба Шовера Макдугалла.

— «Нью эйдж» приходит в Уайт-Пойнт.

— Пара старых хорватов во Фремантле научила меня. В основном льняное масло.

— Я думала, ты делаешь расслабляющий массаж, — сказала Джорджи.

— И вступаю в соревнование со «Свон бруэри»?[22] Ты с ума сошла, женщина?

Джорджи рассмеялась.

— Я слышала, ты социальный работник.

— А я слышала, что ты медсестра. Так. Поднимайся. Таз держи на столе.

— Господи!

— Еще раз.

— Ты надо мной издеваешься.

— Да уж, наверное, больно; а ты как хотела?

---

[22] Примечания: 22

«Свон бруэри» — крупнейший производитель пива в Австралии.

Джорджи рухнула на кушетку в приступе смеха. Что-то звякнуло неподалеку.

— Микроволновка, — сказала Рэчел, удаляясь. А потом: — Лежи спокойно. Горячо?

Компресс твердым распространяющимся теплом лег на узел в пояснице, и было до странности приятно чувствовать, как Рэчел прикрепляет его к коже пластырем. Джорджи позволила помочь ей одеться. Перевязка напомнила ей о корсетах, и она подумала о матери — снова.

— Я сниму его утром, — сказала Рэчел. — Просто лежи на жестком и не нагибайся. Тебе придется быть поосторожнее.

— Да я вообще осторожный человек, — сказала Джорджи, которую переполняла самоирония.

— Да уж, — сказала Рэчел, не сумев подавить усмешку. — Так говорят. Черт, не могу поверить, что я это сказала.

— А что еще ты слышала? — спросила Джорджи, стараясь казаться спокойной.

— И только подумай, у меня же степень по общественным наукам.

— По вещественным наукам?

— Я уползаю в скорлупу, Джорджи. Твоя жизнь — это твоя жизнь.

— Но ты все равно могла бы мне сказать, — ска-

зала она, чувствуя задор и понимание.

— Ну, это просто сплетни.

— В таком случае это должна быть чистая правда.

— Пошли. Отвезу тебя домой.

На следующее утро Рэчел приехала за ней. «Лендровер» с жесткой подвеской оказался настоящей пыточной камерой. Рэчел вела машину босая, и ее высокий лоб сиял. Волосы были забраны в конский хвост, с которого все еще капала вода, — она недавно плавала.

— Знаешь, — сказала Джорджи, — я всегда удивлялась, чем это занимается Джерра.

— Кроме купания в моей любви, имеешь в виду? — сказала Рэчел с ухмылкой. — Он музыкант. Пишет песни.

— Нет!

— Да.

— В Уайт-Пойнте?

— Это не запрещено законом. Пока.

— Я его все время вижу на пляже с доской для серфинга, — сказала Джорджи. — И я всегда…

— Думала, что он местный торговец наркотой.

Джорджи рассмеялась. Этого она не могла отрицать.

— Все так думают, — сказала Рэчел. — Смех ка-

кой! Наркота развалила все ансамбли, в которых он был. Наркота — его пестуемая ненависть. Он себя теперь считает большим любителем вина. Повезло нам.

— Так у него все в порядке?

— Джорджи, только не удивляйся.

— Ну? Не томи.

— Ладно. Ты смотришь на девчонку, которая разговаривала с Ван Моррисоном.

— Господи, и что же он сказал?

— В этом-то все и дело, — сказала Рэчел, заворачивая во двор. — Понятия не имею.

Джорджи позволила Рэчел помочь ей выйти из машины. Они вошли в дом медленно, как две старушки. Рэчел снова раздела ее и положила на кушетку. Она сорвала пластырь двумя резкими движениями. Джорджи начинала ощущать, что ее роль пациента — это некий экзамен.

— Джерра играл с Фоксами пару раз, — сказала Рэчел. — Просто для смеху.

— Я их никогда не слышала, — сказала Джорджи без выражения.

Наступила серьезная пауза.

— Я всегда удивлялась тебе, — тихо сказала Рэчел. — Удивлялась, зачем ты приехала сюда.

Джорджи лежала.

— И теперь я не могу понять, почему ты остаешься. Ты понимаешь… после собаки.

— Вещи не всегда такие, какими кажутся, — сказала Джорджи. — Как ты наверняка знаешь.

— Да. Конечно.

— Но?

— Иногда они еще хуже, чем кажутся.

— То есть, Рэчел?

— Ну, он в прошлом был страшным человеком.

— Ну, это все разговоры.

Рэчел вздохнула.

— Все равно, — сказала Джорджи. — У людей есть право оставить прошлое позади.

— Согласна. Совершенно.

— Так в чем проблема?

— В том, что все остальные помнят. Ну, вставай.

Джорджи поднялась, встав правым боком к стене, слегка прикасаясь к ней голым бедром, а Рэчел тем временем оперлась на нее. Она почувствовала, как хрустнул позвоночник, когда Рэчел прижала бедро к стене, и взрыв боли прошел через тело. Джорджи покрылась по?том, подумала, что сейчас упадет в обморок или ее вырвет, но момент прошел, и боль утихла, и через десять минут осталось только легчайшее остаточное

покалывание. Самое удивительное было то, что спина выпрямилась.

— Как ты этому научилась?

— Как и всему остальному, — сказала Рэчел, разливая ромашковый чай. — Я научилась этому тогда, когда предполагалось, что я должна делать что-то еще.

— Джим не убивал собаку, Рэчел.

— Это он так говорит.

— Так говорят. Даже Бивер.

— Говорят. *Говорят*, черт возьми! Иногда я ненавижу этот город.

— Так почему *ты* не уезжаешь?

— Не знаю. Он не на большой дороге. И Джерре нравится тишина — ну, впрочем, мне тоже. Это нам спасло шкуру в некотором смысле. И потом, тут все-таки *есть* несколько хороших людей. И тут так чертовски красиво — пляжи, дюны, остров. Даже… дикари… не могут это до конца разрушить.

— Это Шовер убил собаку, — сказала Джорджи. — Верь мне.

— Да чему тут не поверить? Ты видела флаг, который он повесил у себя в саду?

— Да. Я этого не понимаю. Он же не ветеран войны, или как?

— До чего ж ты наивна, Джорджи. Это из-за Лоис.

— Что — австралийский флаг?

— Патриоты. Так эти люди теперь называют себя. Заворачиваются во флаг. Ты не обращала внимания на наклейки на бамперах в этом городе? Не замечала, что здесь полно темнолицых ребят? У Эвис есть *мнения* по поводу иммиграции.

— О Господи!

— Какая ирония, а? Без Азии этот город бы через неделю закрыли.

Джорджи подумала о Шовере Макдугалле. Так вот кем он себя видит — патриотом, единственным защитником старых добрых времен.

Пока пили чай, через кухонное окно они наблюдали за сыном Рэчел — Сэмом. Вызолоченный солнцем, без рубашки, он торжественно стоял на коленях в шортах в цветочек и наващивал доску для серфинга. Волосы упали ему на лицо.

— Шестнадцать, — сказала Рэчел.

— Он красивый.

— Иногда я даже не могу поверить, что он мой. Пошли, отвезу тебя домой.

По пути назад, пока Джорджи наслаждалась избавлением от ужаснейшей из болей, Рэчел

свернула возле пристани и вывела «Лендровер» на пляж, чтобы постоять некоторое время и посмотреть на лагуну, которая все еще лежала неподвижно, готовясь к яростному утреннему ветру с востока. Джорджи чувствовала, что Рэчел хочет продолжить разговор.

— Ты знаешь, я всего пару раз встречалась с Лю Фоксом, — сказала Рэчел.

— Да? — без выражения пробормотала Джорджи.

— Джерра говорил, что его брат — хитрец и что у него обкуренный вид, что бы это ни значило. Ему было на него наплевать. И он считал, что та женщина, его жена, была слегка недалекая. Они мне всегда казались странной парой. Но они могли играть. Они вроде как были самородки. И на самом-то деле они не так часто и играли, не так часто, как можно вообразить, особенно если учесть, как хорошо они играли. Они шатались по округе, никогда не забирались больше чем на час езды от дома. Они вполне могли бы и записываться, знаешь ли, они были достаточно хороши.

— А Лю?

— Говорила с ним однажды на стоянке возле пивной. Было холодно. Весной, кажется. У него под брезентом в грузовичке было двое детей. Эти

бедные дети. Я помню, как он к ним наклонялся, пел им. Потом я видела его с девочкой. Она его обожала, думаю. Он укладывал ее спать с тем выражением на лице, какое бывает у кормящих грудью женщин. Ты знаешь, такое мечтательное, удовлетворенное, слегка вызывающее выражение.

— Вот уж впечатление.

— Ну, — сказала Рэчел робко. — Я тогда выпила. Кажется, я ждала чего-то другого. Из-за всех этих историй, из-за того, что говорили люди об этой семье. Я думала, он окажется слегка двинутым. Но он был забавный и умный. Он спросил меня, знаю ли я слова к «Милости Господней»[23]. Я, конечно, провалилась. Мы говорили о том, как выращивать спаржу. И о какой-то книге, которую он читал. Я забыла, какую… Он хороший, Джорджи.

— Ну, его больше нет, — сказала Джорджи, вытаскивая себя из этого. — А ты замужем.

Рэчел хрюкнула от смеха.

— Да, за чертовым наркобароном.

---

[23] Примечания: 23
Народная песня, в основе которой лежат церковные гимны.

* * *

Через несколько недель, спасибо Рэчел, спина Джорджи вернулась в нормальное состояние. Начался учебный год, и дом снова остался в ее полном распоряжении. Если честно, по многим пунктам она чувствовала себя возродившейся. Из благодарности и пытаясь завязать дружбу, она пригласила Рэчел на чашку чая. Она испекла булочки и нашла в местном магазине ромашковый чай. Она не могла дождаться возможности пересказать Рэчел последнюю серию фамильной саги Ютлендов. Сам КС, получивший круизную яхту, которую оставила ему бывшая преданная жена, решил отдать ее вероломной дочери Джорджи — ради старых добрых времен. Джорджи действительно не понимала своего отца. Но она четко ощущала нарастающий бунт в семье. Она, конечно, отказывалась от подарка. Дважды в неделю обычной черепашьей почтой он просил, чтобы Джорджи приехала и посмотрела яхту, но она стояла твердо. Она начинала — и приходилось себе в этом признаться — наслаждаться ситуацией.

Когда приехала Рэчел в кожаных сандалиях и летнем платье без рукавов из бледно-зеленого

хлопка, Джорджи с краской в лице выставила свое скромное угощение; но Рэчел, у которой был нетерпеливый и очень занятой вид, похоже, даже ничего и не заметила. Джорджи думала: уж не потому ли, что Джерра на этой неделе был в Лос-Анджелесе? Она вдруг поняла, что совершает такой просто светский акт, как приглашение подруги на чай, впервые за три года. Господи, какой же одинокой, какой неуверенной она стала!

— Давно ты видела Бивера? — спросила Рэчел, разглаживая платье ладонями.

Джорджи покачала головой в приступе вины и разлила чай.

— Вчера вечером, — сказала Рэчел, — я к нему заходила, хотела взять посмотреть кино, и у бензоколонки стоял туристский автобус. Ты знаешь такие. Полный япошек, которым нужна машина. Знаешь, как это бывает. Целый день шатаются по дюнам, думая, что здесь у нас дикие края.

— Бедные засранцы, — сказала Джорджи. — Хотят живого лангуста, которого им обещали в туристском проспекте.

— В любом случае я на велике. А водитель подкачивает шины, и я вижу этих трех ребят, местных, лет по двенадцать, во дворе у Бивера. И они выписывают кренделя. Ну, в смысле, кружат

вокруг автобуса. И я подъезжаю поближе и вижу эти лица в окнах, эти широкие глаза. И на стеклах куски окалины, и никто не выходит из автобуса, а водитель просто качает себе и качает, как будто ничего не происходит. Они видят меня, эти ребята, две девочки и мальчик, и просто смотрят на меня, и все. С вызовом. А в конторе — Бивер и Лоис. Выглядывают. Дети уезжают. И я подхожу к двери, а Бивер мне говорит, что закрыто. Вот так. Даже не стал со мной разговаривать.

Джорджи все это очень ясно себе представила, вплоть до лиц детей, до потрескавшихся под солнцем губ, и знала, как все будет. Одетые, как белая рвань, в модные фасончики, с крысиными хвостиками, и на огромных «Би-Эм-Эксах»[24], заржавевших от того, что они ездят на них по приплеску. Гордый продукт общества.

— Почему он не выпроводил их? — спросила Джорджи в смятении. — Бивер же здоров, как шкаф.

Рэчел посмотрела на нее. Джорджи почувствовала, что ее проверяют.

— Джорджи, он боится. Проснись. Он не может и пальцем тронуть этих ребят. Подумай только,

---

[24] Примечания: 24
BMX — марка дорогого велосипеда.

чьи они. И положение Бивера.

— Что это за положение такое?

— Джим тебе никогда не говорил?

— Не говорил мне чего?

— В полиции на него досье длиной отсюда до Бразилии. Вооруженные ограбления, в основном с нанесением тяжких.

— Никто мне не говорил. Никто.

— Вот я и вижу.

— Так что там за история, Рэчел?

— Банда байкеров, — сказала та. — Он стал свидетелем обвинения. Групповое изнасилование. Но дело развалилось. И теперь у кучи народу есть кое-что против него.

— Никто об этом вслух не разговаривает, — сказала Джорджи.

— Не все знают. Но важные люди знают. Они знают.

— Рэчел, а откуда знаешь ты?

— Я встречала его в тюрьме, — сказала она. — Та моя другая карьера, помнишь? Я была — предположительно — социальным работником в управлении исправления преступников. Но никто из нас не признает собственного прошлого.

— Господи, почему же он тогда живет *здесь?* Разве ты бы на его месте не похоронила себя в ка-

ком-нибудь городе? Здесь он на открытом месте.

— Его отец в шестидесятых рыбачил здесь. Может быть, здесь емууютно. И просто догадка образованного человека, но, кажется, Бивер помнит кое-что из старых времен. В этом городишке куча мерзких секретов, Джорджи. Знать кое-что по мелочи о горожанах — это как вклад в банке, так? Это объясняет, почему он чувствует себя в безопасности.

— Ну, как я понимаю, ты много об этом думала.

— Да уж, время у меня было.

— Старые добрые времена, — горько пробормотала Джорджи.

— Не думаю, что он томится по ним. По своим старым временам или по чьим-то еще. Думаю, что он просто хочет новой жизни, тихой жизни. Все равно что-то я сомневаюсь, что старые добрые дни остались так уж далеко в прошлом, как может показаться. Господи, только посмотри на этот вид. Джим, наверное, должен чувствовать себя королем всего, что он видит.

После ухода Рэчел Джорджи была встревожена и подавлена. Было что-то колючее в Рэчел, что-то бо?льшее, чем левацкая паранойя, в которой Джорджи ее подозревала. Все время Джорджи чувствовала, как в Рэчел поднимается раздраже-

ние. Утро не удалось.

Она пошла к лагуне искупаться. Воздух был сух и горяч, а вода роскошна.

Когда она вернулась домой, на автоответчике было сообщение от Энн. Джудит в больнице. Была сцена. Боб рассудительно отвез ее куда-то в благоразумное место. Джорджи это место знала.

Сначала она позвонила Джиму, а потом Рэчел, которая согласилась забрать мальчиков из школы в три. Потом она позвонила сестрам, но натыкалась только на секретарей или автоответчики. Она чувствовала неестественное спокойствие, и это ее волновало.

Бивер, наполняя канареечного цвета «Мазду» неэтилированным, был очень краток. Она хотела спросить о вчерашних событиях, но его угрюмого взгляда оказалось достаточно, чтобы она сдерживалась, пока он не захлопнул крышку бака и не вернул ей ключи.

— Бивер, Рэчел рассказала мне о прошлом вечере и тех ребятах.

— Уже лучше, — сказал он. — Она сдристнула.

— Лоис? Нет!

— Знать бы мне. Так жену не стоит заводить. Это недостойно.

— Эти маленькие ублюдки.

— Вернулась к миссис Палмер и ее пятерым дочерям.

— Она была хорошая, Бивер. Она мне нравилась.

— Вот и мне тоже, — горько сказал он.

— Это так ужасно.

— Не волнуйся, — сказал он. — Переживешь.

Джорджи отъехала, глотая слезы. Ее недавнее спокойствие исчезло. Она уже скучала по нему.

Больница была недалеко от реки и, как сказала Энн, очень благоразумная. Это было учреждение, которое члены семей пертского истеблишмента использовали для избирательных процедур и частных недель просыхания. После сумасшедших, нефункционирующих учебных госпиталей, где Джорджи проходила подготовку, атмосфера этого места показалась ей до удивительности вялой. На сестринском посту, по крайней мере, не было никого, кто рыдал бы сестре в плечико, это уж точно.

Когда Джорджи наконец позволили зайти к Джуд, она поняла, что сестра выглядит очень утомленной. Ее кожа приобрела восковой оттенок, губы потрескались. Когда они обнялись, Джорджи показалось, что Джуд стало меньше, чем было.

— Выкачали меня, — хрипло сказала Джуд.

— Что? — спросила Джорджи, отстраняясь, чтобы посмотреть ей в лицо.

Джуд смотрела на свои руки.

— Выкачали мне все внутренности, — захрипела Джуд.

— Ты что-то выпила?

— Все. Горло болит.

— Господи, Джуд, когда?

— Во вторник? Вчера.

Джорджи снова обняла ее. Она оцепенела от шока, от самой мысли.

— Вот оно. Я официально признана сбрендившей.

— Нет, ты просто несчастная.

— Слабая.

— Нет.

— Слабая.

— Джуд.

— Это *ты* сильная.

Джорджи выдернула пару салфеток из коробочки на тумбочке.

— Я сегодня думала о маме, — сказала Джуд. — Вспоминала тот вечер, когда они оба были одеты для торжественного ужина, помнишь? Мама в этом облегающем розовом платье с декольте,

помнишь? И мы, в наших платьицах, смотрим, как она спускается с лестницы, такая красивая. И папа говорит, поясничая, углом рта: «Полный свет, никого дома нет». Но такой *красивый* свет. Джорджи, мне же не померещилось?

Джорджи покачала головой, прижала влажные салфетки к ее рту.

— Видишь, — сказала Джуд. — Я вышла замуж за отца.

Внизу, в холле, спустя полчаса Джорджи палила очередью обозленных звонков. Почему ей раньше не сказали? Что это за секретность, ради всего святого? И как они думали с этим справляться? Но, даже гавкая и бесполезно жестикулируя, она думала о себе, о своем собственном невнимании, о неспособности прочитать яснейший из знаков.

Перед отъездом она позвонила отцу; это была почти запоздалая мысль. Его секретарь сказал, что тот во Фремантле, что через сорок минут он отплывает на остров Роттнест и что Джорджи может поймать его по мобильному. Отвечая на ее звонок, старик не лукавил. У него был такой обеспокоенный голос. Могут ли они встретиться?

Джорджи понадобилось полчаса, чтобы добраться до пристани для яхт. Отец и Грета были на причале в роскошных костюмах для яхтенного

спорта. Грета была так накрашена, что Джорджи решила, что косметика для нее — все равно что солнцезащитный крем. Белые ноги старика шелушились. Они трое неловко поцеловались.

Не успела Джорджи приступить к разговору, который, конечно же, должен был касаться непосредственного будущего Джуд, старик сунул ей в руки кипу бумаг. Это были регистрационные и страховые документы на судно под названием «Последний адрес». Бумаги были уже на ее имя. Джорджи посмотрела на отца. Лицо у него все перекосилось от удовольствия.

— Покатай нас как-нибудь, — сказал он, ступая на палубу большого белого «Бертрама», моторы которого, как она сообразила, все это время уже работали.

Грета клюнула ее в щеку и, лучась эмоциями, о которых Джорджи могла только догадываться, отдала швартовы и ступила на палубу. Мачеха. Грета помахала, все еще сияя, и, когда яхта отвалила от причала и повернулась, Джорджи увидела пышно написанное на корме название: «Итоговое дело». Господи. Почему уж не «Расчетные часы»?

Глядя, как они скользят от пристани, Джорджи пришлось признать, что он любит ее. Она видела

это в его ухмылке. Кроме мужской спеси, там *была* любовь. Но такая, что сбивала ее с толку. За этими годами раненых взглядов было задиристое неподчинение; и все же никогда это не было очень личным или даже просто личным. Его преданность была неестественно стратегической. Последние несколько недель он пытался этим подарком выказать свою привязанность, а Джорджи ее отвергала. Она чувствовала, что отец очень старается что-то сделать; она почти ощущала себя виноватой. Но вот она, холодная суть: даже при полном напряжении ему нужно было что-то замышлять, ухищряться и затем выигрывать. Джорджи знала, что ей *оказали услугу.* Дар был вручен так, будто это была повестка в суд или иск. Хитрая западня. Даже в отцовской любви — великая игра. Служить, угрожая. Вот его представление об услуге. Это была любовь.

У яхт-клуба Джорджи направили к доку; направлял бойкий молодой матросик, который все не отводил взгляда от ее ног. «Последний адрес» стоял на клиньях и раме, его киль был отдраен до блеска.

— «Жанно», — сказал паренек. — Отличное судно.

Это был «Сан Одиссей»[25]; Джорджи знала дизайн.

Сорок футов сияющего кевлара чудных обводов, со стройной, низкой крышей рубки. Кокпит был просторен, несмотря на разделенную рубку и двойные рули. Мачта, лини, сталь — все сияло. Это была настоящая мечта; на этой яхте можно было плыть куда хочешь.

— Почти и не плавала, — сказал паренек. — Цимес. Интересуетесь судами?

— Только моими собственными.

— А у вас есть?

— Да, — сказала она, указывая на яхту.

— Е-мое, — сказал он.

Это прозвучало как приглашение.

Джорджи прошла по бетонированной площадке к конторе, нашла брокера и через двадцать минут уже продала судно.

Когда Джорджи снова увидела ее — не прошло и часа, — Джуд была в замешательстве. Ее прежняя чистая грусть исчезла. Казалось, она медленно всплывает из какой-то счастливой мечтательности, когда Джорджи подошла к ней, но уже через несколько секунд Джуд овладело возбуж-

---

[25] Примечания: 25
«Жанно», «Сан Одиссей» — марки яхт.

дение. Уже приступив к делу, Джорджи знала, что это вызовет неловкость, но она чувствовала настоятельную необходимость положить чек на покрывало рядом с рукой сестры. Несмотря на поспешность продажи, это все равно были большие деньги.

— Ты можешь уйти от него, Джуд. На эти деньги ты можешь купить себе дом где-нибудь подальше от него. Найди адвоката, все, что понадобится. Ты не застряла в этой ситуации, поняла? Когда тебе полегчает, ты можешь уйти. Бери Хлою. Живи своей жизнью.

— Но это воровство, — сказала ее сестра, потрясенная. — На нем твое имя.

— Я с этим разберусь, сестренка. Господи, да проще простого.

— Нас поймают.

— Джуд, я принесу тебе другой чек. Забудь, что видела этот.

— Я не могу забыть! — заорала Джуд.

Надушенная медсестра появилась в дверях.

— Пожалуйста, — взмолилась Джуд, обращаясь к сестре. — Скажите ей, что я не могу забыть.

Джорджи свернула оскорбительный чек и ушла, не дожидаясь приглашения.

* * *

Два раза за ту неделю Джорджи ездила в город повидать сестру. Она уезжала в девять, когда мальчики уходили в школу, и возвращалась каждый раз задолго до трех часов. Джуд была похожа на безумную; у Джорджи разрывалось сердце, когда она смотрела на сестру.

В субботу она взяла с собой Брэда и Джоша. Им нужна была обувь. К их ужасу, сначала она отвела их в научный музей, а потом оставила ждать в холле больницы, пока навещала Джуд. Это были угрюмые, унылые полчаса. Она не поднимала денежного вопроса — отношение Джуд иррационального образом испортилось за прошедшие дни, и чек теперь завис на банковском счете Джорджи непонятной суммой.

Возвращаясь домой — день был длинный и сонный, — она обернулась, проезжая мимо фруктового киоска. Над деревьями за поворотом поднимались клубы дыма. Мальчики заволновались, показывая пальцами.

Это была пыль, а не дым.

Повернув, они увидели ребенка, который бежал вдоль дороги, спотыкаясь на голеньких ножках. В кювете была машина.

Джорджи затормозила и остановилась.

— Я знаю, кто это, — сказал Брэд.

— Оставайся здесь, — сказала Джорджи. — Не выходи из машины. У вас будет чем заняться через минуту, ты меня понял? Когда я приведу ее, вы будете держать эту девочку, говорить с ней и не давать ей вылезти из машины.

— Жарко, — сказал Джош.

— Это Шарлотта, — сказал Брэд.

Джорджи щелчком врубила аварийные фары и побежала за всхлипывающей девочкой вдоль по дороге, пока не ухватила ее за руку и не отвела обратно. Рука и одежда девочки были в крови, но, скорее всего, не в ее собственной. Она выглядела лет на девять; она вся похолодела от шока. У мальчиков были белые лица, когда Джорджи открыла дверцу «Мазды».

— Привет, Шарлотта, — робко сказал Джош.

Девочка икнула. Она неподвижно сидела между мальчиками, которые смотрели на нее, не отводя глаз. Джорджи закрыла дверь и перевела дух.

Машина на той стороне дороги перевернулась и снова встала на колеса. Она застряла в известняковой крошке в кювете, и кузов весь погнулся. Вся передняя дверца со стороны шофера была залита кровью. Голова с черными кудрями све-

шивалась из раскрытого окна.

Джорджи подергала дверцу со стороны пассажира, но она помялась, и открыть ее было невозможно. Стекло было опущено; Джорджи просунула голову внутрь; ее тошнило от ужаса.

— Эй? — сказала женщина за рулем.

Джорджи втиснулась в окно, пролезла через стекло и камни на сиденье и ухватилась за стойку, чтобы успокоиться. Лицо женщины было покрыто запекшейся кровью, и его не было видно, потому что подбородок был прижат к плечу. И волосы. Кожа была поднята со лба настолько, что эти черные кудри казались не на своем месте. Глаза женщины были закрыты и покрыты коричневой коркой, и кровь стекала в ложбину, образовавшуюся между грудью и коленями. Блузка поблескивала от крови.

Она прошептала что-то, чего Джорджи не смогла разобрать.

— Что вы сказали? Машина? Черт с ней, с машиной!

— Шина, — сказала женщина. — Пропорола шину.

Джорджи подобралась ближе, думая, что все не так страшно, просто слишком много крови, и тут увидела руку женщины. Правая рука. Из

нее торчала кость. Мышца превратилась в извитой кусок мяса и сухожилий. Кажется, когда все произошло, ее локоть лежал на окне; весь вес машины прокатился по этой руке. Она уже стала красновато-коричневого цвета. Плохо.

— Шарлотта? — спросила женщина.

— Она в моей машине. С ней все в порядке. С ней все хорошо. Был еще кто-нибудь?

— Нет.

— Вы отлично держитесь, — сказала Джорджи, пытаясь овладеть собой, пытаясь обрести обычную уверенность, которую она раньше могла излучать по девять часов на дню. Она в ужасе смотрела на руку, замечая, как с нее постепенно уходит цвет. Сосудов, из которых хлестала бы кровь, не было видно. Джорджи осмотрелась вокруг, пытаясь найти в этом беспорядке хоть что-нибудь, что могло бы послужить жгутом. Застряв в окне, Джорджи выпуталась из лифчика под майкой и завязала его над локтем, где плоть собралась в складки, как дутый рукав. Женщина взвизгнула, но не потеряла сознания, и, когда она сменила позу, с ковшеобразного сиденья послышалось жуткое хлюпанье натекшей крови.

Кажется, подъехала и остановилась машина. «Господи, — подумала Джорджи, — пусть это

окажется кто-нибудь, кто знает, что надо делать! Пусть они возьмут все на себя, пусть они со всем разберутся».

Успокаивая раненую женщину, обещая, что вернется через секунду, она вылезла наружу.

Рядом остановилась женщина в серебристом «Паджеро». Она была то ли потрясена, то ли слишком осторожна, потому что окно опустила только через несколько секунд.

— О Господи! — сказала она. — Вы в порядке?

Со всем спокойствием, которое только смогла из себя выжать, Джорджи велела женщине вызвать по сотовому «скорую», спросить «скорую» из Уайт-Пойнта, потому что он ближе, развернуться и ехать назад в Уайт-Пойнт, забрав детей, которые сидят в той машине через дорогу. Они покажут ей, куда их отвезти.

— К придорожной пивной, да, станция техобслуживания. И езжайте, езжайте быстро!

Забравшись обратно в окно, Джорджи увидела, что женщина за рулем все еще в сознании, но трясется и ее рука посерела. Она подсчитала, что «скорая» приедет через полчаса в лучшем случае или через сорок пять минут, если все пойдет наперекосяк, — пока там разыщут дежурных добровольцев. Отсюда девяносто минут

до ближайшей городской больницы. Рука уже стала историей. Единственное, на что Джорджи оставалось надеяться, так это на то, чтобы она не умерла, чтобы они довезли пациентку до города живой.

«Паджеро» отъехал в грохоте переключаемых передач.

Джорджи подумала о том, чтобы вытащить женщину наружу и пересадить в веселенькую машинку. Это займет полчаса, и эти полчаса ей не надо будет тупо ждать. Но все правила запрещали это. Джорджи знала, что кровотечение начнется вновь в ту же секунду, как только женщина пошевелится, и что она, возможно, впадет в клиническую смерть еще до того, как Джорджи затащит ее в «Мазду».

Она перегнулась через рычаг передач и склонилась, чтобы снова взглянуть на руку. Как раз под плечом, на суставе, сочилась кровь. Рана, которую она раньше не заметила. На ране лежала одна грудь женщины. Та навалилась на дверь всем весом. Отсюда-то и была вся кровь. У женщины открылся магистральный сосуд, и она упала на руку; Джорджи похолодела. За кюветом, в зарослях акации, трещали цикады.

— Я пишу левой рукой, — сказала женщина.

— Ну, это знак того, что нам сопутствует удача, — сказала Джорджи, думая, не удастся ли перетянуть сосуд шнурком от ботинок. Джорджи придется найти сосуд и перевязать его, если женщина начнет терять сознание. Шансов ничтожно мало.

— Мальчики с вами?

— Простите?

— Джоши учится в одном классе с Шарлоттой.

— С ней все в порядке, — сказала Джорджи рассеянно. — Правда, с ней все хорошо.

— Не дайте мне умереть, Джорджи.

— Вы не умрете. Ребята приедут с минуты на минуту.

— Эта дорога — канава.

— Любая дорога — канава, когда сидишь вверх тормашками в машине, — сказала Джорджи.

«Продолжай с ней говорить», — подумала она.

— Она несчастливая, эта дорога. Эта семья. Эти люди.

— Шарлотта, — сказала Джорджи вслух, пытаясь вспомнить одноклассницу Джоши.

В обезображенном и покрытом кровью лице этой женщины не было ничего знакомого.

— Пес.

— Все хорошо.

— Он не должен был этого делать. Мне очень жаль.

— Все в порядке. Помощь скоро приедет.

Женщина задышала глубже. «О Господи, — подумала Джорджи, — вот оно, она сейчас умрет». Но у женщины, кажется, прояснилось сознание.

— После смерти Дебби, — прошептала она, — Джим потерял всякую гордость, знаете ли… Мой Гевин всегда смотрел на него и его отца с уважением. О, Большой Билл, вот *он* был… Есть стандарты, Джорджи.

— Извините, разве мы знакомы?

— Я Эвис.

— Эвис? Макдугалл?

— Стандарты.

Джорджи подтянулась и села на сиденье наискосок от раненой женщины. Господи, как же ей, наверное, больно! Это *была* Эвис Макдугалл, но ее черты были неузнаваемы. Она подумала о несчастьях, которых желала всем этим людям.

— Только подумайте о наших детях, которым не найти работы, когда вся эта страна так… *азиатирована.* Вот что я имею в виду… И нет чести, Джорджи. Так раньше не было.

Джорджи сидела. Она будет это слушать. Какую бы мерзкую чушь ни порола Эвис, она не остано-

вит ее. Какой смысл спорить и какое право есть у тебя вправлять кому-то мозги, когда этот кто-то умирает?

— Эти Фоксы. Они были вульгарны. И воры. И наркоманы.

— Эвис…

— Но с собакой получилось неправильно… Тебе не надо было быть с ним, Джорджи. Ты осрамила Джима Бакриджа.

Джорджи подумала о ночи, когда она возвращалась от Лю. Белая машина, выруливающая из двора Джима. Это та самая машина. Это Эвис прибежала к Джиму.

— Кажется, вы следили за мной, Эвис.

— Моя совесть чиста.

— За исключением собаки.

— Да, — сказала женщина, и из-под кровяной маски послышались всхлипывания. — За исключением собаки.

Джорджи сидела и смотрела, как плачет Эвис Макдугалл. Она держала ее за здоровую руку. Рука была холодна. Джорджи молилась, чтобы эта женщина не умерла. Она молилась ради себя самой.

— Прости, — прошептала она. Эвис. Кому угодно.

Вой сирены раскатился по бахчам.

* * *

В тот вечер Джорджи была слишком потрясена, чтобы готовить. Телефон беспрерывно звонил. Она оставила звонки на откуп Джиму. Мальчики были взволнованы дневными событиями; она послала их купить пиццу, и они вчетвером ели на террасе, пока солнце садилось в море.

— Я тут слышал, что ты сегодня отлично справилась, — сказал Джим, когда мальчики утянулись смотреть телевизор.

Было похоже, что он по-настоящему впечатлен, но в то же время он, очевидно, забавлялся. Эвис Макдугалл выжила, и ходили слухи, что и руку тоже удастся спасти.

— Добавила блеска моей репутации, — сказала Джорджи.

— Да, особенно хорошо смотрелся эпизод с лифчиком.

— Я наложила жгут не в том месте.

— Ты спасла ей жизнь.

— Людей вроде Эвис так просто не убьешь, — сказала она без убежденности.

— У тебя усталый вид. Эта фигня с Джуд. Ты себя так в могилу вгонишь.

— Это не *фигня.*

– И ты взаправду продала яхту?

Джорджи кивнула. Небо со стороны моря горело, как лесной пожар на горизонте; еще один закат, потерянный день.

— Ты, должно быть, ненавидишь отца, — пробормотал он.

— Нет, — сказала она. — Я его люблю.

— Понимаю.

— Расскажи мне о *своем* отце.

— Как-нибудь в другой раз.

— За три года этого раза ни разу не случилось, Джим. Знаешь, первый год я думала, что это горе. А потом я поняла, что *мне* ты не хочешь рассказывать.

— Пусть его, Джорджи. У тебя был трудный день.

— Я ничего о тебе не знаю.

— Я тут думал о том, чтобы съездить куда-нибудь в конце сезона, — сказал он. — Я расстался с идеей поехать на Мальдивы. Индонезия — это чертова свалка. На Фиджи постоянно идет война. Я подумал о Бруме. Поудить там в море. Я хочу поймать эту сорокафунтовую барамунди, пока я еще не слишком стар, чтобы забросить удочку.

Джорджи посидела некоторое время, пока

слово не отпечаталось у нее в мозгу. Она лихорадочно подсчитывала расстояние между ними, это неизменное молчание. Брум?

— Почему Брум? — спросила она.

— Ну, я же сказал. Барамунди. Знаешь, июль на севере и все такое. В это время там не очень влажно. Сиди себе на Кейбл-Бич и пей дайкири.

— Ты же не пьешь дайкири.

— Кроме того, можешь познакомиться с моими двоюродными.

— В Бруме?

— Они ныряльщики за жемчугом в основном. Половина семьи оттуда.

— Но ты никогда…

— Так вот теперь и сказал.

— С чего это ты вдруг?

— Тут на днях позвонил брательник. Просто идея.

Джорджи пошла к Биверу. Он закрыл заправку и сидел на задах своей свалки. Его глаза и жестянка пива блестели в свете, идущем из задней двери, но лицо было в тени.

— Эй, где это ты научилась так лихо обращаться с лифчиком? Смотрела «MASH»[26]?

---

[26] Примечания: 26
Популярный американский сериал о военно-полевом госпитале.

Джорджи ощупью добралась до него. Он сидел на погнутой дверце «Камри» Эвис Макдугалл. В жаре можно было учуять запах крови.

— Шовер хочет, чтобы эту штуку взяли на экспертизу. Он подозревает заговор. Саботаж.

— Чушь, — сказала она со смехом.

— Такие ходят слухи. Хочешь пива?

Джорджи отказалась. Она не могла заставить себя усесться на «Камри», так что ей пришлось опереться спиной на другую глыбу, почти не видную во мраке.

— Я ни черта ни о ком не знаю, потому что я такая эгоистка и совершенно не любопытная, Бивер, или потому, что никто мне ничего не рассказывает?

Смех Бивера был хриплым.

— Хочешь мое честное мнение или поцелуй в задницу от личного поставщика?

— Правду.

— Правда в том, что и так, и эдак.

— Вон чего!

— Никто не ожидал, что ты останешься. Что трепаться с проезжим? И потом, ты всегда держалась в сторонке. И, признайся сама себе, ты из другого мира.

Джорджи подумала, но решила с ним это не

обсуждать.

— Эвис считает, что Джим помягчал. Что он изменился после смерти Дебби. Правда?

— Это теория.

— Как он изменился? Она говорит об этом так, будто он помудрел.

— Так говорят.

Джорджи решила помолчать несколько минут. Она закидывала удочку, а Бивер не заглатывал наживку.

— У всех нас есть свои сожаления, — пробормотала она.

Бивер смял жестянку.

— Да, — сказал он. — Хотелось бы мне быть великим. Я никогда, черт побери, с этим не смирюсь.

— Я серьезно, Бивер.

— Нет, не серьезно. Для таких, как ты, прошлое — просто такое место, в котором странно бывать. Вот какие там сожаления. Некоторые люди… ты представить себе не можешь, Джорджи.

— Потому что я ходила в частную школу? С серебряной ложкой во рту?

— И потому, что ты женщина.

— Это все чушь, и ты это знаешь.

— Некоторые мужчины, — зашипел он, — неко-

торых не *раздражает*, что? они делали раньше. Они не *мучаются* своим прошлым. Они, черт побери, в ужасе от того, чем они были. И они боятся, что могут оказаться тем же человеком, которым были когда-то.

— Ты… так ты говоришь о себе?

Бивер горько рассмеялся и отшвырнул жестянку. Она упала в темноту.

— На самом деле, — сказал он, — я говорю о Джиме Бакридже. Иди домой, Джорджи, у меня от тебя голова болит. Я только что пережил первый день в качестве покинутого мужа. И не собираюсь я сидеть здесь всю ночь и разбираться с твоими маленькими проблемками. Думал, ты пришла подбодрить парня.

— Ты думаешь, он изменился?

— Боже, дай мне сил!

— Ладно-ладно, ухожу.

— Соображаешь!

Но Джорджи не могла уйти.

— Нет, — сказала она. — Я должна знать.

— Черт! Спроси себя саму — могут люди меняться?

— Просто скажи мне, изменился он или нет.

— Ну, — наконец сказал Бивер, — что-то с ним случилось. Как ты там сказала — люди сожа-

леют.

— И это твой ответ? — закричала она.

— Господи, Джорджи. Почему ты не уходишь? Почему?

— Потому же, почему и ты, думаю я. Думала, что это тихая жизнь. Я решила, пусть у меня будет что-то вместо ничего.

— Не сравнивай себя со мной, девочка, — горячо сказал он. — Ты-то можешь ехать куда захочешь. Вот, например, прямо сейчас я не против, чтобы ты пошла домой и оставила меня в покое.

— Извини.

— Вот они, снова твои чудовищные сожаления.

В ту ночь Джорджи никак не могла успокоиться. Вид сестры, испытание на обочине дороги, сдерживаемая ярость Бивера не давали ей уснуть, и она подумала о сердитых понуканиях Рэчел за день до того и об этом ползучем сомнении, в котором она застряла. Она была утомлена, но не могла так оставаться и знала, что несколько порций водки не окажут желаемого эффекта, пока она лежит так в темноте. В конце концов от отчаяния она сдалась и приняла слабое успокоительное.

Когда она проснулась на следующее утро, Джима уже давно не было.

Было воскресенье. Она пила кофе, пока мальчики готовили ялик к поездке за крабами. Они, кажется, почти не расстроились, что Джорджи не поедет с ними. Когда они без приключений выбрались в лагуну, она пошла в кабинет Джима и начала искать.

Это была крохотная, душная комната. Окно, выходящее на город и крутые белые дюны, никогда не открывалось. Хотя кабинет примыкал к их спальне, Джорджи редко заходила туда — только чтобы прибраться. Она знала, что раньше в этой комнате шила Дебби. До приезда Джорджи в Уайт-Пойнт Джим работал за столом в гостиной, но потом переместился сюда. Здесь был сосновый стол, шкаф с бумагами, розетка для ноутбука и несколько низких книжных шкафов. Стены были голые. Это мало походило на логово, в котором имел обыкновение прятаться ее собственный отец. По контрасту это было совершенно утилитарное место. В комнате не было ничего, что могло бы взбудоражить любопытство Джорджи. Она уселась в бежевое вертящееся кресло и посмотрела на шкафы. Тома по кораблестроению, управлению рыбными ресурсами, метеорологии. Альманахи, справочники по приливам, несколько романов вроде «Вердикта», «Костров

амбиций», «К востоку от Эдема». Какие-то военные мемуары Рэя Паркина. Какая-то штука под названием «Рыцари бусидо». «Восставшие мертвецы».

Она чувствовала себя неуютно, просматривая бумаги. Ей было тревожно даже просто находиться здесь. Бумаги были самые обычные — страховые и банковские свидетельства, переписка с Ассоциацией рыболовов. Ничего интересного. Но она удивилась, когда поняла, что ящик стола заперт. Джорджи поискала ключ под подоконником и под притолокой, но ничего не нашла. Она пошла в спальню и открыла тумбочку возле кровати Джима. Ее поразило то, что? она делает. Какую же благоразумную, обособленную жизнь они ведут! Похоже было, что для них обоих Джорджи оставалась в этом доме гостьей.

В стеклянной чаше рядом с таблетками от изжоги и парой маленьких пуль лежал ключ.

Джорджи пошла в гостиную и осмотрела лагуну. Мальчики ставили сети на крабов.

Она открыла ящик стола. Он был не больше коробки для рубашек. Там лежала во много раз свернутая хлопчатобумажная блузка. Сорок четвертого размера. От нее пахло только деревом. Под нею лежала зеленая книга. Когда Джорджи

открыла ее, она поняла, что это англиканский молитвенник. В книге не оказалось никаких особых пометок. Ветерок, который поднимали переворачиваемые страницы, пах сосной; он веял прямо в лицо Джорджи. Потом она нашла два листа бумаги, скрепленные ржавой скрепкой. На страницах были имена. Пишущая машинка глубоко вдавила буквы в бумагу. Имена были, кажется, японские.

В глубине ящика обнаружилась папка на молнии. Через пластик были видны два зуба. Молочные зубы — наверное, мальчиков. Джорджи улыбнулась и положила папку обратно. Кончики пальцев нащупали что-то мятое — еще бумага. Еще и не расправив ее на столе, Джорджи уже знала, что это. На бумаге были пятна от еды из кухонного ведра. Марка с баобабом. Штамп Брума. Внутри конверта бумага все еще была цвета молотого красного перца. Она положила конверт Лютера Фокса в ящик и заперла его.

V

Фокс устраивается на постоялом дворе в Бруме, пока циклон, пришедший с моря Тимор, катится над городом. Горячий, гулкий дождь, который начался через час после его приезда, отрезал все дороги. Молнии изливаются с неба под грохот бури. Поднимается ветер, но воздух все равно плотен и сыр. Фокс спит. Теперь он застрял, и его одолела усталость. Он просыпается то от грома, то от воплей дерущихся пьяниц, но сон его без сновидений.

Однако на третий день беспокойство овладевает им. Циклон, кружась, улетает прочь, чтобы исчерпать себя в пустыне, но прибрежная равнина залита водой.

Фокс идет по легендарному городу с его китайскими лавками, с проржавевшими стальными витринами и пальмами. Пляжи покрыты красными пятнами от потоков смешанной с землей воды. Моросит дождь, но все равно чувствуется, что за спиной города — пустыня. При отливе мангровые ручьи становятся не шире дождевых канавок. В их илистых устьях застряли лодки

ныряльщиков за жемчугом. Туристов, похоже, не осталось. Лица под шляпами — красные, желтые, черные. Дети переходят вброд центральные улицы. Стены, испятнанные красным, размашисто исписаны японскими иероглифами. За портовой пристанью и кофейного цвета заливом чернеет небо. Он почти уверен, что наткнется на Хорри и Бесс. Они, должно быть, застряли, как и он. Он в ужасе от этой перспективы.

Он покупает кипу карт и расстилает их на полу своего номера. В глубине материка лежит Великая Песчаная пустыня. Дальше на север материк выглядит как разбитая тарелка — сплошь острова, как надкрылья насекомых, и изогнутые устья рек; а за этой одинокой грядой простираются сталкивающиеся горы и реки, которые существуют только в сезон дождей. Места, которые он с трудом может даже представить.

С самого Уиттенума у него нет цели — только туманный позыв. На север. Он может отправиться к северной оконечности материка — через Северные территории и в Квинсленд. Потом спуститься по восточному побережью, если захочет. Но дорога излечила его от страсти к путешествиям. Он хочет одного: нырнуть где-нибудь в лес, чтобы не кружить по окраинам Уайт-Пойнта,

как одичавший пес. Если хочешь, чтобы тебя оставили в покое, — убирайся. Иди куда-нибудь, где чисто. Туда, где есть еда и вода, чтобы не шататься по окраинам, чтобы выжить. Туда, где ты можешь быть один, совсем один. Без дорог, без городов и ферм — без чертовых людей. Просто уйди за деревья. Эта мысль бродила где-то в его сознании уже много дней, забиваемая разговорами, проклятыми проблемами других людей и его собственной нечувствительностью. Меето, где он может быть совершенно один, — дикая природа. И вдруг неожиданно это место оказывается на карте как раз под его пальцами. Он помнит его из атласа, он помнит, что ему рассказывала Джорджи. Вот это место. Вот туда и надо стремиться.

Он доезжает до аэропорта и идет в контору по чартерным рейсам. Пока он ждет, что кто-нибудь появится в комнате, он обозревает висящую на стене огромную карту района. Рядом с ней какой-то идиот повесил карту Ирландии, площадь которой не сильно отличается по размерам. Рядом с ней прикреплен монтаж, в котором площадь Западной Австралии считается в площадях Франции.

— Смешно, а? — спрашивает пилот, появляясь в дверях.

Обвисшие шорты придают ему тщедушный вид. Фокс тянется и показывает пальцем залив Коронации.

— Можете вы полететь туда?

— В такую погоду никуда я полететь не могу, приятель. Все под водой. Кроме того, это вне пределов нашей досягаемости, если не заправляться по пути. И я же сказал: все полосы залиты водой. Уже несколько дней.

Рука Фокса соскальзывает с карты. Кондиционер ревет.

— А как насчет самолета-амфибии? — спрашивает он, переводя взгляд на фотографии, демонстрирующие скромный парк авиакомпании.

— Уткнулся носом в пол ангара, друг.

Фокс поджимает губы. Пилот смотрит на него, видимо заинтересовавшись шелушащимся лицом и ободранными ногами.

— Рейс здесь сто?ит чертову кучу денег, приятель.

Фокс пожимает плечами.

— Но если тебе надо и ты не прочь подождать, мы можем тебя туда забросить через несколько дней.

— Я подумаю, — говорит Фокс.

— Поставлю тебя на очередь.

— Ну…

— На всякий случай. Вдруг тебе повезет. Где ты остановился?

Фокс дает ему адрес постоялого двора над заливом.

— Имя?

Фокс медлит.

— Бакридж, — говорит он.

— Да ты что! Тут всё ими кишмя кишит.

— Да, так мне и сказали, — говорит Фокс, направляясь к двери.

В тот вечер он ест манго с дерева во дворе и подслушивает разговор о том, что дорога на Дарби будет открыта на следующее утро. Аромат гвоздичной сигареты висит над верандой. Фокс собирает вещи. Перед тем как лечь спать, он садится написать письмо Джорджи Ютленд. Он чувствует необходимость объясниться, но с карандашом в руках не может разобраться в своих чувствах. Когда она была в комнате, когда воздух пах ею, у него появился странный проблеск надежды — у него был целый день надежды. Но это ушло, и он может заполнить дыру только старой целеустремленностью. План, стратегия. И может быть, когда он устроится на месте, каждодневная рутина. Но как это сказать? Как это объяснить?

Он счищает грязь со своих пожитков и смотрит, как она сыплется на пол, точно приправа. Он наклоняется и собирает пыль в конверт. Берет щепотку.

Выйдя на запруженную грязью улицу, он звонит из телефонной будки. Ждет, пока кто-нибудь в Уайт-Пойнте не возьмет трубку. Тихий, хриплый голос.

— Джорджи?

Но это голос ребенка. Он вешает трубку.

Утром он едет на север в пятитонке по шоссе № 1 вместе с кучей аборигенов. Рядом с ним среди свернутых спальников и коробок с едой распростерлись пятнадцать человек. Все помалкивают. Грохот автомобиля и шум дороги не дают поговорить. Двое ребятишек робко и любопытно поглядывают на него. Беззубый старик предлагает ему хлебнуть из бутылки с теплой фантой. Он отказывается.

Они пересекают вздувшуюся Фицрой-Ривер по мосту Виллар. Реку слышно даже за грохотом грузовика. Деревья и туши животных то и дело всплывают из бурлящего розового потока. Река разлилась по всей пойме.

На какой-то пересекающей шоссе грунтовке застрял в грязи полуприцеп, его водитель примо-

стился на капоте, сворачивая себе самокрутку.

Земля поблескивает желтым, оранжевым, красным. Белые какаду поднимаются в угольно-серое небо. Чахлые деревья. Грязь. Загоны для скота.

По мере приближения к Дерби у дороги все чаще и чаще появляются баобабы. Их гладкие стволы сияют после дождя. Они стоят такие толстые и так близко, и Фоксу они кажутся несообразными и милыми, как стоящая вдоль дороги толпа, — плечом к плечу, сплошь задницы и шляпы на солнце.

Старик с фантой наклоняется к уху Фокса.

— Этот парень, — говорит он, показывая на большой узловатый баобаб с ветками, похожими на распухшие от ожирения руки, — прямо как моя хозяйка.

По грузовику прокатывается взрыв хохота, будто это старая шутка. Женщина в кабине грозит пальцем.

На взлетной полосе Фокс находит открытый ангар; какой-то мальчик выкатывает двухместный самолет на позицию. Фокс спрашивает о чартерных рейсах, и его направляют в контору. Им займется Сопатый. Сопатый появляется в дверях, седоволосый мужик в выглаженных шортах, рубашке со значком и эполетами и в резиновых

шлепанцах. Он всасывает воздух через зубы, когда Фокс спрашивает о заливе Коронации. Они идут посмотреть на карту. Пилот указывает на ближайшую взлетно-посадочную полосу. Она находится высоко на плато в глубине материка. Или так, или на вертолете, и, пока половина ферм под водой, у них нет лишней машины. И к тому же, говорит Сопатый, он не вертолетчик.

— Сколько? — спрашивает Фокс. — До плато?

— Тысяча баксов.

Фокс отсчитывает купюры.

— Господи, да тебе и правда туда надо, приятель. Тебе не нужно сразу платить, знаешь ли.

— Я хочу сегодня, — говорит Фокс.

— А назад?

— В одну сторону.

— Ну, ты начальник, — говорит пилот, которого все это, видимо, забавляет. — Только вот бумажки оформим.

Фокс отсчитывает еще сотню долларов.

— Визгун! — кричит пилот. — Заправляй старушку!

— Мне надо кое-что купить в городе.

— Давай помогу. Накормлю тебя обедом.

Фокс покупает сушеные продукты, фляги, репеллент, свечи, солнцезащитный экран, за-

жигалки, противомоскитные бухты, некоторые лекарства, чтобы пополнить свою аптечку, легкое мачете, несколько тридцатикилограммовых мотков лески, крючки, блесны и брезент, сложенный до размеров газеты. Потом он выбирает складную удочку и к ней легкую катушку. Они кажутся хрупкими, но все остальное, что продают в магазине, слишком громоздкое или тяжелое, чтобы носить с собой весь день.

— У тебя проблемы, сынок? — спрашивает Сопатый за обедом.

— Только если ты не умеешь вести самолет.

Снаружи мужчины и женщины толкают тележки, забитые пивом. Они смеются и орут. Некоторые обмотаны бинтами.

— День выдачи пенсии, — говорит Сопатый. — К ночи они будут рвать друг другу глотки.

Фокс вгрызается в остатки своей бараньей отбивной и механически поглощает ломтики картофеля и подливку. Он чувствует, что объедается. В баре пахнет табачным дымом, горящим маслом и подмышками.

— Тебя там кто-нибудь ждет, старина?

— Нет.

— Есть коротковолновый передатчик?

Фокс качает головой.

— Мда, — говорит Сопатый. — Доедай.

Они закладывают виражи над мангровыми деревьями и илистыми берегами рек. Огромная дельта источена сетью ручейков и приливных складок, и там, где Фицрой впадает в Кинг-Саунд, вода приобретает цвет молочного шоколада. Под низкими облаками они поворачивают на северо-восток, в глубь континента, и Фокс видит, как стара и потрепанна земля, как испещрены морщинами равнины — как кожа старухи, видит жировики, шрамы и открытые раны. Равнины, по которым разбросаны редкими пятнами акации, превращаются в устремленный ввысь беспорядок песчаниковых гряд, где реки бегут к морю, как зеленые порезы. Вся жесткая геометрия исчезает; ни дорог, ни оград, просто сумбур цвета. На горизонте вырисовывается зубчатое, задыхающееся в островах побережье.

— Видно было бы лучше, — говорит Сопатый по внутренней связи, — если бы Визгун помыл чертовы окна. Аборигенский жир.

— Что-что? — спрашивает Фокс, прижимая наушники покрепче к ушам.

— Местный пассажир потеет, и в результате здесь все как бараньим жиром полито, — говорит пилот. — Приходится его отскребать со стекла.

Аборигены — наши основные клиенты. Любят полетать за копейку налогоплательщика. Нормально, а?

Они забираются через грозовые тучи вверх, к яркому солнцу. Через три часа они протискиваются вниз, и Фокс видит огромный зеленый бинт плато над длинным заливом. Взлетно-посадочная полоса — розовый крестик. Сопатый ныряет вниз и кладет машину на одно крыло, чтобы проверить состояние поверхности. Полоса, похоже, мокрая по краям.

— Вот сейчас и посмотрим, — говорит пилот, когда они взмывают над верхушками деревьев и разворачиваются по ветру, чтобы приблизиться.

«Такое зеленое», — думает Фокс.

После посадки они выгружают скромные пожитки Фокса буквально за несколько минут.

— Надеюсь, ты захватил зонтик, — говорит Сопатый. — Это плато — самое мокрое место во всем штате. Пятнадцать сотен миллиметров в год — это метра полтора…

Фокс разбирает вещи, обдумывает, не упаковаться ли заново, чтобы было удобнее нести и разумнее распределить вес. Его рубашка уже насквозь промокла от пота.

— Думаю, придется мне вернуться за тобой, —

говорит Сопатый. — Так или иначе. Не думай, что я не видел таких, как ты. В конце концов всегда начинаются поиски. Все равно, кто ты такой: ученый там, беженец, двинутый на дикой природе или просто Господа донимаешь. Все равно все кончается одинаково. Хочешь передать со мной кому-нибудь весточку?

Фокс качает головой.

— Я даже имени твоего не знаю.

— Бакридж.

— Даже это имя не вытащит тебя из здешнего дерьма, старина. Это та самая ложка дегтя в здешней бочке меда. Здесь ты сам по себе.

— Да, — говорит Фокс, почти веря в это.

Он не смотрит, как самолет разбегается и взлетает. Он становится на колени в грязь и перекладывает поклажу. Его руки трясутся. Фокс находит шляпу и зеркальные очки и несет все к стене деревьев. В тени пушистой полевички[27] он расстилает карту. Она уже размокла во влажном воздухе, и компас прилип к ней.

На карте обозначена тропа от взлетной полосы вниз по плато, к морю. Этот пунктир обескураживает.

---

[27] Примечания: 27

Пушистая полевичка — несмотря на название, довольно крупное растение.

Фокс прикидывает, что до темноты сможет пройти пару часов. Он собирает поклажу и взваливает ее на плечи.

Через пять минут пот почти ослепляет его, и колея, по которой он идет, исчезает в высокой траве. Ему приходится определять направление по ощущению колеи под ботинками, и он пробирается через траву. Кузнечики, бабочки и жуки врезаются в него, застревают в зубах и волосах, залезают в рубашку, покрывают слоем рюкзак и спальник. Поднимающиеся из травы веерные пальмы, гладкокорые эвкалипты и кровавые деревья словно извергаются птицами, когда он приближается. Небо в складках грозовых облаков.

Через час с небольшим Фокс почти падает. Его словно освежевали, вся кожа исколота пыреем. Песчаниковый отрог перед ним обещает первое повышение высоты. На карте показаны череды гряд, разворачивающиеся в сторону моря. С этой скалы Фокс сможет осмотреться. Ему хочется выбраться наружу из всей этой дикой растительности. Он смотрит на отрог и направляется к нему. И тут на вершине появляется человек. Фокс продолжает идти. Человек все еще остается там, когда он приближается.

— Кажется, я слышал самолет.

— Это я, — говорит Фокс, задыхаясь.

Он смотрит на парня. У того темная кожа, и он бос. У него черные волосы до плеч, в них проскальзывают седые пряди. Армейские шорты велики ему и свисают с бедер под блестящим безволосым брюшком.

— Заблудился, а?

— Нет, — говорит Фокс, вытирая лицо рукой.

— Уверен?

Фокс пожимает плечами.

— Из ученых?

— Нет.

— Из правительства?

— Нет.

— Специалист?

— Нет.

— Из юристов?

Фокс улыбается и качает головой.

— С шахт?

— Не я.

— Ну, тогда и не со станции.

Фокс вынимает бутылку с водой:

— Нет.

— Ну, так ты и не абориген, — говорит парень с хриплой усмешкой. — Это уж точно.

В чертах этого человека проступает что-то во-

сточное, но акцент у него аборигенский.

— Сколько отсюда до побережья? — спрашивает Фокс, собираясь отпить воды.

Он предлагает человеку фляжку, но тот делает вид, что не замечает.

— Целый день, если короткой дорогой. Только ты лучше по свету иди. А то давай к нам! Лучшее место.

— Не хочу навешивать на вас лишние проблемы.

— Похоже, у тебя у самого проблемы.

— Нет.

— Мензис, — говорит человек, протягивая руку с желтой ладонью.

— Фокс. Лю Фокс.

— Тогда пошли.

Мензис смотрит на поклажу и, кажется, размышляет, не предложить ли помощь, но потом просто поворачивается и показывает дорогу. Фокс колеблется, но в конце концов следует за ним. Вес всего снаряжения на спине впивается ему в пятки. Становится еще труднее, когда они спускаются вниз по гребню и приходится наклоняться, чтобы пройти под низкими ветвями деревьев.

Корни. Заплесневелый мусор. Глина цвета топленого молока. У зазубренного края красного

каменного прохода они забираются вверх, хватаясь за лозы и корни инжира, чтобы не упасть. Они оказываются на открытой площадке, окруженной кремнистыми каменными террасами, на крохотной площадке грязи, где стоит хижина из веток, увенчанная брезентом, как тент в шапито. Фокс с Мензисом подходят к дымящемуся костру. Молодой, худой чернокожий выходит из-за уступа террасы. На нем одни голубые футбольные шорты.

— Это мой приятель Аксель, — говорит Мензис. — Робкий малый. Хороший парень.

— Привет, — говорит Фокс, выпутываясь из своих пожитков.

— Этот парень — Лю Фокс, — говорит Мензис.

— Летающий Фокс.

— Не задирай его, Аксель.

– Дьин бунамбун.

— Ну да, да. Ты его видишь. Отлично его видишь. Ставь котелок.

— У тебя есть пиво? — спрашивает Аксель.

— Извини, — говорит Фокс. — Чай, кофе.

— Чай у нас есть, — говорит Мензис. — И не надо тебе никакого чертова «Эму экспорта».

Глаза Акселя вонзаются в полуотвернутое лицо Фокса. Он, кажется, старается не улыбаться.

Мензис засовывает поклажу Фокса под брезент, пока мальчик наполняет котелок из пластиковой канистры.

— Хорошее место, — говорит Фокс.

Мальчик кивает. Его волосы спутаны. Колени приобрели цвет песчаника, а ноги широкие и мозолистые.

— Долго вы здесь, парни?

— Всю жизнь, — говорит Аксель. — Завсегда.

— Пару сезонов, — говорит Мензис, сгибаясь, чтобы пошевелить ветки в костре. — Приходим и уходим, знаешь ли.

— Это…

— Наша земля? — Мензис неестественно пожимает плечами. — Не знаю. Сирота я. Ну, так монашки говорили. Был когда-нибудь в Новой Норсии?

Фокс не может не улыбнуться, кивая.

— Все эти ребята — нунгары, вонгаи. Но взгляни только на меня. Я наполовину китаец. Думаю, моя мать была из барди[28]. Кто знает? Они, эти монашки и священники, они толком и по-английски-то не говорили. Ничего мне не сказали! — говорит он скорее потрясенно, чем горько.

---

[28] Примечания: 28

Нунгары, вонгаи, барди — названия племен австралийских аборигенов.

— Это *моя* земля, — говорит Аксель.

— Может быть, — говорит Мензис, дипломатично пожимая плечами.

— Вот-вот.

— Может быть. Все может быть. Бери мясо, парень.

Аксель подскакивает и в умирающем свете дня направляется к канавке. Фокс изучает Мензиса и никак не может понять, что его так беспокоит. И тут он видит, что у старика нет пупка.

— Интересно, а?

— Ну…

— Может, шкурой заросло. Что-то в этом роде. Им, монашкам, это не нравилось, это точно. Не давали мне все лето рубашку снимать. А они, дети? — говорит он с хриплым веселым смешком. — Никто не дрался с желтолицым парнем без пупка. И вот Аксель, он тоже. Ходит за мной, как собачка, как только увидел. Несет всякую чушь.

— Аксель. Это немецкое имя. Он из миссии? Из лютеранской?

Мензис косится на него.

— Ну да, Аксель значит «стержень». Ось. Он этим очень гордится. Единственное, что он может написать, бедняга. Но дурачок, знаешь ли. Немного странный. Режет себя, чтобы быть как

я. Чуть ли не три пупка себе вырезал! Нашел его по дороге на Калумбуру. Он пас там стада. Просто вышел из леса на наш лагерь весь такой расстроенный и больной, говорил, что побывал на островах и ходил вверх по побережью, искал там старых, прежних людей. У него было совершенно разбито сердце. Думает, что там все еще есть незлобивые, робкие прежние люди. Которые живут по-старому, понимаешь? Живут правильно, все еще прячутся от белых. Думает, что они *ждут* его там, бедный сумасшедший засранец. Ох, Лю, он всех достал! Все эти сумасшедшие разговоры и злость. Они думали, что он нюхает бензин или что там… Им не нужны были проблемы — ни церковникам, ни правительству. Так что я его подобрал. Пошли с ним к Карунджие, Холлс-Крик. Но с ним проблемы. Все эти языки, на которых он говорит, знаешь, немножко на вунумбал, немножко на нгарунгами, выучился у какого-то белого парня. Вроде все нормально. Но он неправильный абориген.

— Неправильный? — говорит Фокс.

— Никогда не исполнял закон, видишь ли.

— Инициация.

— Вот-вот. Ни народа. Ни страны.

— А ты?

— Я? Я принадлежу Иисусу Христу. Нравится или нет. Как они тебя раз искупают, так ты навечно — их. Все равно. Никакому другому ублюдку меня не заполучить.

Аксель появляется из сгущающегося закатного мрака с глыбой кровавого мяса; она свисает с его плеча, как седло. Фокс пьет свой черный чай, от которого кривится рот, а эти двое разводят костер и режут мясо на мраморные дольки и жарят их на углях.

Они едят поодаль от костра, где прохладнее, и в наступившей темноте пламя — единственный источник освещения.

— Говядина, — говорит Фокс.

— Утром убили.

— Паф, — говорит Аксель, подражая ружейному выстрелу.

Фокс размышляет над иронией того, что он оказался среди собратьев-браконьеров. Мензис объясняет, как они живут дарами леса, когда под рукой не оказывается скота, как Аксель гордится тем, что умеет охотиться на варанов и птиц, умеет подстрелить случайного крокодила и разнюхивать лакомства вроде сотов из ульев местных пчел. Он знает все ягоды, у него инстинкт, хотя Мензису больше по душе говядина, пресные ле-

пешки и чай, — поэтому-то они и стоят лагерем на краю плато. Тут поблизости есть вода, и иногда случается какой-нибудь искатель приключений на колесах, которого надо спасти от него самого в обмен на драгоценные продукты. Фокс спрашивает, не бывает ли им одиноко, и Мензис смеется. Акселю, говорит он, плевать на девчонок, но им бы обоим хотелось заиметь нескольких собак, с которыми можно спать вповалку ночами. Мензис признается, что однажды был женат. Называет все тюрьмы, в которых сидел. Он путешествовал гораздо больше, чем Фокс.

Мензис поднимается на ноги и роется возле хижины, а потом разгорается свет, и Фокс ощущает запах керосина. Мензис спотыкается, и что-то со звоном падает на землю; он ругается, чуть не уронив лампу.

— Сегодня особый случай, — провозглашает он, ставя лампу рядом в грязь.

— На что ты там наткнулся?

— Да гребаная гитара.

— Моя, — говорит Аксель.

— Любит побренчать, — говорит Мензис. — Но горюет. Не может ничего сыграть, она расстроена. Это его убивает. Ужас.

Аксель идет к хижине и возвращается с деше-

вой корейской гитарой, которая сплошь покрыта мучнистой росой, но все еще блестит от потрескавшегося на солнце лака. Он двумя руками протягивает гитару Фоксу, а тот ставит ее на ботинок и крутит за гриф. Он прижимает гитару к своей пропотевшей рубашке и быстро настраивает. Струны стали пушистыми от коррозии. В его пальцах появляется странное ощущение непорочности.

— Играй, — говорит Аксель.

— Э…

Аксель и Мензис выжидающе смотрят на него с открытыми лицами, полными надежды.

— Какую музыку хотите? — спрашивает он.

— «Слим Дасти», — объявляет мальчик.

Фокс играет «Пивную без пива», а они подпевают, и слова, кажется, совсем не те. Ему все равно; он ненавидит эту песню. Но они продолжают тихо напевать, присев на корточки, их глаза задушевно прикрыты, а в небе вспыхивают молнии. Когда песня кончается, Аксель испускает глубокий вздох.

Все молчат. Фокс еще подстраивает гитару и начинает наигрывать скорбную ирландскую мелодию, просто чтобы заполнить тишину, чтобы скрыть, что разволновался. Начало ме-

лодии тянется, как резина, но потом музыка овладевает им. Он берет аккорды и чувствует, что его начинает отпускать, когда он ощущает наросты ржавчины под пальцами, когда понимает, что мелодия с каждым новым аккордом как бы предлагает сделать ее еще изысканнее; и когда он завершает круг, он не может остановиться, ему приходится продолжать, на этот раз гораздо увереннее, сплетая еще более сложный гобелен. Чувство уходит, но он никак не может остановиться. Он переходит к регтайму в той же тональности, просто чтобы сменить ритм. Сам того не желая, он несколько раз пробегает пальцами по струнам, и это согревает и расслабляет мышцы. Струны похожи на проволоку. И все же он склоняется над гитарой и сплетает звуки. Запястье с непривычки покалывает, но ему все равно удается играть стройное вибрато. Жестяной, игрушечный тон гитары звенит у него в груди. Музыка. И она никого не ранит.

Он останавливается, когда мальчик встает и идет в хижину из веток.

— Он в порядке?

— Не может играть. Немножко застыдился, понимаешь ли.

— Я не хотел…

— Любит он побренчать. Ты его научи.

— Но я уйду утром, — говорит Фокс.

— Это жалко.

У Фокса появляется идея, и он настраивает инструмент на ре-диез. Пробует сначала в миноре, но чувствует, что это будет звучать слишком скорбно. Он пробует в мажоре и бренчит на гитаре одной рукой.

— Аксель?

— Он не выйдет, Лю.

— Аксель. Я настроил так, что ты сможешь сыграть этот аккорд, видишь?

Гитара звенит.

— Смотри! Одной рукой. Только положи палец сюда и… слушай. Это соль. Просто. Вверх-вниз. Даже держи ты в свободной руке бутылку — и то получится. Аксель!

Мальчик не выходит. Фокс пожимает плечами и кладет гитару на землю. Она звенит ре-мажором, и Мензис заговорщически улыбается.

— Эта земля, — бормочет Фокс. — Это собственность станции?

— Национальный парк.

— Вон что.

— И аборигенская земля тоже. Но целиком из боксита. Из которого алюминий, знаешь?

— Боксит?

— Все передрались. И аборигены тоже. Те парни с этими. Юристы. Ужас.

— И что, по-твоему, случится?

Мензис пожимает плечами.

— Да выгонят нас раньше или позже. Или парень из перерабатывающей, или парень из правительства, или скотовод. Или абориген. Именно.

— Не понимаю.

— Вот именно так. Абориген в костюме. С бумажками в руках. Вполне может быть.

Отдаленный раскат грома разносится над верхушками деревьев.

— Ты потерялся, Лю?

— Нет еще.

— И куда ты *идешь?*

– Туда, где тихо.

Мензис в сомнении трясет головой. Начинает накрапывать дождь. Они ложатся спать. Фокс разворачивает спальник под брезентовым навесом и слушает судорожную скороговорку дождя.

…Ночью он просыпается оттого, что Аксель склонился над ним.

— Ты неправильный человек? — спрашивает он испуганным шепотом.

— Неправильный? Нет. Я… я просто парень, Аксель.

— Возьми мою *вундалу.* За музыку. Хорошо?

— А?

— Пойдешь на веслах отсюда мимо Видъяльгура, туда. Найдешь тех людей.

— Хорошо.

— Полетишь. Как я, да? Во сне я лечу. Лечу в море. В Дуругу.

— Дуругу?

— Это острова. Далеко. Куда идут *дьюару.* Прошлые люди, *дьюару*, духовные люди.

Фокс пытается понять его.

— Аксель, — бормочет мальчик, поглаживая голую грудь. — Ось. Колесо вертится на *мне.*

И долго после того, как ушел мальчик, Фокс лежит, думая о горячей убежденности Акселя, что он что-то значит, что он центр чего-то, даже если Фокс или он сам не могут понять, что это могло бы быть. Чудесное заблуждение. Фокс завидует ему. Нельзя ему не завидовать, когда колесо все время *переезжает* тебя. Поэтому-то ты и убегаешь, выбираешься из-под него, чтобы остаться в живых.

* * *

— Ты хоть знаешь, куда едешь? — спрашивает Мензис утром, когда Фокс собирается взвалить рюкзак на плечи.

Аксель исчез; его почерневшие лепешки лежат на крышке котелка.

Фокс разворачивает карту и показывает Мензису архипелаг, раскинувшийся вдоль залива. Он хочет обойти изгиб побережья, пока не приблизится к самому большому острову, который отделен от материка узким проливом. Он пока не придумал, как его пересечь. У него есть мачете, так что, может быть, ему удастся сделать плот.

Мензис поджимает губы.

— Хм. Аксель, наверное, уже это знает. Точно. Он сказал, что собирается дать тебе лодку. Читает твои мысли, Лю.

— У него правда есть лодка?

— Или ты пойдешь черт-те куда. А потом что? Поплывешь? Бери его лодку. Подарок за музыку, понимаешь ли. Здесь, на черном пляже. Жди высокой воды. Греби через пролив. Все будет нормально. Правильная лодка, Лю. Хорошая. Но слушай. Видишь эту землю? — говорит он, показывая на западную оконечность залива. — Не

ходи туда, ладно?

— Что там?

— Места. Прячутся от тебя. Не для тебя.

— Тайные, ты хочешь сказать? — спрашивает Фокс. — Священные?

Мензис смотрит в сторону.

— А вы? — спрашивает Фокс. — Ты и Аксель. Вы туда ходите?

Мензис качает головой.

— Мы — люди вундъят. Потерянный народ. Мы не ходим туда. Из уважения. Понимаешь? Уважение.

— Понимаю. Я не пойду туда. Но сюда, — спрашивает Фокс, показывая на остров на карте, — сюда мне можно пойти?

— Сюда можно, — говорит Мензис. — Эта вот лодка… Ты везучий.

— Да.

— Иногда мне кажется, Аксель не такой уж и сумасшедший. Может, он мечтал о тебе раньше, знаешь, видел тебя во сне. Еще до лодки, знаешь, он видел сон и сказал мне про него. Маленькая голубая лодка пришла с моря. Мы идем на тот черный пляж, и, черт меня дери, — говорит он со смехом, — там она и есть. Бьется о скалы. Каноэ. Весла и все такое! Ха!

Фокс улыбается и поворачивается всем корпусом, чтобы сориентироваться по карте. Он слышит звон гитары, прежде чем Аксель, улыбаясь, выходит на площадку. Улыбка его гаснет. Инструмент со звоном падает на землю. Мальчик подбегает, хватает карту и швыряет ее в угли костра. Фокс удивленно вскрикивает. Бумага воспламеняется с нежным «хлоп», и Аксель снова смотрит ему в лицо, требуя другие карты — все, что у него есть. Фокс обращается к Мензису, и тот советует отдать их. Мальчик дрожит от ярости. Его глаза ужасны, их желтоватые белки уставились Фоксу прямо в лицо. Фоксу ничего не остается, как только вытащить карты и смотреть, как они горят.

— Чертовы ублюдки, — бормочет мальчик, стоя над пламенем.

— Черт, — говорит Фокс. — Он их разодрал.

— У него на них зуб, — говорит Мензис. — Просто болезнь какая-то с картами. Не стоит его слишком винить. Он считает, они всасывают в себя мир. Нельзя винить черного, который не любит карты, Лю.

— Иди по земле, — говорит мальчик уже почти спокойно. — Не по карте.

— И что, черт возьми, это должно значить?

Мензис пожимает плечами. Потом улыбается:
— Значит — осторожнее, не потеряйся.

Весь день Фокс пробирается через залитые водой гряды к морю, в ужасе от того, что у него больше нет карт. Может, это и к лучшему, решает он наконец. Еще один сожженный мост. Это толкает тебя вперед.

И часа не проходит, как он слышит треск и понимает, что сломал конец удилища. Теперь оно ни к чему не годно. На Фокса это почти никак не действует.

С длинной каменной седловины он видит, как залив зажигается в неожиданно проглянувшем солнечном свете; а на расстоянии поднимаются из молочнобирюзовой воды острова. За спиной ничего не осталось, ничего; теперь все впереди.

Как раз на закате он приходит на крохотный пляж с черной галькой. Он осматривает скалы и заросли, ища лодку. Насекомые роятся у его лодыжек, и он начинает думать, уж не сыграли ли Мензис с Акселем с ним шутку. Но в последнем свете дня под сплетенными лозами он находит потрепанный морской каяк, залепленный наклейками и логотипами какой-то географической экспедиции. Он сделан из искусственного материала, но, по-видимому, прочен. Весло при-

вязано к корпусу, и в ящичках он находит острогу, небольшой якорь и моток старого нейлонового каната.

Он лежит всю ночь без сна возле припадочного костерка; его одолевают песчаные мухи и призраки крокодилов. Еще до рассвета Фокс поднимается, чтобы поесть и приготовиться к долгой гребле. С первыми лучами солнца он проверяет, не протекает ли каяк. Тот слегка намокает, но все вроде бы в порядке. Фокс смотрит, как поднимается прилив, принося с собой волну мангровых листьев, палок и пузырей глины, как пенка на какао. Когда чувствует, что прилив достиг максимума, он оттаскивает снаряженный каяк к воде и выходит в море. Небо чистое. Солнце золотит все вокруг.

Под тяжестью снаряжения каяк кажется непрочным. Фокс не сразу привыкает и входит в ритм гребли. Он знает, что легчайшего толчка от проплывающего мимо крокодила хватит, чтобы перевернуться. Вода похожа на переливчатый шелк, и весло почти не мнет его. Здесь так жарко, так тихо и чисто, что расстояния, кажется, увеличиваются, пока все не вырастает, становясь в два раза больше, чем на карте. Он гребет, а огромное плато висит в воздухе у него за спиной. Фокс

проплывает мимо бесконечных стен мангровых деревьев. Мимо устья реки в милю шириной. К перемежающейся череде белых вспышек пляжей на дальнем берегу.

В углу обзора что-то вспыхивает. Он разворачивается и видит, как с неба обрушивается макрель и бьется в воду с ошеломительно громким плеском.

Когда начинается отлив, он достигает острова, но берег здесь скалист. Так что он продолжает плыть вдоль берега, чтобы найти пригодное для высадки место. Он начинает чувствовать, что отлив сносит его в сторону. Каяк движется медленно. Фокс начинает раздражаться. Где пляжи?

Когда он достигает белой бухточки в форме ракушки, спрятавшейся между закрывающими ее с моря мысами, ему ничего не остается, как высадиться. Фокс из последних сил гребет под углом к течению, выбирается на горячее, как кровь, мелководье и вытаскивает каяк на пляж.

Для начала он расстилает спальник на белой ракушечной крошке, чтобы он высох на солнце. Потом идет искать место для лагеря. Через секунду он натыкается на шесть бочек с горючим, спрятанных в зарослях пырея. Каждая на сорок четыре галлона, и все полные. Его радость немед-

ленно испаряется.

Он подходит к нависшему над бухточкой куску песчаника, тень которого только усиливается укрытием из пучков пырея, неплотно лежащих один на другом, и находит склад прочных ящиков, защищенных от ветра и влаги: два генератора, холодильник, завернутый в пластик, переносные стулья, поливиниловые шланги и мотор мощностью в десять лошадиных сил. В глубине пещеры — лабиринт комнат, как растопыренные пальцы. В темноте он слышит, как вода капает в воду.

Он достает из рюкзака свечу и видит, что ниши в скалах заполнены снастями для спортивного рыболовства и консервами.

«Даже здесь», — думает он.

У выхода из пещеры он становится лагерем на ночь.

Он просыпается оттого, что крабы-отшельники облепили его с ног до головы, и у него вырывается глупый вскрик. Резкое движение превращает крабов в гальку — они падают, прикинувшись мертвыми. Фокс смеется. Его собственный голос под каменным сводом звучит необычно близко. У воды он осторожно споласкивается. Он заваривает чай, съедает свою последнюю плитку мюсли и идет порыться на складе, чтобы удовлетворить

свое любопытство.

Там лежат графитовые удилища, запечатанные в винил. Катушки к ним — в потрепанном холодильнике, некоторые до сих пор в коробках и совершенно новые, другие завернуты в старые противомоскитные сетки и кусочки полотна. Там стоят жестянки, наполненные рыболовной снастью: крючками, блеснами, искусственными приманками, поплавками. Он видит катушки нейлоновой моноволоконной и гелевой лески. Что-то вроде профессионального снаряжения для сухого сезона. Еще больше причин идти дальше, углубляться и углубляться в залив.

Фокс упаковывает снаряжение в каяк и сверху прикрывает все громоздким спальником. Из холодной лужицы в темной глубине пещеры он набирает фляжку и мех с водой и, проходя мимо груды снаряжения по пути обратно, медлит. Его собственная удочка бесполезна, если он не сможет ее починить, а он пока еще не думал, как это сделать. Он знает, что может удить на леску, что аборигены так и делают, но крепость удилища может здесь очень и очень пригодиться.

Чем здесь жить, кроме рыбы? Хорошая удочка может спасти тебе жизнь. Он выбирает удочку «Пенн» и катушку «Абу». Он наполняет полот-

няную сумочку блеснами, леской и крючками и засовывает все это в каяк. Перед тем как оттолкнуться от берега, он возвращается за противомоскитной сеткой, в которую была завернута катушка.

Он гребет к восточной гряде, окаймляющей залив, мимо мангровых лесов, мимо скалистых мысов и островков. Здесь гораздо суше, чем там, где стоят лагерем Мензис и Аксель. Песчаниковые мысы поднимаются из зарослей пырея и выбеленной солнцем акации. Земля эта выглядит пустынной. Здесь текут крохотные ручьи, устья которых окаймлены скалами или — полосками песка. Фокс гребет все утро. Вода спокойна. С его лба катится пот. Он видит, как из моря медленно поднимаются острова, отличаясь от разворачивающегося материка зелеными полосками растительности. Фокс направляется к одному высокому, красному острову с тупой вершиной и сразу после полудня, когда небо начинают затягивать муссонные облака, входит в тень острова и смотрит на столовые горы и обрывы, на спутанные лозы и шумные деревья. На пляже растут баобабы. Птицы проносятся сквозь сети теней. «Вот оно, — думает он. — Вот оно, это место».

VI

На следующий день после того, как Джорджи нашла конверт в столе Джима, она пошла прогуляться, чтобы прояснилось в голове и чтобы принять некоторые решения. Утро было жаркое и ясное. На утоптанном песке мыса она наткнулась на Йоги Бера, который сидел в припаркованном грузовичке, принадлежащем компании. Вдалеке были едва видны серферы; они сидели, как пучки бурых водорослей, на рифах, где барашки на набегающих волнах откатывались назад в облаках брызг под северо-восточным ветром. Йоги прижимал к лицу бинокль одной рукой, когда Джорджи робко подошла, чтобы поздороваться. Одна ороговевшая нога лежала на приборной панели, и кабина воняла узо. Ему понадобилось некоторое время, чтобы заметить ее.

— А, — пробормотал он. — Чудо-женщина.

— Привет, Йоги.

— А я-то все удивлялся, к чему бабам лифчики. Да чтобы руки не отваливались. Мама мне никогда не говорила.

— Спорим, она тебе еще много чего не говори-

ла, Йоги.

— Все твердила мне, чтобы я держался подальше от невезучих.

— Ну, а ты?

— Когда водишь «скорую», невезучих уж навидаешься так навидаешься.

— Ну и везучих тоже, помни.

— Но любой чертов остряк может издевнуться над Ионой-неудачником, Джорджи.

Она посмотрела на него. Он снова приставил к глазам бинокль.

— Ты это обо мне, Йоги?

Йоги поджал губы.

— Эти Фоксы, — сказал он. — Неудачники от носа до хвоста. Мать, ты же знаешь, ее сам Господь и убил. И старик, Уолли, — Господи Боже мой! Стоило ему только ступить на борт, как удача кончалась, и они вытаскивали его на берег к концу первого дня. Краболовы, креветочники, акулыцики — никто не мог выйти в море, он отнимал у них удачу — и все. Как плохая шутка. Знаешь, однажды он построил дом на дереве — на столбе на передней бахче. Жил там неделями. Чертовы рыбаки, они отворачивались, когда проезжали мимо, смотрели в другую сторону, чтобы это их не коснулось. Ты не свистишь в море, Джорджи,

и все еще не выносишь из дому бананы, но в этом городе ты перво-наперво не берешь на борт чертова Фокса.

— И что он делал на столбе? — спросила Джорджи, не сдержавшись.

— Господь его знает. Ждал конца света, наверное. Господи, да он и *был* концом света, глупый старый засранец. Он был мусор. Все они были мусор.

— Они все мертвы, Йоги, — с чувством сказала она.

— Кроме одного.

— Да, кроме одного.

— Ну и как думаешь, были шансы, что они не погибнут там у себя на выезде, перевернувшись в машине? Я был там, цыпка. Ты и представить себе, черт меня дери, не можешь. И этот последний мальчик сидел в «скорой», как зомби. И она стекала с его шкуры, как электрический ток, — чистейшая и простейшая невезуха. Вот с чем ты тут заигралась. Люди еще оказали тебе услугу, цыпка.

— Ну, спасибо, что просветил, — сказала она, отталкиваясь от стойки.

— Помощь на общественных началах, — пробормотал он. — Это я.

— Думаешь иногда об удаче? — спросила она Джима в тот вечер.

Он поднял на нее глаза от факса с прогнозом погоды. Он, кажется, очень удивился вопросу.

— Нет.

— Джим, каждый рыбак живет удачей. Все вы.

Он покачал головой.

— Знание, — сказал он. — Морская практика. Опыт. Хорошая обработка данных и ведение записей. Чуть-чуть всестороннего подходца и, может быть, инстинкт. Это плохим рыбакам нужна удача.

— Да и ты такой же. Ты запрещаешь бананы.

— Это чтобы палубные не ворчали. Они верят в приметы.

— А ты — нет?

— Нет.

— Хм.

— Что это, из какого-то кино?

В его тоне ясно прозвучало «свободна», и это обидело Джорджи.

— Нет. Я просто думала.

— Люди отданы на милость своих собственных поступков, — сказал он. — Последствия. Но это ничего общего не имеет с удачей. Эй, я все не могу поверить, что ты продала яхту. Могла бы весь

свет на ней обойти.

— Так тебе всегда везло?

Он пристально посмотрел на нее:

— Да.

— И тебе не показалось, что ты очень невезучий, когда у твоей жены нашли *рак?*

Взгляд Джима был холоден и цепок. Он отвернулся, чтобы посмотреть на факс на коленях. Джорджи увидела, что он злится. Дебби обсуждению не подлежала. Разговор о ней, даже когда речь заводили мальчики, всегда заставлял его замолчать, и на лице у него мгновенно появлялось усталое выражение.

Он лег спать, так и не сказав ни слова.

Джорджи затормозила у фруктового киоска. Это было заброшенное строение. Оно держалось только на обматывающей его со всех сторон проволоке. Единственный лист железа оставался на его однобокой крыше. Накренившиеся деревянные стойки посерели от ветра и дождя.

Она проехала по белым колеям через переднюю бахчу мимо олив, которые были похожи на призраки, запорошенные известняковой пылью, и наконец добралась до двора между амбарами и домом. Она припарковалась в тени казуарин. Несколько перышек запуталось в побуревших

сорняках, но птицы не было видно. Выбравшись из машины на жару, она уловила дуновение испорченного воздуха, как будто проезжала мимо мертвого животного на дороге.

Камнем она разбила стекло передней двери и вошла в кухню. У подножия холодильника натекла липкая тина. Она щелкнула выключателем. Электричества не было. Ей не понравился запах. Это наполнило ее страхом; это был заряд памяти. Миссис Юбэйл.

Джорджи не знала, зачем приехала. Мальчики были в школе, а Джим — на море. Ей просто надо было выбраться из города.

Она решила, что счета за электричество не оплачены, и поэтому компания отключила свет. Но потом она вспомнила о генераторе, гудевшем в сарае. Они даже не были подключены к городской системе электроснабжения. Похоже, что кончилось топливо или он выключил его сам.

Джорджи чувствовала, что какая-то ее часть все еще надеялась: он мог проскользнуть обратно под радаром. В этом приходилось себе признаться.

Когда она подошла поближе к сараю, запах стал еще хуже. Когда она вошла в открытую пасть мастерской, она уже зажимала нос. Мухи роились у нее на пути; они словно черным крепом по-

крывали морозильники. Иррациональный ужас овладел ею, когда она приблизилась. Она откинула крышку первого холодильника и нашла там пакеты с осьминогами злобного оттенка пенящегося пу?рпура. Они были похожи на сложенные кучей сморщенные головы, на которых наросли щупальца. Следующий ящик был слишком велик для того, чего она больше всего боялась. Она напустила на себя немножко сестринской стали и откинула крышку. Когда она увидела скрученное гнездо из ног и перьев, не смогла удержать смешок.

Ей очень помогало, что она думала о дизельном генераторе как о перекормленном братце мотора, в котором разбиралась. Джорджи однажды имела дело с морским дизелем «Янмара» в одиноком приливном кошмаре Кемден-Саунда. Здесь, по крайней мере, палуба под ногами не шаталась и было место, где развернуться. И можно было не волноваться, что идиот на палубе разобьет тебя о скалы, пока ты работаешь.

Инструкция висела на стене. Топливный бак был пуст. Она знала достаточно, чтобы понять, что ей придется продуть трубки. Запах с той стороны асбестовой стены был ужасен; он чувствовался на языке, пока она работала. Рядом с

пустым баком была пятигаллонная бочка с горючим. Она наклонила ее и заправила бак насколько смогла. Заставить его работать ей удалось только через час, но после этого она почувствовала нелепую гордость — такой гордости она не испытала, даже спася жизнь Эвис Макдугалл.

Она оставила генератор реветь, пошла в дом и вымыла кухню. Работая, она размышляла над тем, что? Йоги говорил об удаче. Она вспомнила, как пересекала море Тимор. Они с Тайлером сделали это, даже не поперхнувшись, — оригинальный кусочек настоящего плавания, — и Джорджи знала, что они этого не заслужили. У них не было права выпутаться так легко; они не должны были оказаться там. Она почувствовала, что почти израсходовала свою квоту. И разве все не развалилось в самый последний момент? Столкновение с другим судном, когда они входили в гавань Сенгиги. Кричащая катастрофа.

Джорджи всегда полагала, что одержимость удачей должна оставаться на долю пассивных людей, других, не таких, как она. Разве не сопротивлялась она, разве не держалась, отгоняя от себя все эти ограничивающие ожидания? Проблема была в том, что она начинала видеть, как мало ей принесла ее непоколебимость. Еще

недавно Джорджи казалось, что, упорствуя, она растратила столько жизненной энергии, что осталась совсем без сил. Было что-то жульническое в ее мятежном духе. Она плыла по течению целые годы. Даже в работе. Ничего нет лучше лечебного учреждения, чтобы одеть тебя в ауру деятельности, чтобы спрятать твою бесцельную пассивность. Годами она не *заставляла* вещи случаться. Наоборот, случалось *с нею.* Разве не это и называется слепо довериться удаче и не иметь достаточно честности, чтобы признаться в этом? Уайтпойнтовцы, по крайней мере, честно признавались, что зависят от удачи.

Джорджи сделала себе кофе. Она нашла колышек и совковую лопату и зарыла содержимое морозильников на бахче. Потом она залила отбеливателем ящики и оставила их с открытыми крышками.

Потом она приняла душ и, повесив одежду сушиться на горячем ветру, легла на пыльный диван в библиотеке; растянувшись там, она поняла, что ее положение вновь изменилось так быстро и настолько сильно, что она не может идти с этими переменами в ногу. Что бы, черт его дери, ни задумал теперь Джим, у нее теперь есть машина; это ее собственность. И на счету у нее

достаточно денег, чтобы и впрямь выбирать.

Вот это место, например. Оно пустует. Это уже что-то, ведь так? Джорджи не грела мысль о возвращении в пригородную вкрадчивость Перта. И ей не хотелось путешествовать. Это возможно, но это временный выход. Как она будет жить? Даже если уайтпойнтовцы оставят ее в покое, как долго она предполагает протянуть на ферме в нескольких часах езды от какой бы то ни было приличной работы?

И все же, подумала Джорджи, что бы ни случилось, как бы долго все это ни продолжалось, этот дом может стать неким святилищем. На какое-то время. Если она так решит.

Сборник стихов у ее локтя рассыпался листьями, скрепками, прутиками, которыми были заложены страницы. Она рассеянно подобрала книгу и открыла на отрывке, сплошь исчерканном карандашом.

И песни пелись – сколько раз, не счесть,
И не было их поступи нежней,
И смех звенел давным-давно,
И несравненная луна,
И сонмы праздных дней.

В раздражении она захлопнула книгу и поло-

жила ее обратно.

Она с ужасом проснулась в два пополудни. Голая, с пересохшими губами и на несколько секунд довольно-таки одурманенная. Она проковыляла на веранду и увидела, что ее одежду сорвало ветром и она упала в грязь на дворе.

Через несколько минут — на шоссе — она вышла из машины и закрыла ворота фермы.

* * *

Несколько дней спустя Джорджи вернулась в дом Лю Фокса с двумя пятигаллонными бочками горючего. Она пыталась посчитать количество батарей и сколько горючего ей понадобится, чтобы генератор работал непрерывно. Она вычистила весь дом, разложила одежду и застелила кровать Лютера Фокса свежими простынями. Она набила холодильник свежими продуктами и пополнила запасы круп в буфете.

В свой третий приезд она привезла кофеварку из гаража Джима. Она готовила себе маленькие обеды из сыра рикотта на ржаных крекерах и сидела в библиотеке, обследуя шкафы. Она просматривала коробки из-под фруктов, наполненные пластинками. Там были австралийские

записи семидесятых: Мэтт Тейлор, «Спектрум», «Инделибл Мертсепс», Талли и всякий изврат вроде «Оркестр Махавишну», «Кинг Кримсон», «Сопвич Кэмел», «Флок», «Бэкдор», «Кэптен Бифхарт». Целая коробка была набита блюзовой музыкой, а еще одна — блюграссом и фолком. В жестянке она нашла кучу кассет, большинство из них — пиратские копии, на которых шариковой ручкой были нацарапаны названия.

Она выбрала одно имя — Крис Уитли — и засунула кассету в магнитофон. Джорджи легла на диван и слушала ленивый голос с поминутно проскальзывающими фальцетами. Звук гитары был напряженным, почти суровым. Джорджи немного знала о музыке. Она перестала относиться к ней с трепетом с тех пор, как выросла, и просто покупала то, что слышала по радио. И все же было время, когда она лежала, забаррикадировавшись в своей комнате, на кровати, с альбомами, каждая песня в которых говорила открыто и прямо. Она тогда чувствовала, что певец направляет слова, эмоции прямо на нее. И вот она лежит здесь, глядя на сырые пятна на потолке, пока эти меланхоличные, загадочные песни льются по дому. Она никогда не слышала об этом парне. Она недоумевала, что бы могло

значить «попасть в страну больших небес» и «целовать время на прощанье». Слова озадачивали ее, и к этой странной воющей гитаре надо было привыкать. Но это не давало ей успокоиться. Она откинулась на пахнущем плесенью диване и дослушала альбом до конца.

Когда музыка стихла, Джорджи поднялась и обошла все комнаты, открывая шкафы и буфеты. В главной спальне она примерила выгоревшие на солнце платья, которые оказались ей велики. Невестка Лю была, пользуясь выражением Уорвика Ютленда, слишком для нее крупна. Джорджи чувствовала себя девочкой, примеряющей платья матери. Она могла просунуть кулаки в лифы платьев, и у Джорджи не хватало ни живота, ни бедер, чтобы придать этим платьям форму. Она просмотрела белье, беспорядочной кучей сваленное в шкафах. В ящике в изножье кровати она нашла свадебное платье, завернутое в целлофан. Под ним, запечатанная в тот же материал, лежала внушительная куча старой анаши.

В коробке из-под обуви были фотографии. У его брата был сонный вид. У него были черные волосы, и по лицу, казалось, бродила какая-то странная усмешка, будто он знает что-то, чего не знают другие. Глаза были скорее серые, чем

голубые. Женщина сплошь состояла из волос, грудей и рта. Рот у нее был чувственный, почти безобразный, всегда приоткрытый. Ее дети были похожи на маленьких дикарей: шелковистые белые волосы разлохмачены, а лица счастливые, грязные, усталые.

Джорджи заглянула в детскую, но не вошла. Это было слишком печально.

…И потом оказалось, что в воздухе март и осень и кровать ночью покрыта покрывалом. Дни все еще стояли теплые, даже жаркие, но, как только солнце врезалось в море, день терял свое жало. Отец Джорджи отрекся от нее, и по какой-то странной причине, которую из нее было не вытянуть, Джуд отказывалась видеться с Джорджи, когда та приезжала. Остальные хранили ледяное молчание. Дома на Джима нападала раздражительность. Он все время дергал мальчиков. Лицо его посерело, и он, кажется, худел. Он теперь подолгу сидел в кабинете по ночам. С Джорджи он разговаривал вежливо, но рассеянно.

Бивер впал в депрессию. Он наполнял ее маленькие канистры с бензином, не произнося ни слова. И у нее столько времени отнимали поездки туда-сюда по шоссе, что она почти не видела Рэчел. Когда однажды они все-таки встретились

вечером на пристани, Рэчел отбросила обычные любезности и заявила, что бывают в жизни моменты, когда надо сбросить с себя старую шкуру, подняться на ноги и действовать, черт возьми, *действовать.* Она говорила яростно, будто бы эти слова долго сидели у нее внутри, словно она вот-вот заплачет; так что, если бы она тут же не забралась в свой «Лендровер» и не уехала, Джорджи, может быть, обняла бы ее и рассказала ей все: что она *действует,* что у нее уже есть план, что все будет хорошо.

Джорджи каждый день ездила в дом Фоксов. Эти поездки заряжали ее. Возвращаясь туда снова и снова, она чувствовала некоторую уверенность. В те дни, когда она признавалась в том, что вообще уезжала из дому, она говорила, что ездила к Джуд, но ей не надо было даже беспокоиться о том, чтобы выдумать правдоподобную версию, потому что Джим никогда ни о чем не спрашивал. Его мысли, похоже, где-то бродили.

В один из таких дней Джорджи откатила старую бочку из-под горючего на полоску песка у излучины и начала жечь мусор. Все утро и половину дня она жгла одежду Негры, свадебное платье, анашу и все эти летние платья. Она заставила себя сжечь детские вещи, все эти запачканные

майки и шорты, плакаты со стен, пластиковые игрушки и даже подушки. Она пожалела спальню Лю, но переставила там мебель, чтобы ей было удобнее. Она вымыла библиотеку и оттерла кухню. Она вытряхнула из каждого ящика мотки гитарных струн, скотч, ноты церковного хора, торцовые ключи, наперстки и обглоданные кости. Она до последнего не могла заставить себя сжечь запятнанную пару джинсов и двуспальную простыню. Она поняла, что? это за пятна. Это были единственные вещи, которые она сожгла с удовольствием.

* * *

На дне коробки с пиратскими пленками Джорджи нашла одну, на которой было написано «Фоксы». Наклейка была из пластыря, а почерк — детский. Она минуту помедлила в нерешительности, но потом все равно вставила пленку в магнитофон и уселась на диван послушать. Сначала было просто неясное гудение комнаты. По деревянному полу скрипел стул. Открытый кран? Да, и закрытый с писком. Кухня. Губы у Джорджи резко пересохли. Кто-то — ребенок — что-то спросил в отдалении. Кто-то еще дышал совсем близко.

Гитара начала выводить мелодию. Она была проста и печальна. К ней присоединились мандолина и скрипка. И потом кто-то начал петь. Джорджи сразу поняла, что это Лю. От этих звуков в груди у нее вырос комок. Она не знала песню, но мелодия была какая-то кельтская — история короля, королева которого умирала после девяти дней родовых мук. Песня была красива, но в ней было что-то дикое и невыносимое. И слышать его мальчишеский тенор было еще тяжелее.

Когда песня закончилась, было долгое молчание. Вздох.

«Господи, я бы сейчас бочку пива выпил», — сказал мужчина.

Джорджи поняла, что это Негра.

«Это самая печальная песня на свете», — сказала маленькая девочка близко к микрофону.

Так это были *ее* вздохи, это дышала она. Ее близость даже пугала.

«Поэтому-то нам и нужно пиво, Птичка», — сказал Негра.

Звякнули инструменты. Кто-то настраивал струну. Скрипнул стул, а потом со всхлипом открылась дверь холодильника.

«Неужели он сделал правильно, Лю? — спросила девочка. — Она же просит его: *«Разрежь меня*

и вынь дитя». Но он не хочет. Королева Джейн — она же умирает. И это так ужасно».

«Ну, Птичка, — сказала ее мать. — Скоро будет чай. Иди поиграй».

«Лю!» — настаивала девочка.

«Ну, подружка, — сказал Лютер Фокс. — Я не знаю. Старик король, он испугался, наверное. В те дни это было очень уж радикально — делать кесарево в полевых условиях. Он же говорит: *«Коль суждено мне потерять английскую розу, пусть потеряю я и ветвь».*

«Отвратительно», — сказала Птичка.

«Да ладно. Ребенок же родился. И потом, это всего-навсего песня, так?»

«Слишком грустно».

«Если взять за задницу королеву Англии, — пропел Лю экспромтом на тот же мотив, — *то и денежки твои, то и денежки твои».*

«Лю!» — взвыла девочка между приступами смеха.

«Прости, Птичка. Я республиканец».

«Скажи!»

«Что сказать, милая?»

«Что бы *ты* сделал. Если бы это был ты».

«Я?»

«У него нет королевы», — сказал мальчик в

нос.

«Точно».

«Заткнись, Пуля».

«Ну, Птичка!»

«Скажи!» — попросила девочка.

«Не всегда есть выбор, — сказал Лю, — между правильным и неправильным».

«Ой!» — сказала Птичка смущенно.

«Ой, выключи, Пуля!»

Мальчик пукнул. Пленка взвизгнула, и все смолкло.

Джорджи вынула пленку из магнитофона и бросила ее обратно в коробку. Она стояла у окна рядом с разломанным пианино. Она чувствовала, что переступила, но ощущала и то, что переступили через нее. В тот день она пошла к камням на вершине холма и вытащила из-под них жестянку, в которой когда-то хранился чай. В ней не было ничего примечательного. Маленькие записочки из одного слова — странные. Жестянка пахла бороньей и чаем или просто пылью. Она спрятала жестянку под скалой и некоторое время постояла там, слушая гул насекомых и бесконечное пение ветра в ветвях желтосмолок.

Джорджи пошла к Биверу, чтобы заказать доставку горючего и газовых баллонов на ферму.

Еще до того, как она сказала ему, куда все это доставить, он закатил глаза и швырнул к ногам тряпку.

— Подруга, да у тебя вместо мозгов — дерьмо. Он не вернется.

Она пожала плечами.

— Ой, как мы плечами пожимаем! Прямо как Дженнифер Джейсон Ли.

— Я буду скучать по тебе, Бивер.

— Можешь поставить свою наглую маленькую задницу — будешь, — сказал он без улыбки.

Она начала наигрывать «Кумбайю» на потускневшей стальной гитаре Лютера Фокса. По нотам из библиотеки она научилась брать аккорды *«Дома восходящего солнца»* и тем самым увеличила свой репертуар ровно вдвое. Ей нравилось ощущать инструмент под пальцами, как он звенит и побрякивает у нее на коленях.

Она часами лежала в ванне. Обеды из макарон, которые она себе готовила, наполняли дом ароматом чеснока. Она читала романы на диване или качалась в кресле-качалке, а иногда брала увесистую, как кирпич, антологию поэзии с собой, уходя посидеть в тени стволов на излучине. Вордсворт, Блейк и Китс были изранены пометками. Робинсон Джефферс, Хини, Р. С. Томас, Лес

Мюррей и Джудит Райт обрамлены звездочками и восклицательными знаками, поставленными разными людьми.

Иногда по утрам Джорджи не делала ничего, только держала в руках разные медиаторы Лю. Она лежала на диване, поворачивая руку так, чтобы солнечный свет сиял на меди, пластике и черепаховом панцире. С этими поблескивающими когтями она чувствовала себя совершенно иным существом.

Каждый день в ту осень Джорджи проверяла почту с растущим ожиданием. Ей понадобилось некоторое время, чтобы признаться себе в том, что она ждет знака. Казалось бы, ничего не происходило, но уверенность росла. Единственное письмо, адресованное ей, было от Эвис Макдугалл: та сообщала, что после нескольких недель операций вскоре выпишется из больницы. Вся электронная почта была либо от сумасшедших незнакомцев, либо от акул маркетинга, которые купили ее данные у кого-то еще. Со стороны семьи — молчание, хотя Джорджи и пыталась звонить им.

Джим почти не разговаривал.

Джорджи решила перевезти свои вещи постепенно.

* * *

Он ввел «Крузер» в виновато поглядывающий на него двор фермы. В багажнике булькали канистры. Старый, некрашеный дом был темен, и небо над ним пусто и безоблачно.

Он выхватил бутылку, стоявшую между лодыжек, и сделал глоток. Пиво было уже теплым. Когда в голове прояснилось от паров, он опустил стекло, чтобы вдохнуть чистого, сухого, пыльного воздуха. Он хотел выйти, чтобы избавиться от вони бензина, но не позволил себе — он боялся того, что наверняка сделает.

Если поджечь хибару, это не выжжет неудачу так, как тебе это нужно. И не освободит от ощущения, что, какое бы бурное и ненавистное начало ни присутствовало в этом мире, оно наблюдает за тобой и судит тебя. Но, черт возьми, и от этого можно будет получить немалое удовлетворение.

Если бы он вышел из машины под каким бы то ни было чертовым предлогом — он знал, что наверняка пойдет вперед и сделает это, он зажжет гребаную ночь, он зажжет звезды там, где их не было, и никто не посмеет сказать, что у него нет на это никаких причин.

И все же уже через несколько секунд он знал,

что ничего не сделает. Разве он не доказал себе всего? Он сидит здесь в дикой ярости, у него есть средства и желание, но не делает этого — разве это не доказывает целиком и полностью, что тебе не суждено вечно повторяться?

Он допил пиво и заставил себя поехать назад. Он так чертовски устал.

* * *

Она увидела Лю Фокса на коленях посреди пропахшей мочой дымки. Солнце сияло в небе, как новая монетка. Он копал землю, а небо за его спиной горело, как лесной пожар. Он на секунду остановился и поманил ее. Джорджи присела рядом с ним на корточки и под землей увидела трубу из вороненой стали, покрытую сыпью клапанов и кранов. Она увидела, как он поворачивает краны — один за другим. Один извергал числа, другой — смех. И были маленькие вспышки каждого запаха: твоей матери, тыльной стороны руки, еды, дерьма, гнили, мыла. Она услышала детские крики, увидела фотосинтез. Кусочки информации вырывались из кранов, как сосиски из сосисочной машины. Из одного крана струилась только соль, а из другого — запах только что отчеканенных денег. А Лю продолжал

копать, как пес, и облако пыли поднималось у него между лодыжек, пока не докопал до адского сплетения труб под землей, в которые всасывался, хранился и бродил каждый момент времени и опыта. Все, что когда бы то ни было случалось, лежало там. Джорджи не понимала, кто и зачем сделал это и что из этого выйдет.

Она начала плакать от тревоги и недоумения.

И потом он поднял глаза, взял щепоть земли, плюнул на нее и скатал ее в желтую таблетку. Он ласково прижал ее к уху Джорджи и улыбнулся. Таблетка пела. Как приложенная к уху ракушка. Как хор, выводящий одну ноту. Как пчела, жужжащая прямо в ухо.

* * *

Каждый день к трем, когда кончались занятия в школе, Джорджи проскальзывала обратно в город. Сегодня, ставя маленькую «Мазду» в гараж, она подумала: а заметил ли кто-нибудь вообще, что в гараже освобождается пространство, по мере того как она увозит по коробке в день вдаль по шоссе? Она сомневалась в этом. Джим был занят по горло. Ее теперь не было большую часть недели. Она занималась домашними делами лихорадочными рывками по утрам, до того, как

мальчики уйдут в школу. Никто, похоже, не замечал.

На автоответчике обнаружилось пять сообщений. Большинство из них были неразборчивые вскрики возбуждения и поздравлений, и только отрывистый голос Джима в самом конце просветил ее. Голос был безразличный и усталый, но она слышала, как на заднем плане кричат и скандируют палубные.

— Мы будем сразу после трех, — сказал он. — Как разгрузимся, пойдем прямо в пивную. Приводи мальчиков.

Джим больше не ходил в пивную. Для этого похода могла быть только одна причина — традиционное требование платить за всех в баре в конце самого удачного дня.

Джорджи включила передатчик и ощутила в эфире вибрацию. Ясно, он напал на основную жилу; он убил свинью. Это было хорошо слышно даже в быстрых и благоговейных переговорах по радио — восхищение, смешанное с горечью, и уклончивые расспросы о координатах.

Поджидая мальчиков из школы, она взяла бинокль и разыскала «Налетчика», идущего полным ходом вдоль берега к проходу между рифами.

В четыре в пивной было настоящее столпотво-

рение. Джорджи уже однажды видела такое и слышала рассказы о других больших уловах и соответствующих празднествах. В Уайт-Пойнте было положено уважительно относиться к пикам удачи — с той же серьезностью, с какой следовало не замечать провалы. Праздновали из страха, что такая удача может впредь обходить тебя стороной. Но в этот день, с таким чертовски огромным, почти сверхъестественным уловом, надо было ожидать, что все окончательно обезумеют.

К пяти Джорджи отступила с позиций на газон рядом с пивной, чтобы избавить мальчиков от худшего. Они были возбуждены и счастливы, но им совершенно не стоило смотреть на подавальщиц в веревочных трусиках, которым стреляют в майки пивом из водяных пистолетов. Бильярдные столы — как бассейны, и их суконное покрытие трещит по швам от танцующих ног. Она задумалась, не на такие ли сборища звали семью Фоксов, чтобы они развлекали собрание гитарами и скрипками. Господи, да это все равно что попасть в медвежью берлогу. И проигрыватель надрывается, чтобы обеспечить звучание «Эй-Си/Ди-Си» и «Зи-Зи Топ» на требуемой громкости. И голозадый палубный, ныряющий за барную стойку и возвращающийся

так быстро, что можно поклясться: где-то там, за стойкой, спрятан трамплин. И громкий смех, и грохот бьющегося стекла. Она видела там Йоги и Шовера Макдугалла. Бивер закрылся рано. У него обнаружилась невероятная способность избегать ее взгляда. Она узнала дюжину серферов с растрескавшимися губами, родителей, которых видела в школьном дворе, лица из супермаркета. У нескольких нашлась для нее добрососедская улыбка, но никто не заговорил с нею. Все были там, кроме Рэчел и Джерры.

Джим вышел, подгоняемый волной дружеских похлопываний по спине; для человека, который за день заработал столько же, сколько медсестра зарабатывает за год, он выглядел очень торжественно и серьезно. На шее у него болтались солнечные очки. Мальчики торжественно пожали ему руку, и они вчетвером пошли посидеть на травянистом пригорке, за которым уже начинался пляж. Над ними висели чайки. Солнце склонялось к морю, и в его отблеске суда усиленно раскачивались на якорях.

— Сколько? — спросил Джош. — Сколько лангустов?

— У нас посуды не хватило, — сказал его отец. — Пришлось паковать их, как в старые времена, и

поливать из палубной кишки. Пришлось освободить ледник, когда кончились мешки.

— Удача или хороший менеджмент? — поддразнивая, спросила Джорджи.

— Ни то ни другое.

— Развлекайся. Я отведу их домой и накормлю.

— Подожди меня, — пробормотал он.

И тут вышла Эвис Макдугалл, держа руку так, как будто еще к ней не привыкла. Джорджи сгребла мальчиков и скользнула на пляж как раз в тот момент, когда Эвис заметила Джима.

Примерно в девять Джим взошел по ступенькам террасы со стороны пляжа и тяжело уселся рядом с ней. Мальчики спали. Воздух был прохладен. Ей понадобилась хлопковая куртка, чтобы не замерзнуть. Джим скинул свои палубные ботинки.

— Ну и день, — сказала Джорджи.

— Они все еще празднуют, — сказал он несколько удивленно.

— Кажется, ты должен проставиться. Пей или иди домой, так?

— Ну, я уже слишком старый.

Некоторое время они помолчали. От Джима пахло потом и пивом.

— Ты спросила, что это — удача или мозги, —

сказал он наконец. — Ты знаешь, сразу, мы даже первую сеть вытащить не успели, я уже знал, что это что-то другое. Это было слишком странно. К полудню я был уже уверен.

— Уверен в чем?

— Что это какой-то знак.

— Знак?

— Я отхожу от дел, Джорджи. Борис может довести сезон до конца. Я на какое-то время уезжаю.

— Да что ты говоришь? — воскликнула она с нервным смешком.

— Мальчики со следующего семестра пойдут в школу-интернат. Я хочу, чтобы ты поехала со мной.

— Господи, Джим, ты выпил. Может, поговорим завтра, когда все весь шум уляжется?

— Сестра Дебби забирает их в субботу.

— Они знают? Мальчики?

— Нет.

— Ты хочешь сказать, ты это планировал?

— Несколько недель, — пробормотал он. — Но сегодняшний день все подтвердил.

— Знак. Я думала, ты не суеверен.

— Я и не суеверен. Это другое.

— Но мальчики, Джим.

— Это мои дети. Ты же знала, что я раньше или

позже это сделаю. А ты… ты уже на полпути к дверям; не надо им это видеть. Эти последние несколько месяцев были чертовски отвратительны, и пришло время принимать решения. Мне это кажется совершенно ясным.

У Джорджи в горле неожиданно сгустился комок. Она подумала об этом чертовом конверте.

— Это ведь Брум, так? — спросила она. — Ты едешь в Брум?

— Да. И хочу, чтобы ты поехала со мной. Это важно.

— Ты знаешь, где Лю, так?

— Не хуже тебя.

— Почему? Почему я должна ехать?

Джим вздохнул:

— Почему ты переехала к нему в дом? Почему ты притворяешься, что он тебе не нужен?

— Ответь мне, Джим.

— Я не могу. Не здесь. Не сейчас.

— Тогда я не поеду.

— Ты поедешь.

— Не угрожай мне.

— Господи, Джорджи, да не угрожаю я тебе. Слушай, — сказал он, наклоняясь к ней на стуле с таким серьезным видом, что это ее еще больше насторожило и испугало. — Тебе никогда не хоте-

лось все исправить?

— Исправить что? — спросила она, защищаясь.

— Ну, вещи, которые ты делала раньше.

Она обхватила руками колени. Южный ветер перекатывался в хлопковых пальмах.

— Нет, — солгала она.

— Ну а вот некоторым из нас хочется.

— Джим, тебе не надо ничего исправлять. Не для меня.

— А это и не для тебя, — раздраженно сказал он.

— Тогда скажи мне, из-за чего это все, черт возьми!

— Господи, — пробормотал он. — Я не думал, что все пойдет так. Я думал, что окажу тебе услугу.

Джорджи встала и посмотрела на него. В свете, струившемся из-за двери, он выглядел осунувшимся, но его глаза были широко открыты. Он был похож на ребенка, который силится проглотить что-то, что слишком велико для него. Это зрелище лишило Джорджи злости. Прошло много времени с тех пор, как она в последний раз видела такой страх на его лице. Джорджи поверила ему. Это не из-за нее. Джима охватывало нечто, чего он не мог ни понять, ни контролировать, и Джорджи поняла, что заинтригована и чувствует

неприязнь.

— Иди спать, — сказала она.

— Да, — отвечал он. — Пора бы.

Джорджи осталась на террасе в пронизывающе холодном вечернем воздухе. У залива подпрыгивала и грохотала пивная. Она неожиданно почувствовала себя старой. Она легла поздно, но спала только урывками, в богатой череде снов. Перед пробуждением она была на белом ракушечном пляже. Под луной стояли баобабы. Вода была спокойна и испещрена отражениями. Над пляжем возвышались джунгли, и оттуда тянулся насыщенный запах гниения. На краю моря появился силуэт. Струящаяся ткань, в которую он был облачен, делала его похожим на Христа из воскресной школы. Он манил ее, раскинув руки. Когда она подошла, она увидела миссис Юбэйл, у которой на лице был мозг, и ее дыхание было как тропическое зловоние, когда она прошептала: *«О сестра, о сестра»,* – и взяла ее за руку. Джорджи отшатнулась. В лунном свете поблескивала стальная лопата, и она подобрала ее и взмахнула. Голова миссис Юбэйл раскололась, как арбуз. Она рухнула на мелководье. За деревьями неожиданно появились люди. Джорджи швырнула лопату, но не слышала звука падения.

* * *

Никто из членов семьи Джорджи еще не звонил в ответ. Персонал больницы, где лежала Джуд, говорил, что та не может подойти к телефону. Днем в пятницу Джорджи отогнала свою маленькую «Мазду» к Биверу, чтобы спросить, не подержит ли он машину до ее возвращения. Бивер всю неделю почти не разговаривал с нею. Она оставила машину у него на свалке. Он вышел из задней двери рядом с воняющими туалетами, и они постояли рядом с желтой веселушкой.

— Я понял, — сказал он, пиная переднюю шину носком ботинка. — Он верует.

— Ну, что-то им да овладело.

— Страх Господень, — сказал он с кривозубой усмешкой.

— Ты правда так считаешь?

— Что-то близкое к тому, Джордж.

— Сказал, что хочет что-то исправить, — сказала она, протягивая ему ключи.

— Ну, разве того, что жена померла, недостаточно?

Она пожала плечами.

— Это как-то связано с нею, ведь так?

— Я так думаю. Это и еще ты, Джордж.

— И все-таки что на него нашло? Он говорит о всяких знаках и предзнаменованиях, и я не пойму, он об удаче волнуется или о Господе Всемогущем.

— Может, для него это одно и то же.

— Ну так вот, меня это пугает, — сказала Джорджи. — Эти разговоры и эта поездка в Брум.

— Так зачем ты едешь?

— Ну, — пробормотала она, — я смогу что-нибудь для себя из нее извлечь.

— Фокса, — со смехом сказал Бивер. — Вот и *нашлось* имя, которым он сможет заклинать Господа. И оно всегда заставляло *его* подскакивать.

— Господи, Бивер, ты знаешь больше, чем говоришь. Могу поспорить, ты о нем все знаешь до капельки.

— Не. И все-таки я могу порассказать о нем достаточно дерьма — как и он обо мне.

— А дай-ка попробую угадать: мне ты не расскажешь, что хорошего знаешь о нем.

— Верно.

— Так ты его психоаналитик или исповедник?

Бивер рассмеялся и подтолкнул ее машинку бедром, так что его брюшко подпрыгнуло вместе с подвеской машины.

— Ну, Бивер, по-дружески. Скажи мне, меняют-

ся ли люди?

— По-дружески? Не знаю. Хотя одно тебе все-таки скажу. В старину вещи были гораздо проще. Джим Бакридж в том числе.

Потом она прогуливалась с Рэчел вдоль лагуны, и они остановились на мысу, чтобы посмотреть, как ее сын Сэм скатывается с отдаленной волны, перехлестывающей через риф. Рэчел знала, что это он, потому что узнала раскраску его доски, но для Джорджи он был просто струей пены на поверхности волны. Прогуливаясь в удрученном молчании, они наткнулись на перевернутую черепаху, окруженную наскакивающими птицами. Они перевернули ее на брюшко, положили на приплесок и увидели, что та все еще жива; но тут они заметили большой стебель, вырастающий у нее из головы, на конце которого была какая-то мидия; и когда они смыли раковину, крохотный краб упал с зада черепахи. Джорджи знала, что это за черепаха. Она видела их сотнями в тропиках. Это была грифовая черепаха, забравшаяся за тысячи миль от родины. Джорджи представила себе, как утомленную черепаху уносит южное течение Лиюин, а всякие животные прилепляются к ней, как к груде мусора.

— Ты веришь в предзнаменования, Рэчел?

— Не-а, — сказала та, подергивая за основание моллюска.

— Я думала, вы, ньюэйджеры, везде их видите.

— Что это ты заладила о «Нью эйдж»? Я просто помассировала тебе спину и уже стала ясновидящей. Подруга, единственное, что у меня ассоциируется с новой эпохой, — это значок доллара.

— Старая, циничная баба.

— Гляди-ка, дошло.

— Что мы будем с ней делать?

— Сэм с Джеррой выходят ее. И зимой кто-нибудь отвезет ее на север.

— Долго же ей пришлось проплыть до этого пляжа, чтобы очутиться у наших ног.

Рэчел рассмеялась.

— Ты думаешь, я сошла с ума, — сказала Джорджи. — Из-за этого. Из-за поездки с Джимом.

Рэчел взяла черепаху и обрызгала водой ее панцирь.

— Знаешь, — сказала Джорджи, — обычно, когда я делаю глупость, я не долго думаю. Это даже похоже на безумие. Но я этого не чувствую. Я спокойна. Почти сосредоточенна. Всего несколько дней. А потом я вернусь. Он не знает еще, что я переехала на ферму. Ты заглянешь ко мне, когда

я обживусь?

— Конечно, — сказала Рэчел, глядя, как черепаха слабо вырывается и пытается уплыть.

Когда они обходили лагуну, черепаха все трепыхалась и гребла ластами в воздухе. Они прошли весь пляж и не встретили ни души.

VII

Фокс разбивает лагерь под нависающей плитой столовой горы. Здесь есть длинный уступ, запорошенный розовой пылью, и неподалеку — пруд с дождевой водой, которая скатывается сюда со скал во второй половине дня. Фокс располагается под песчаниковым навесом и устраивает костер на открытом уступе. С этого места хорошо просматривается весь остров — через вершины деревьев до пояса баобабов и до самого пляжа. Оттуда открывается вид на весь залив. Вдали лежит широкое плато в пестрых мазках красного, черного и зеленого, и в полдень муссонные дожди покрывают его полосками маленьких водопадов, которые отсюда кажутся не больше блесток на платье. Фокс выбирает место для лагеря в основном потому, что здесь неподалеку есть питьевая вода, но он отлично понимает и его достоинства в плане укрытия. Построив из веток подобие хижины и заслонив ею устье свисающей плиты, он знает, что теперь его совершенно не видно с пляжа. Укрытие отлично сливается с бахромой инжира и усиками плюща. Со временем

он протаптывает тропку через остатки тропического леса к пляжу, где раскалывает устриц и забрасывает снасти. Один конец белой бухточки заканчивается булыжниками и острой галькой. На другом — чахлая поросль мангровых деревьев; через нее он в часы отлива проходит к полосе камней, которая завершается полоской песка. От этой полоски до материка не больше полумили. Даже в сезон дождей на материке, похоже, очень сухо. Горные гряды отсюда кажутся жесткими, бездревесными.

Фокс живет вместе с приливом. С полоски песка он ловит гигантскую скумбрию и рыбу-зайца, и то тут, то там ему попадается испанская макрель. Он рыщет между скалами в поисках мангровых щук, люцианов, голубых окуней. По дороге он собирает плавучий хворост и на спине относит его в лагерь. Он жарит рыбу целиком на угольях и варит суп в котелке. Вначале, на радостях, он ловит слишком много, и ему приходится коптить рыбу на козлах из веток, накрыв ее листьями. Иногда слишком жарко, чтобы готовить, и тогда он ест рыбу сырой у воды, и ему не приходится нести обратно ничего, кроме удочки и снастей.

Он научается есть зеленых муравьев ради лимонных брызг на языке и ради того, как вкусна

становится от них густая похлебка, приправленная щепоткой чили. Он осторожно и нерешительно обращается к мангровым улиткам, чья голубая плоть его настораживает, и пробует ягоды и инжир, озабоченно сморщившись. Орехи пандануса почти безвкусны. Ему не везет с мякотью плодов баобабов, но нравится ходить под тенью деревьев, где под ногами хрустят ракушки. Он целыми днями наслаждается мыслью, что у него лучшее место на острове. Он карабкается по горам, куда только может забраться, и однажды все утро забирается на вершину столовой горы и преодолевает выдутые ветром трещины, чтобы посмотреть в сторону океана и увидеть архипелаг, который воткнут в залив под его ногами, как охотничий нож.

Несколько дней он никак не может поверить, что ему так повезло. Но со временем им овладевает спокойствие обыденности. Он старается добывать еду в утренней или вечерней прохладе. В середине дня, когда над островом повисает дождливое оцепенение, он возвращается в пещеру, чтобы плести подстилки из листьев пандануса, или просто лежит, тяжело дыша, во вневременной жаре.

Ночи вязки и по большей части спокойны. По

скалистым уступам похрустывают сумчатые куницы. Из трещин вылетают летучие мыши, и звезды поворачиваются на своих осях. Странные хрустящие шорохи отражаются в тропическом лесу, и на скалах нестройно звенят птицы, но самые постоянные звуки — это шелест и плеск набегающих и отходящих от берега волн: они раздаются на острове как непрерывное бормотание.

Днем он чувствует себя почти в такой же безопасности, как в детстве. Конечно, есть и опасности. Он карабкается по скалам и бредет сквозь ил при отливе с задумчивой осторожностью, опасаясь упасть или порезаться; он не плавает, никогда не принимает утренние и вечерние ванны на одном и том же месте пляжа — из страха перед крокодилами, которых видит с берега, — они проплывают туда-сюда, совсем как бревна. Да, есть простые опасности, но ему не от чего защищаться — ни от чего личного.

На острове так много неожиданных наслаждений: горячие стволы молодых баобабов, их он гладит кончиками пальцев, проходя мимо. Формы этих деревьев восхищают его. Наклонные, дремлющие, выставляющие себя напоказ, толстые и тонкие. На краю рощи есть огромное древнее дерево, увешанное лозами плюща и

ползучими лианами; его кора толстая и серая, как слоновья шкура. В этом дереве есть какое-то чудесное асимметричное великолепие; Фокс улыбается, едва завидев его. Когда Фокс забирается на дерево, он находит дупло, в которое когда-то таскала крабов какая-то могучая морская птица. Осколки панциря, толстые и белые, похожи на фарфоровые блюдца.

Он выясняет, что, если подолгу сидеть на одном месте, в лесу или на море что-нибудь обязательно да случится. Ты ждешь с терпением, близким к трансу, пока на мелководье не начинают играть лучи солнца, пронизывая воду, или возле полоски песка собираются стайки мелкой рыбы, как грозовые облака. Жук размером с мячик для гольфа упадет с пандануса. Черепаха выставит свой перископ в окружающей безмятежности. Молния пронижет череп.

Фокс становится несдержанным. Здесь не от кого скрывать мысли, и вот он начинает думать вслух. Он отпускает замечания в адрес морского орла, гнездо которого углядывает на скалах. Каждый день он приветствует прекрасного коршуна, когда тот вылетает на охоту из гнезда на мангровом дереве. Стоя по щиколотку в иле лицом к морю, он бормочет: «Не сегодня, мистер кроко-

дил, не сегодня, не сегодня».

Но, бродя по ракушечному пляжу, он начинает остро ощущать, что издает много звуков. Звук отражается от окружающих предметов как-то странно, так что ему кажется, будто кто-то еще идет по пляжу, идет прямо за ним. Не в силах сдержаться, Фокс все время оборачивается, чтобы посмотреть, один ли он. Этот эффект производит даже хлопанье меха для воды за плечами. Иногда — звук дыхания. Он чувствует звуки гораздо острее, чем обычную крохотную паузу между ним самим и звуком собственных шагов.

Его подошвы становятся молочно-белыми от мозолей. Он бережет ботинки для трудных дорог. Шорты и рубашка выгорают на солнце и белеют от соли, и на полотняной шляпе появляются концентрические круги от пота, похожие на годовые кольца деревьев. Новая борода колется, но немного защищает его от солнца. По утрам Фокс просыпается с солнечными ожогами на груди и плечах — как полосы сырого мяса. От влажности на заросших бородой щеках появляется сыпь. У него и так полно ссадин и порезов от рыбалки и всякой ручной работы. Однажды днем под струями дождя он поскальзывается на выстланных плющом скалах, катится вниз по песчаниковому

склону и падает на кучу гнилых листьев. Он знает: ему повезло, что он не сломал руку или ногу, но солнечные очки разбились, и нога расцарапана от колена до лодыжки. Он, хромая, добирается до воды и рассеянно промывает ногу в соленой воде. Несколько следующих дней он бродит по илу, ища крабов. Он ловит рыбу на мелководье и прячется от жары в прудах, оставшихся после отлива, и на ноге появляются язвы. Нагноение он лечит драгоценным бетадином и с тех пор промывает раны только в пресной воде. Хотя обычные для сезона дождей облака милосердно избавляют его от солнечного света, потеря солнечных очков все равно очень ощутима. По вечерам Фокс часто забирается в свой спальник с больной головой, чувствуя, что сжег глаза.

В редкие моменты плохого настроения он утешается тем, что точит нож, находит утешение в простом, полезном повторении действия и в ритме движущегося лезвия.

Фокс часто чувствует беспричинное возбуждение. Он бесцельно швыряет камни или ломает ветки деревьев. Он бегает по пляжу, подбрасывая ногами вихри ракушек, как озорной ребенок, и кричит, пока у него не заболит горло. Он все еще не может поверить, что приехал сюда без единой

книжки. Он припоминает каждую возможность по дороге, вспоминает томики стихов, которыми была забита колымага Бесс. Он тоскует по каждому роману, от которого в свое время отворачивал нос или не дочитывал, по каждому англичанину через дефис и американцу с тремя инициалами, от книг которых его клонило в сон. Вернись, вернись, Гертруда Стайн и Жан-Поль Сартр, — я все прощу. Фокс был бы рад телефонному справочнику, списку товаров и услуг.

Однажды днем он пластует рыбу и кидает головы и хребты в воду, и тут на мелководье появляется стая акул. Начался прилив, вода стоит высоко и слегка мутна, но Фокс все равно отчетливо видит, как они выписывают восьмерки у берега, видит их двойные спинные плавники и высоко выставленные из воды хвосты. Он про себя называет их смуглыми няньками; их головы, бронзово-охряные, похожи на мотыги, и они плывут, как бы танцуя, как будто перетекая из одной точки в другую — от рыла до хвоста. За ними плавают две акулы поменьше. Лимонные акулы. Ветреные, агрессивные, такие же бродяги, та же параноидальная резвость.

Фокс бросает им несколько кусков, и акулы перекатываются в суматохе брызг, чтобы заполу-

чить еду. Он кидает обрывки шкуры и потрохов ближе к берегу, и лимонные акулы рвутся вперед так быстро, что обрызгивают Фокса с ног до головы. От этого зрелища сердце у него падает. Он бросает мясо почти на берег, и акулы бросаются на песок в диком скрежете плавников и хвостов. Две акулы, выпрыгнувшие особенно далеко, застревают в песке, и Фокс садится на корточки и смеется над тем, как они, извиваясь, ползут обратно к воде. Он кормит их, аплодирует им и насмехается над ними, пока не спускается ночь и не приходит время возвращаться в лагерь, предвкушая голодную ночь.

На следующий день акулы возникают вместе с приливом, и их вид подбадривает Фокса. Они теперь приплывают каждый день, и он ждет их. Несмотря на страх перед крокодилами, он готовит для акул лакомые кусочки и дразнит их, заставляя приближаться все ближе, пока они не начинают выхватывать мясо прямо у него из рук. Они встают на грудные плавники, высунув головы из воды, и он гладит их плоские костяные башки, когда они рвутся вперед. Из лагеря он приносит моток веревки и привязывает к нему головы рыб величиной с блюдце, чтобы поиграть в перетягивание каната. Акула побольше может

сбить Фокса с ног и оттащить вперед ногами к кромке воды, прежде чем схватит награду или перекусит веревку. Осмелев, они выбрасываются за куском прямо на сухую землю, катаются и вьются по песку, стремясь обратно в воду, и игра развивается, пока Фокс не начинает кормить их с рук, и они толкают его, проплывая мимо по мелководью. Ему нравится спортивный азарт, эта сумасшедшая игра, но больше всего он ценит именно их телесное присутствие, вес акул на своих руках, плотскую общительность этих засранок. Каждый день они приплывают, как приплясывающая, дерущаяся стая собак, и, насытившись, тянут за канат уже без наживки, и Фокс так смеется, что в конце концов начинает икать.

* * *

Циклон приходит неожиданно. Занявшись игрой с акулами, Фокс едва замечает два темных дня, когда все небо затянуто облаками-предвестниками. На третий день после полудня спускается тьма, но день для Фокса ничем не отличается от обычного, пока он не замечает, что рыба бешено скачет посреди затопленных мангров; обратив взор к заливу, он замечает волнение на воде за пределами бухты. В воздухе неожиданно начина-

ет пахнуть электричеством, и у него закладывает уши. Ледяной ветер рвет вершины деревьев.

Фокс относит каяк повыше, в заросли за кольцом баобабов. Когда он добирается до уступа, пытаясь спрятать в лагере все, что возможно, воздух становится восхитительно прохладен. Огромные черные облака, похожие на грибы, собираются над водой, и в них глухо рокочет гром. Фокс относит свои пожитки под нависающую плиту и привязывает хижину из веток единственным оставшимся обрывком веревки. Молния бросает белые отсветы на деревья, и струя воды поднимается, как злой белый корень, из моря цвета глины; она, свистя, приходит и плюет по воде, выбрасывая в воздух маленькие темные предметы. Она идет прямо на Фокса, но потом резко меняет направление, катится к материку — и вот уже исчезла из вида.

Еще до темноты с моря приходит ветер; скалы острова защищают Фокса от самого худшего, но, когда спускаются сумерки, он чувствует, что ветер начинает дуть с запада, и волны бьют в пляж. Ему не нравится эта гроза. Беспокоясь за то, что его драгоценный каяк может унести или смыть, Фокс спускается вниз и тащит его через деревья и скалистые террасы в лагерь. Он успевает засу-

нуть каяк в самую глубину пещеры под нависшей плитой, и тут вода начинает полотнами падать с окрестных скал.

Ранним вечером хижина из веток начинает ломаться. Ветер визжит в плюще, и инжировые деревья, кажется, дрожат до самых корней. Скала превращается в водопад, и ночью камень над головой Фокса начинает протекать. К утру по его маленькой пещере мчится поток. Он вытекает из основания пика прямо над ним и загоняет его в узкую нишу, где ему приходится скорчиться со своими пожитками, и весь ужас в том, что он не может зажечь свечу.

Буря усиливается. Вой деревьев пугает его. Каяк бьется о скалы у его ног. Фокс заворачивается в вымокший спальник и пытается не думать о своей матери. Он начинает напевать себе под нос, чтобы не слышать звука бури. Затыкает уши пальцами.

Эвкалипты. Эвкалипты на песчаной прибрежной равнине. До того как старик спилил их и мстительно выкорчевал пни, дом был окружен эвкалиптами. Мать любила их. Изящные, с серой корой. Их тень охлаждала двор и приманивала птиц, и с самого большого свисала шина на цепи, на которой они с Негрой катались, пока ноги не

проделывали в грязи четыре глубокие борозды, а на дереве не появлялась блестящая вытертая полоска.

В широких кронах эвкалиптов ревел неустанный ветер среднезападного побережья. Летом по утрам казалось, что там, в вышине, собралась толпа, а в бурю эвкалипты издавали шум, будто бы неподалеку перешла в наступление целая армия.

Они просто решили сходить на птичий двор. Дул северный ветер, тот теплый рыхлый порыв, который предшествует приходу большого зимнего фронта. Волосы матери струились над плечами. Она мелодично смеялась. Они сели на корточки и начали собирать яйца. Он держал проволочную корзинку. Они пошли обратно домой; он помнит ощущение своей руки в ее руке и запах яиц, отдающих пометом.

Они проходили под низко нависающим суком, наклоняясь под порывами ветра, когда один порыв шатнул дерево; оно издало звук, будто рядом с ухом кто-то хлопнул в ладоши. Мать вырвалась из его руки. Через полсекунды буря сорвавшихся с ветвей листьев опрокинула его. Он чуть-чуть полежал, глядя вверх через крону дерева; послеполуденное небо было как рыбья чешуя. Над ним

висело птичье гнездо, покрытое пятнами фольги и перышек. Сама земля под его телом, казалось, вибрировала от того, как деревья боролись с ветром, но ковер из опавших листьев казался надежной защитой. Он чувствовал сонливость, безопасность. Когда он все-таки встал и пошел искать мать, он не увидел на ней крови, только разлившиеся желтки и сурово поблескивающий белок, размазанный по ее голым ногам. Острый конец сука воткнулся ей в грудь, но он еще не понял, что она мертва. Через несколько дней ему должно было исполниться десять.

Сегодня каждый шквал, проносящийся под скалой, кажется бризом, тем самым, какой чувствовался тогда. Шквал бьет его всю ночь; он слишком хорошо его знает. Похоже, что всю свою жизнь Фокс шел, овеваемый дыханием мертвых; и он ненавидит это.

Всегда этот удар ветра. Он остается позади.

И вот снова он всем приносит с ручья кожу змеи, чтобы показать всем. Она берет похожий на бумагу рулончик и улыбается.

— Смотри, Уолли, — говорит она. — Смотри, как прекрасен этот мир, посмотри, что он оставляет нам. Мир нам не враждебен.

Мальчик чувствует, что напоролся на разгора-

ющийся спор.

— Не считается, — бормочет старик, почти не глядя на кожу. — Это наваждение, сон, сон, через который нам надо пройти.

— Но посмотри!

— Штучки. Фигня. Просто вещи.

И улыбка на ее лице, когда она откидывается на спинку стула с открытой книгой на коленях, и ее волосы сияют каждый раз, когда она счастливо встряхивает головой.

— Священный, — говорит она, слегка дразнясь. — Священный, священный, священный.

— Все дерьмо и кости, вот и все. Не считается.

— Священный. Скажи ему, Лю.

Он стоит между ними с открытым ртом, думая, уж не провинился ли он, принеся эту штуку домой.

Священный? Он всегда хотел в это верить, и это казалось инстинктивной правдой, вынесенной из тех тысяч дней, которые он провел, волоча палку по грязи, пока вороны добродушно прочищали горло ему вслед, а эти камни на холме нежно хныкали. Но в конце концов — вот она, и острый сук проткнул ей грудь. И старик все это время умирал с этими голубыми волоконцами в легких. Чудесная земля Господня. Уклоняясь

от него снова и снова, скользя под шинами того старого грузовичка и потом хватая их, вгрызаясь в них, и переворачивая, и посылая ребятишек на бахчи, как брошенные сумки с почтой… Мир священен? Может быть. Но у него есть и зубы. И как же часто чувствовал он этот укус в бьющем порыве ветра.

На рассвете он ползет через потоки воды, встает на отмытый до блеска уступ и видит, что самое худшее уже позади. В воздухе пахнет серой. Отсюда Фокс видит разломанные ракушки и бастионы из бревен, вынесенных на вершину морем. Спускаясь, он замечает, что его пруд с пресной водой переполнен. Тропа превратилась в речушку, текущую через хаос поваленного леса. Он пробирается, пока не доходит до огромной звездочки на пляже, там, где вчера был огромный баобаб. Внутри оставленного молнией кратера все еще тлеют угли. Несколько ампутированных сучьев лежат, тлея, рядом, но все дерево превратилось в пепел — пепел и запекшуюся на огне корку. Несколько деревьев рядом обожжены, но огонь не распространился на пояс зелени под скалами.

На деревьях висят медузы. Они поблескивают, когда на них падает случайный лучик солнца.

Фокс раскалывает устриц и кидает их на горя-

чие уголья, пока они не начинают вскипать и разевать рты.

* * *

После циклона сезон идет на спад, дни становятся ясными и жаркими, воздух — суше. Фокс ощущает начало трудностей: становится меньше ягод, выгорает трава. Он должен теперь больше трудиться, чтобы наловить свою дневную норму, и видит, что пруда у подножия скалы, хотя он все еще широк и щедр на питьевую воду, может не хватить ему на сухой сезон.

Жаркими днями, когда не продохнуть, он гребет вокруг косы к материку и направляется к ручьям, окруженным манграми, чтобы поискать воды и, может быть, места для лагеря. Он находит узкие струйки пресных ручьев, но эти поездки его изматывают, и, скорее всего, эти ручьи тоже пересохнут. Он направляется на север, к архипелагу, и находит там прелестные места, но по здравом размышлении ни одно из них не кажется ему лучше, чем то, где он живет. За неделю Фокс объезжает все острова — безуспешно, и наконец ему приходится подумать о побережье материка.

Направляясь назад к своему острову в начале отлива, он натыкается на белый холмик у берега

крохотного ручья, окруженного мангрáми. Он гребет туда, чтобы быстро осмотреться, удивляясь, откуда здесь мог возникнуть ракушечный курганчик. Размером он не больше двух стоящих рядом «Лендкрузеров», и, только встав рядом, Фокс понимает, что это терриконик. На мраморной поверхности — черные и серые вены, куски угля, раковины моллюсков, мидии, устрицы.

За терриконикóм — широкая, плоская площадка, на которой растут пандáнусы. Из любопытства он идет вниз и находит поток пресной воды, текущий в сторону моря через поля расколотых раковин. За ним — непроходимые заросли плюща и кваканье лягушек. Фокс обходит ручей и доходит до песчаникового обрыва. Там есть заманчивая нависающая плита. Да, хороший лагерь, альтернатива, если на острове совсем не останется воды.

Фокс забирается на маленькую насыпь, чтобы осмотреться, и на следующей гряде замечает широкогорлую пещеру, возле которой растет инжир. На желтой скале нарисованы крохотные танцующие фигурки цвета запекшейся крови. Фокс слегка вскрикивает от удивления. Он рассматривает динамичные картинки, большинство — не больше его ладони, и восхищается их утыканны-

ми перьями головами и юбками. Большую часть изображений уже нельзя рассмотреть.

Внутри пещеры он видит еще наскальные рисунки — в другом стиле. Он подходит ближе, чтобы посмотреть, но замирает. С задней стены на него смотрит огромное лицо без рта. Лучи света выходят из его головы. Фокс чувствует, как с инжировых деревьев ему на плечи падают зеленые муравьи. Он думает: «Что за черт?» — и идет вперед согнувшись.

Потолок занимает огромная фигура, нарисованная белой и красной охрой. Голова у нее размером с черепаший панцирь, глаза большие и темные, и она тоже без рта. Руки как ощипанные крылья. Между раздвинутых ног вниз простирается странный ствол.

Фокс ложится на спину, чтобы рассмотреть ее получше. Такое яростное лицо с таким ярким взглядом. Как грозовое облако.

— Привет, — шепчет он. — Я просто в гости.

Это потрескавшееся лицо больше его лица раза в два.

Под ним скрипит грязь. В пещере пахнет углем. Он думает о том парнишке, Акселе, и думает, не видел ли он этого. Насекомые слепили из глины гнезда на коленях этого парня. Некоторые части

изображения уже потускнели, но лицо все еще ярко и глаза все еще горят огнем.

Выбираясь наружу, Фокс ловит себя на том, что начинает креститься, и подавляет усмешку. Давненько он этого не делал.

Фокс держит лагерь у терриконика про запас. Тем временем он ищет еду, измеряет ее количество, сводит концы с концами, думает о пропитании. У него кончились сушеные фрукты, а вместе с ними рис и драгоценный молотый чили. Во время отлива он собирает щепотки соли с впадин в скалах. Он понимает, что с каждым днем он ищет пропитания все дольше и дольше. Он уже редко может себе позволить отдавать тушки рыб акулам.

В конце концов мысль обо всей этой еде, спрятанной на той стороне залива, становится для него слишком невыносимой. К концу первой четверти луны, когда прилив самый низкий, он при первом свете дня выходит в море на своем каяке.

Несмотря на то что в спину ему дует легкий бриз, грести приходится четыре часа. Фокс высаживается на мысу и какое-то время лежит, затаившись, в скалах, чтобы убедиться, что в рыбацком лагере никого нет. Но никого не видно. Циклон опрокинул веранду из веток и сорвал

крышу.

Внутри пещеры несколько ящиков протекли, будто в них побывала вода, и содержимое вылилось на ракушечный песок. Все завалено пометом куниц; бравые маленькие сумчатые засранки везде успели порыться. Генератор и холодильник, кажется, выстояли, а за ними, в пенопласте и виниловых ящиках, Фокс находит свечи, зажигалки, антисептический крем, ящик пива, из которого вынимает блок из шести банок, специи для карри и черный перец, зараженную долгоносиком муку, мешки с рисом, тюбики с солнцезащитным кремом и репеллент. Он рыщет и находит сушеные овощи и даже изюм. Он складывает все это в пластиковую бочку и катит ее к каяку.

Он тщетно ищет книгу или журнал. Он утешается стальным котелком и баночкой с мазью из папайи. Ему не везет, и он не может заменить противомоскитную сетку, которую порвал, ловя креветок, но зато у него оказывается настоящая рыболовная сеть, на которую раньше он бы и не взглянул. Фокс загружает каяк и надеется, что беспорядок, оставленный бурей, скроет кражу. Он запечатывает каждый контейнер и, перед тем как уйти, заметает пол пещеры сухой веткой.

Он возвращается на остров с приливом, еще до заката; он воодушевлен. Акулы ждут, но у него нет времени играть. Фокс кладет ящик с пивом в свой прудик, чтобы банки охладились, пока он перетаскивает поклажу. Он варит в новом котелке рис с сушеным горохом и абрикосами и, когда встает новая луна, открывает жестянку с пивом. Его удивляет неестественный, неприродный звук, который раздается при этом, и то, каким кислым оказывается пиво, и то, как быстро у него начинает кружиться голова. Он выпивает банку в три глотка и открывает новую. Он зажигает свечу, чтобы испытать новое чувство, но тут же задувает ее снова, исступленно желая, чтобы у него была книга; все, что угодно, лишь бы занять ум, направить мысли, напитать его.

Он сидит на гладкой, теплой террасе, глядя поверх вершин деревьев. Он выпивает все шесть жестянок и засыпает прямо в грязи.

* * *

Много дней после шести банок пива Фокса преследуют жажда и жара. Он не может найти себе места, и в послеполуденной полудреме он воображает себя в холодильнике. Покрытые капельками жестянки, затуманившиеся пласти-

ковые контейнеры с салатом-латуком, потеющие бутылки, красные помидоры, с которых капает влага, снежная ледяная стружка и звук льющихся в стакан замороженных напитков. Эта му?ка портит ему наслаждение от нынешнего изобилия; она портит роскошь соевого соуса и чили и смягчающего бальзама на его многочисленных ранах. Вечера невыносимо медленны. Он разжигает костер, только чтобы на что-то смотреть. Что-то вырастает в его голове; пузырьки и вспышки, пухнущие картинки и полумысли, они сталкиваются друг с другом и отменяют одна другую. Даже простая физическая работа больше не приводит его в себя и не умиротворяет. Ему кажется, что он сходит с ума.

Однажды, смазывая катушку спиннинга драгоценным растительным маслом, Фокс трогает пальцем туго натянутую на катушке леску и слышит что-то вроде си-бемоль. Он снова трогает леску и смеется. С катушки в пещере он отматывает пару метров нейлоновой лески и натягивает между двумя ветвями инжирового дерева, под которыми обычно спасается от солнца. Слабая нота, которую издает леска, не очень похожа на звук, но, когда он натягивает леску посильнее, звучание начинает ему нравиться. Леска жуж-

жит, она издает звук, не похожий на природные, но и не слишком сильно от них отличающийся. Фокс нерешительно откашливается и начинает мурлыкать ноту себе под нос. Он думает о маленьком заде Негры, как он высовывается из пианино, когда тот тянет за струны. Его сердце бешено колотится; кажется, что опасно давать этой ноте звучать, но палец рефлекторно скользит по струне. Сколько раз в прошлом году он видел эту стальную гитару, видел ее изуродованное лицо и потускневшие стальные изгибы — и просто проходил мимо? Знает Господь, музыка сведет тебя с ума, но все же ты держишь эту длинную, роскошную, монотонную, гипнотическую ноту, и она не убивает тебя, она не делает из тебя дикую вопящую развалину — слушай! Внутри этого гула — все это прекрасное множество временны?х отрезков оплетает тебя — промежутки и заполненные участки, горячее бульканье, подступающее к горлу. Неожиданное наслаждение — черт, да только послушай! Ты напеваешь, и выводишь, и распеваешь это чертово нейлоновое си-бемоль, и это чудесно. *Вонг-вонг-вонг-вонг, вука-вонг, вонг!*

Он со стоном выпевает ноту, горло у него горит от удовольствия, и Фокс начинает часто дышать,

чтобы это чувство не ушло. Его тело будто бы вскипает миллионом пузырьков. Пузырьки на коже, изгибающиеся полоски пузырьков у него перед глазами. Они танцуют по заливу перед ним, а в его ушах — щебет, как если бы он упал с горы, и у него болит ключица. Гул поворачивает внутрь себя. Как огромные открытые пространства одышки, как свобода, которая — он знает — заключена в твердом, чистом пузырьке дыхания ныряльщика. И через какое-то время гул превращается в тихое скольжение через теплые и холодные слои океана, во что-то, близкое к полету. Внутри этого гула звук становится температурой, и вкусом, и запахом, и воспоминанием, *вука-вонг.*

И когда Фокс выплывает на поверхность, солнце село, и над ним звенят москиты. Звук мира сыр. У его уха, на инжировом дереве, комок зеленых муравьев щебечет злобные сплетни, а дальше — удары крыльев вылетающих из пещеры летучих мышей и стук челюстей крабов, что пируют среди мангров.

Он втирает мазь поу-поу в руку и сидит в темноте, насытившись, удивленный, в восторге.

Следующие несколько дней, когда Фокс не собирает еду, он играет на леске. Сначала он играет

ради освобождения, бунтуя против дисциплины, которой так долго придерживался; и возвращение к музыке для него — просто физическое наслаждение, некое облегчение от смягчения режима, в котором есть нечто большее, чем простая чувственность. Но когда Фокс исчерпывает простую музыкальную игривость, игру в прятки с импровизацией, он понимает, что внутри длинной наркотической ноты есть куда заглянуть.

Он идет на юг, через пустыни и горы к прибрежной равнине Среднего Запада. Он проходит по выжженной, выщелоченной бахче на ступеньки веранды, и по мрачному коридору в библиотеку — и час за часом он плавает среди книг. Их обложки скрипят, как двери. Иногда они издают звуки — как тихие вздохи разрезаемого арбуза, — и он идет по их строчкам, как человек идет по родным местам. Он карабкается по утесам «Прелюдии» и «Тинтернского аббатства», через горячую, яркую Эмили и усаженный шипами подлесок Билла Блейка. К нему приходят строчки. Он напевает их в си-бемоль, в каком-то моноволоконном, разнообразном монотоне, который кажется неисчерпаемым, будто бы Фокс плывет в море слов, в океане, который можно выпить.

И при всей этой наполненности, при всем экс-

татическом чувстве объема Фокс жалеет лишь об одном: ему не с кем этим поделиться. Он, тоскуя, думает о Джорджи, о ее игривых подстрекательствах, об интересе к книгам, и о том, как он туп, что не смог выразить то, что чувствовал. Господи, сколько же он хотел ей рассказать! Фокс не знает, что? следует вынести из Вордсворта и Блейка, как надо говорить о них, если тебя учили знатоки; но он знает, что попробовал бы объяснить ощущение живого мира, то, как они инстинктивно чувствуют, что и в самом деле есть некий дух, омывающий собою все сущее, есть какая-то страшная память камней, ветра, птичьих жизней.

После нескольких дней пения Фокс понимает, что может приходить не только в библиотеку, что он может неслышно скользить по всему дому, почти болезненно ощущая свое присутствие. Он чует запах выпеченного им самим хлеба. И вот он у раковины, рядом с самим собой, в своей собственной кухне, босой и в джинсах. Окно не мешало бы помыть. На подоконнике лежит речная галька, а в масленке рядом — передний зубок Пули. Детей слышно — они где-то в доме. Когда он поворачивается, Сэл смотрит на него из дверей, от кучи мусора, которую метет, и почесывается,

пьяно подбоченясь, обращая на него внимания не больше, чем на собаку под столом.

В комнате со стиральной машиной он, маленький, прижат к рычащему Гуверу с двумя бадьями для воды, который, кажется, сейчас взлетит в космос. Но это «врррр-врррр-врррр», этот звук!

И сонный звук пилы, вгрызающейся в бревно: «Поднять! Паруса! Поднять! Паруса! Поднять! Паруса!» — и на солнце сияет отцовский пот. И стоя рядом с самим собой, Фокс в такт качается на пухленьких младенческих ножках, удивляясь суховатой ухмылке отца.

Птичка, завернувшаяся в джинсовую куртку Фокса, и ее молочное дыхание на его лице, когда она поет гимны у него на руках. «Северный ветер листья рвет, красная пыль стоит столбом, воробьи под карнизом сидят, почернела трава на бахче». Рождество. Значит, это было Рождество, и ее голова — не больше маленькой дыньки.

Фокс выходит наружу и видит себя самого на корточках на бахче: он собирает арбузы. Жаркое Рождество. Солнце печет ему шею. И он поднимает глаза и видит их, Негру и Сэл, как они разлеглись на ступеньках веранды — они смотрят, как он работает.

Он стоит за спиной Птички в сарае. Она замер-

ла, увидев знак старика.

Господь – глава дома сего,
Невидимый гость при каждой трапезе,
Молчаливый слушатель каждой беседы.

На следующий день после похорон бедного засранца Негра содрал табличку со стены кухни, и вот где она оказалась. Птичка обходит ее кругом, выходя в сияние дня. Она знает, когда ты здесь. Так же и мать знала, когда ты где, или знала, когда кто-нибудь из вас поранился. И неожиданно — рука на ее груди. Ты сам это видел.

Днем акулы кружат по мелководью, но он играет на струне. Его большой палец покрылся мозолями; он может играть часами.

Фокс поет, чтобы пройти по овечьим пастбищам и желтым вымоинам, по сухому руслу реки к ферме. Мирты сами на себя не похожи — так они высохли и истончились. Кремнистая почва верхней бахчи скрипит под ногами, и там, где должен быть дом, дома нет. Его деревья мертвы, и ни одной серебристой резной полоски арбузной плети не осталось на земле. Он ожидает увидеть, по крайней мере, кучку пепла, кратер от молнии, но нет ничего. Только кости скалы на вершине

холма. Когда он доходит до вершины, тени от пиков — цвета патоки. В воздухе горько пахнет потом и мочой. Монолиты опираются на ветер, но даже вечного южного ветра больше нет. Фокс стоит там, рядом с самим собой, и залезает рукой в трещину на камне в поисках жестянки из-под чая; известняк дрожит под его рукой и сам льнет к его бедру когда Фокс наклоняется. Внутри жарко и влажно, и его рука будто поросла влажным мхом. До жестянки не дотянуться. Когда Фокс проникает глубже, скала стонет и кричит ему в ухо, и как раз под его телом возникает голубоватая кора, гладкая плоть, от которой Фокс отшатывается так быстро, что, когда он выдергивает руку, вместе с рукой из трещины проливается поток крови и воды.

Фокс перестает играть. Ночное небо теперь пурпурно, и красные звезды постепенно уходят на восток. В деревьях поют сверчки, со свистом пролетает козодой. Вдали на скалах дерутся куницы. Он не спит. Он не окаменел от гула, он в сознании и целиком здесь; у него болят колени, ему надо помочиться, но небо наполнено дикими красными падучими звездами, как будто он намечтал их или выпел их. Они как угли костра на ветру, они несутся к материку долго-долго, и

потом снова лишь пурпурная ночь.

Фокс зажигает свечу, чтобы утешиться светом и съесть немного риса, который скис на дневной жаре. Он обваливает кусочки копченой рыбы в порошке молотого чили и ест; его беспокоит образ камней. Это не воспоминание. Это что-то еще, и это что-то его пугает. Он решает пока перестать играть.

…На следующий день он чувствует усталость от прерванного сна и собирает устриц, не очень понимая, что делает: голова как чугун. На корточках, в отлив, посреди бормочущих скал, он отрывает от булыжников больших черных морских ушек рукояткой мачете. Работая, он слышит в голове мелодию, повторяющийся нисходящий аккорд. Он открывает ракушки кончиком ножа и ест; его приводит в замешательство музыка. Она все время одна и та же, как будто с дерева бесконечно падают листья. Каждая нота скользит в свой черед к земле неумолимо, почти невыносимо. Виолончели и колокол. Эта распутывающаяся нить ему знакома. Фокс пытается заставить свой ум принять ее. Его подташнивает от того, насколько знакома ему эта музыка. Он наполняет холщовый мешок мясом устриц, но тон поднимается у него от пяток; он звенит у Фокса в хребте,

он резонирует в шее. И вот он стихает, исчезает, как гул машины, проезжающей вдали по дороге. Бесс, думает он. Это музыка. Музыка Бесс на пыточных равнинах Рубека, по дороге в Брум. Музыка смерти. Арво, сказала она, послушаем Арво в послеполуденной жаре! Наш маленький эстонский приятель! Он знает! И Фокс уверен в том, что почувствовал смерть старушки. Здесь, сейчас. Он какое-то время стоит и потом протягивает перед собой руку ладонью наружу. Он не может решить, что? должен означать этот жест; он не знает, что еще может сделать.

Фокс берет мешок и идет к лагерю. «Мертвые, — думает он, — всегда мертвые. Я слышу мертвых людей и пою их слова. Я мечтаю о них, вот и все, что я делаю. Все мои — мертвы».

Когда он доходит до баобабов на пляже, он на минуту присаживается на корточки в тени и открывает мешок, чтобы вдохнуть чистый, солоноватый аромат. Джорджи Ютленд. О ней напоминает ему запах, этот чистый запах. Этот запах на его руках в тот день, в те дни, в ту единственную ночь. Даже аромат ее волос после купания — как чистые водоросли, яркий запах на твоих губах. «Что ж, *эта* – живая», — думает он.

Он направляется в лагерь — обрывки мыслей

теснятся в голове — и натыкается на низкую ветку, которая чуть не выбивает ему глаз. Лежа распростершись на сухом мусоре, он ругает себя за неосторожность. Он поднимается, потрясенный, и споласкивает лицо в мелком прудике на уступе рядом с лагерем. Он больше не будет петь. Никакой больше музыки. Или сойдешь с ума. Ты всегда это знал. С того самого дня, когда ты вернулся на ферму с этим жутким потрескиванием в ушах, ты понял. Несколько недель продолжалось оно, это ощущение наполненности в ушах; это было как свист и жужжание, оставшиеся в голове после рок-концерта, как будто он наполовину оглох после артобстрела. И оно защищало тебя, делало тебя нечувствительным. Но когда оно прошло, ты остался наг. Надо было сделать себя недосягаемым. Сначала — для музыки, а потом и для воспоминаний, потому что музыка жила в них; но и для людей, потому что они могли сказать все, что угодно, сделать все, что угодно, напомнить о чем угодно в любой момент и прикончить тебя, даже не заметив этого.

Он устраивает пиршество, поджаривая мясо устриц на драгоценном растительном масле, и добавляет горсть раздавленных муравьев, обмакивает в сою, посыпает чили и пирует. Он

наслаждается физическим ощущением, каждой деталью угощения. Вот что нужно. Внимание к *сейчас.*

* * *

Фокс работает над перестройкой своей хижины из веток и покрывает ее пальмовыми листьями и пучками пырея. Он сплетает себе козырек из листьев пандануса, чтобы восполнить потерю холщовой шляпы. Он собирает мясистые стволы мангров вокруг уступа и рыщет в поисках птичьих яиц. Иногда днем он лихорадочно играет с акулами, но теперь он осторожен; ему это кажется бесцельной тратой энергии. Натянутая леска гудит под дневным бризом, но он больше не играет на ней. И все же воспоминания проносятся у него в голове, как стадо животных, потоком идущих через пролом в изгороди.

Образ старика, срывающего со стен все иконы и смахивающего свечи. Холодная ярость, которая овладела им в день, когда он навсегда распростился с Римом. И непонятно почему. Старина Уолли ринулся в протестантизм, как настоящий мужик в холодный душ. Если бы Фокс родился на несколько лет позже, он вполне мог бы стать Кальвином, а не просто Лютером. Но потом, за

день до того, как его увезли умирать, старик сел на постели и указал на пустой дверной проем, а потом перекрестился рассеянно, методично, как человек выключает мотор или запирает машину.

Он думает о Птичке, как она забирается к нему и от нее пахнет мочой, о том, как она согнулась над кошачьей корзинкой в свете зимнего солнца, и об этих крохотных записочках-таблетках — ПРОСТИ. И о спящем Пуле, распростертом на постели, как он сжимает свой маленький член и дышит ртом. Он размышляет над великодушным *дзынь* чудовищной гитары, как она звенит у тебя в руках, на коленях, и звук пронзает тебя до самых пяток. И вы трое на веранде вечером, закинув ноги на перила, лабающие какую-то туманную штуку из Джей-Джей Кейла, зная, что *вот оно,* на вас благодать; зная, что в них — настоящая музыка и ты можешь только радоваться, потому что без них ты ничто. Те вечера, когда ты знал, ч*то* священно. Просто аромат ночи, и улыбки на лицах, и переплетение аккордов.

Но еще он помнит, задолго до того, уродливую оранжевую тыкву на школьном автобусе, который тормозит на шоссе, а за рулем — Доггер Дин. Запах «Брюта». И Сэл, загорелая щека при-

жата к стеклу, когда они влезают в автобус из тени фруктового киоска. И скрежет передач старого «Лейланда», пока они пробираются по проходу туда, где она ждет их на длинном заднем сиденье. В те утра они с Негрой целовались и передавали фруктовые жвачки изо рта в рот, и их руки скользили друг по другу. Они издавали чавкающие звуки прямо там, рядом с ним. И Негра тянул ее за сосок, торчащий из-под белой кофточки. А он, его брат, был совсем рядом. И низкий горловой звук, который она издавала, проходил по его телу, как электрический разряд. Мимо неслись бахчи. Сумка врезалась ему в колени. И ее запах, запах крови и кости, который поднимался от нее каждый раз, когда она закидывала ногу на ногу. Фокс чувствует вину за эти воспоминания, за то, что испытывал это, за то, что впустил воспоминания обратно. Это бесчестит мертвых. Это порочит его. Из-под скал, из глубины, поднимается огромная стая испанской макрели и штурмует шар прикорма. Фокс хватает удилище, привязывает хромированную блесну и забрасывает. Он обходит усаженные ракушками скалы, ругая себя за то, что не догадался надеть ботинки, но вид этих испанцев, хватающих наживку, слишком заманчив, чтобы откладывать

ловлю, бегая за обувью. Птицы разбрызгивают воду и хватают раненых анчоусов. Поверхность бурлит серебряными и черными вспышками. Фокс забрасывает удочку далеко за пределы этого кипения и крутит катушку изо всех сил — и тут же у него клюет. Катушка скрипит, он плюет на катушку, чтобы не так горели пальцы. Кажется, рыбина больше его размером; она гнет удочку, сгибает ее почти пополам и отпускает так быстро, что под разматывающимися слоями лески начинает показываться стальная поверхность катушки. Надо это прекратить. Фокс дергает тормоз и неожиданно скользит вниз по скалам, по всем этим устрицам и ракушкам, острым, как стекло. Спиннинг вырывается у него из рук. Он сваливается в воду с ободранными ногами. Он выбирается обратно, опираясь на локти и ладони, видит кровь в воде, видит, как удочка мчится через залив на всех парах.

Он пытается дохромать до лагеря, но закончить путешествие ему приходится на четвереньках. Он какое-то время отдыхает возле остатков прудика и промывает ноги, чтобы оценить размер повреждений. Везде видны ссадины и рваные царапины. Кусочки раковин торчат под кожей, как осколки снарядов.

Он ползет к лагерю и вытаскивает из кармана рюкзака пинцет. Он снова промывает ноги и кладет их на чистый кусок дерева. Потом он берет пинцет и начинает выковыривать осколки. Боль ужасна, но еще хуже — ощущение стали так глубоко под кожей. Он роет, копает и тянет, заставляет себя не останавливаться из страха охрометь, занести инфекцию и Господь знает чего еще. Когда он достает первый невинный кусочек черной ракушки, у него трясутся руки, и он сомневается, удастся ли ему справиться с остальными. Чем дольше он мешкает, тем глубже становится его ужас. Он пытается напевать, чтобы отвлечься, и так он и продолжает, мурлыкая под нос, постанывая, вздрагивая, не давая музыкальной фразе продолжаться больше секунды-другой, чтобы не упасть духом окончательно.

«Только моя вина (да, сэр!), *только моя вина* (вашу мать!), *и если я умру и душу погублю, то это только моя вина».*

И мелодия уносит его прочь оттуда, к мыслям о Негре и Сэл. Тяжкие мысли в болезни. Предательские мысли.

Эти взгляды в сторону. Негра никогда не смотрел *на* тебя. А ты все любил да любил его, и всегда удивлялся, и презирал себя за это удивление. Да-

да, так все и было. И ты тайно ненавидел себя за это. Но он едва смотрел на тебя. Это был быстрый взгляд, как будто бык прикидывает, насколько ты меньше его. И смех Сэл — «Хе, хе, хе», — с самого детства, все то же хихиканье, из-за волос и всей этой блестящей кожи, будто она смеялась над тобой, а не вместе с тобой. И никто из них — и пора в этом, черт подери, признаться, — ни один из них даже пальцем в жизни не шевельнул. Это ты всегда сажал арбузы, ты всегда чинил заборы, и ты запускал генератор, ты возился на кухне и сидел на этих чертовых родительских собраниях. Господи, да это же ты покупал рождественские подарки, и ты откладывал деньги на хозяйство. И в общем, тебе было все равно; ты был счастлив просто быть рядом. Разве это был не их дом, разве Негра был не старший? И кроме того, были дети, была музыка, и ты был братом своего брата. Он ведь был твоим героем, так? Парень мог играть хоть на чем. И именно это спасало тебя от полного презрения. Это делало вас бойцами, а не проигравшими; это давало вам последнюю кроху уважения в округе, и в глубине души ты всегда верил, что это *их* заслуга, не твоя.

И все же, если начать задумываться, что же это была за пара? Они бешено нуждались друг в

друге, но это желание не распространялось ни на кого больше. Ты им нравился, и они любили детей — по-своему, отстраненно, но не было страсти, не было самопожертвования в этой любви. Они любили только играть, и это было лучшее в них. Долгие годы ты думал, что музыка была *в них*, что она шла от них. Ты знал, что и ты мог неплохо играть, что ты чувствовал музыку глубже, но что твоя игра не могла и сравниться, не сравнивалась с их виртуозностью. Разве не шептал ты себе три тысячи ночей в своей жизни, что прощаешь им все остальное ради того, *что они* могут делать? Ради музыки. Но это помогало не всегда — только когда ты верил в то, что они вдохновенные создания, что они источник музыки. Теперь, когда они мертвы, ты просто *хочешь*, чтобы это было так; ты больше не веришь в это по-настоящему. Ты всегда хотел, чтобы они были гораздо лучше, чем были в действительности; ты хотел этого, чтобы держать себя в узде, чтобы сделать жизнь с ними выносимой, чтобы не потерять детей. Но вот ты придавлен к земле, когда ничто тебя не защищает, и кусок блестящей стали погружается в ногу до половины толщины снова и снова, и у тебя просто не остается сил убеждать себя; здесь ты как оголенный провод. Музыка не жила *в них*.

Они едва ее чувствовали. Им просто нравилось играть. Им нравилось давать концерты, и переигрывать друг друга, и уметь что-то делать хорошо, и выжимать репутацию, чтобы подняться над презрением Уайт-Пойнта. Но они были просто музыканты, ребята, которые знали свои аккорды. Негра был вдохновенной обезьяной. Он любил играть, но музыка ему только нравилась. Они оба относились к этому так же небрежно, как и к своим детям.

Вот оно, говорит он себе в тумане боли, ты знал это давно.

Вот, как твой страдающий член, — каждое утро в школьном автобусе. Как Негра совал палец тебе под нос, чтобы ты почувствовал ее запах. Зачем поступать так со своим братом? И зачем, после тех первых сумасшедших джемов, зачем ехать по земле Бакриджей на берег, пока из радио рвутся Рамонес, парковаться на пляже и заниматься этим так, как будто тебя там даже не было? Зачем вылезать, и лежать на капоте, и оставлять тебя внутри, чтобы ты смотрел, как ее волосы рассыпаются по ветровому стеклу, а машина подпрыгивает и ключи звякают в замке зажигания? Зачем так делать? Была ли это простая небрежность или они все-таки наслаждались

жестокостью этого действа? Ты мог бы убить их за это, за годы такой муки. И теперь, когда их больше *нет? Ты* и эти джинсы. Так неужели все из-за этого? Месть? Неужели ты воображал, что берешь ее назло ему? Нет. Это чересчур; это все не так. Он всего-навсего откликался на женскую форму, на абрис женщины — не Сэл, не женщины с ее голосом, ее длинными паузами, с ее странным желанием главенствовать. Она была одномерной, как юношеский образ женщины. Ему нужно было что-то более замысловатое, что-то более одушевленное. Ему хотелось остроумия, памяти, доброты; кого-то, кто видел бы его, кто видел бы сквозь него, кто видел бы в нем музыку. Вот о чем он молил ночь за ночью, как алхимик, в их спальне, как опоенный опиумом поэт, уходящий во тьму ради того нечто, которое не может жить в природе. Знает Господь, даже помнить это — позор; но был и клочок утешения в сознании того, что он хотел чего-то большего, чем просто быть своим братом и иметь его жену. Дети были лучшее в них; и это у него было. Остальное было — отчаяние и греховная романтика.

«Если я умру…»

Его руки теперь снова трясутся, а ноги перестали кровоточить. *«Душу погублю».* У него болит

горло, но он не останавливается и поет громче. *«Только моя вина».* Ничего не осталось. Кусочки ракушек лежат на дереве, и он обмазывает ноги антисептиком, и перевязывает их, и надевает ботинки, чтобы не загрязнить раны. Все тело липкое от пота. Он заползает глубже в тень и проваливается в тишину.

Тени скользят, меняя формы, по грязи — день начинает клониться к закату. Он лежит на своем спальнике в фуге шока. Это как если бы он ограбил сам себя. И теперь, вдобавок ко всему остальному, ему приходится оплакивать их образ. От этого он чувствует скорее унижение, а не освобождение. Ему остается только лежать здесь с ноющими ногами и удивляться, почему он остался, почему упорствовал. Почему прожил этот последний год, уважая этих людей, — даже после их смерти.

Почему? — спрашивает он сам себя в сгущающейся тьме. Потому что ты любил их. Ты сделал это из-за любви. И даже понимание того, что? они были за люди на самом деле, не может этого изменить.

* * *

В ту ночь Фоксу снится, что этот парнишка, Аксель, приходит на пляж, залитый лунным светом. Он выходит из торжественной толпы баобабов, и на груди у него жабры, горизонтальные полоски, из которых вырываются тонкие лучики света; и вот он подходит, и по миллионам белых раковин он тянет за собой крыло, как раненая ворона, и выкрикивает, сверкая зубами, ноту в ре-мажор.

Фокс заставляет себя ходить. Как только достаточно рассветает, он заворачивает ноги в лишнюю пару носков и ковыляет, чтобы доказать себе, что не охромел. Спустя несколько минут ему приходится присесть, но он знает, что сможет вернуться и пойти, если нужно. Теперь, когда у него нет удочки, ему важно сознавать, что он может ходить. Хромота — это смерть.

Через пару дней он понимает, что может рыбачить без удилища, только курсируя по глубоким водам на каяке. Это тяжело, но надо беречь ноги, и теперь он не тратит попусту время. Он ловит макрель, которая тащит его за собой так быстро, что он боится перевернуться. Когда Фокс пластает рыб на пляже, акулы дерутся за их головы

величиной с футбольный мяч и за двухметровые хребты.

Он дважды в день обрабатывает раны антисептиком, пока тот не кончается, и ему ничего не остается, как только втирать бальзам поу-поу в распухшие раны и надеяться на лучшее.

Иногда он целыми днями не думает ни о чем, кроме волосков на руках Джорджи Ютленд. Он помнит, как лежал там, как пес, пока она снимала с него клещей. Ее дыхание на его коже. Ощущение спокойствия.

Забавно, но в те несколько часов он не боялся. Может быть, он тогда слишком устал, чтобы бояться. Но он начинает думать, что в этом было нечто большее. В центре дикости Джорджи было спокойствие. Это чувствовалось в ее руках. Там была компетентность, авторитет, серьезность. Да, и страсть. Почти вопреки себе она была человеком сути. Он доверял ей. И когда он проснулся в том доме и ее не было, он до смерти перепугался. До встречи с нею Фокс был хитер. Он таился. И никогда не боялся.

Он начинает планировать еще одну вылазку к складу на той стороне залива. Ему нужна новая удочка, и там есть еда и инструменты, которые могут ему пригодиться. Когда он доберется туда,

он вполне может позволить себе забраться на плато и повидать Мензиса и Акселя. Сон взволновал его, и мысль снова поиграть на этой дешевой стальной гитаре не отпускает его. Да, когда его ноги полностью заживут, когда он снова сможет ходить.

Однажды утром он тяжело ковыляет в своих ботинках по пляжу и слышит странный гул. Гул застревает у него в ушах, но идет не изнутри. Из-за скалы на острове вырывается самолет — так неожиданно, такой блестяще-красный, с таким зубастым круглым мотором и потрясающим шумом, что Фокс стоит, как замершая кефаль, не меньше секунды, прежде чем нырнуть в тень баобабов. Тень самолета проносится над пляжем, Фокс поднимается на локтях и видит, как тот разворачивается вокруг залива и уменьшается до размеров насекомого. Он исчезает над материком так низко, что кажется, будто он вышел из моря. Меньше часа спустя, когда Фокс все еще неуверенно ежится в тени, самолет снова появляется над заливом и поднимается над водой, чтобы промчаться к материку, поблескивая на солнце белыми поплавками.

На следующий день он видит на воде белый кильватерный след от катера. Фокс выметает

пляж, чтобы стереть отпечатки ног, и собирает все, что может выдать его местонахождение. Он ждет в лагере неизбежного, и к утру неизбежное приходит в виде волны от носа катера.

Лежа в тени своего каменного убежища, спрятавшись от посторонних взоров за ветвями инжира, Фокс смотрит, как катер заходит в бухточку острова, где водится макрель. Это цельнолитая блестящая штуковина. Алюминиевый каркас, наверное, восемнадцати футов в длину. Открытая палуба, приспособленная для ужения, вроде судна для ловли окуней или шаланды на барамунди. Трое. Они какое-то время волочат сети параллельно друг другу, на расстоянии полета камня от берега. Один у заднего румпеля. Двое других держат сети. Фокс чувствует пары?. То и дело лицо рулевого вспыхивает розовым, и Фокс чувствует, как тот смотрит в его сторону. Они устраивают перекуры. Мотор затихает, и они какое-то время дрейфуют, ловя белыми лесками. То и дело серебряная вспышка прыгающей рыбы поднимается над водой. Фокс слышит их смех.

Рулевой указывает на что-то на пляже. Они смотрят на остатки дерева, в которое ударила молния. Фокс снова видит лицо инструктора — просто точка розовой плоти. Тот смотрит в

его сторону так долго, что Фокс сжимается. Он чувствует, что инструктор что-то высматривает в лесу. Высматривает его. И Фокс понимает, что островной лагерь остался в прошлом.

Их кильватерный след еще не рассеялся на воде залива, а Фокс уже начинает собирать свои скромные пожитки. Он оставляет тяжелый котелок, фигуры из палочек и любимые ракушки, разламывает хижину и коптильню и сбрасывает их с уступа в деревья внизу. Он забивает вещами каждое отделение и щель в каяке и, забрав с собой всю воду, какую только может увезти, гребет на север.

* * *

Луна растет и убывает и уносит с собой целый цикл приливов, и почти все это время Фокс чувствует себя потерянным. Лагерь на терриконике хорош, но Фоксу не хватает драматичности острова, сочной растительности, роскошных скал красной столовой горы, панорамы, открывающейся с уступа, и общества акул. Самолет прилетает и улетает каждую неделю или около того, и хотя Фокс видит его только тогда, когда самолет отклоняется от своего маршрута к северу, ему все равно приходится жаться к побережью

материка, чтобы его не заметили. Он гребет в тени мангровых деревьев и редко ходит по открытой местности.

Впрочем, у нового места есть свои преимущества. Он выясняет, что в высокие приливы на мелководье можно плавать. Все большое и зубастое будет видно на расстоянии, так что он невыносимо роскошествует, лежа в воде и опустив туда лицо. С окончанием сезона дождей море перестало быть горячим, как кровь, и Фокс часто лежит в воде, просто чтобы почувствовать, как прохладная вода обтекает его воспаленную кожу. Он лежит лицом вниз, с открытыми глазами и смотрит на борозды песчаного дна. Он смотрит на тень собственной головы, как она скользит по белому песку в ореоле из лучистой зыби. Он задерживает дыхание, видит себя с крыльями, жидкого, в два раза больше себя.

Без удочки он ловит рыбу сетями. В прилив кефаль и мерланг приходят кормиться на мелководье, а он стоит, каменно-неподвижный, глядя в воду, готовый нанести удар. Это убийственно действует на глаза, и это зверское испытание терпения, но он справляется. Иногда Фокс бродит по мелководью с заостренной палкой и гарпунит скатов. Ходить приходится меньше, но работа эта

сложнее. У него есть вода, крохотный, но непересыхающий ручеек, в котором он промывает свои раны и слезящиеся глаза и пьет вдоволь.

Ему нравятся стройные баобабы рядом с терриконик. После заката их кора все еще тепла, когда прикасаешься к ней щекой. По вечерам Фокс поддерживает дымный костер из мангрового дерева, чтобы отогнать самых назойливых москитов, и натягивает еще одну струну на дереве рядом с убежищем под скалой.

Не в силах подавить жажду действия, он снова начинает петь. Это утешает его, заставляет забыть, что теперь он здесь все равно что пленник. С терриконика архипелаг выглядит как плавучий бон, как цепь, преграждающая ему путь к материку.

Дергание нейлоновой струны приводит его в уныние. У него болит большой палец, и нота выходит плоской и мрачной, без нюансов. Это шум, а не музыка; это хуже, чем тишина. И все же вороны за хребтом целыми днями по-монашески импровизируют, и ручеек издает тихое монотонное треньканье, и первая ракушка, которую ты находишь после весеннего прилива, своим бесконечным *«врррррррр»* у самого уха заставляет тебя действовать.

Он усердно трудится, пока не находит звук. «Ми», — думает он, но это только догадка. Он находит четырехтактный ритм с кусочком звука шагов по ракушечному песку для окраски, и вот неожиданно появляется настоящий ритм, маленькое пространство для чувства. Бум-бум-бум-бум. Да это же самый настоящий аккорд из буги мистера Джона Ли Хукера. Это Длинный Джон Болдри. Это Элмор Джеймс и Сонный Джон Эстес. Это губная гармошка, она свисает с дерева и бьет по песчанику, просто умоляя дать ей бутылочное горлышко и банджо. Хорошо, не блюграсс, но, по крайней мере, черный блюграсс, и вы все должны петь; отвертеться не удастся. Черт возьми, смешно. От этого гудят зубы. Бум-бума-бум-бу! Всего одна нота. Одна, одна, одна, одна. Да, Билл. Ты, Билл. *Одна заповедь. Одна радость. Одна страсть. Одно проклятье. Один вес. Одна мера.Один король. Один Бог. Один закон.* Одна, одна, одна, одна — ты скользишь вверх и вниз по своей ноте, как щенок вверх и вниз по дюне, до тех пор, пока не перестаешь чувствовать зуд укусов, и воспаленные глаза, и шелушащуюся на солнце кожу, пока ты не наполнишься, пока не исчезнет неуверенность — совсем и пока ты не перестанешь бояться — совершенно. Ты так

далеко ушел в «один», что ты уже не один больше. Ты резонирующее множество. Ты толпа. Ты камни на спине Джорджи и оливки, сброшенные в грязь у ее ног. И всю жаркую сладкую ночь ты — волоски на ее руках.

VIII

Во время полета на север, в Брум, и два дня после того Джим и Джорджи почти не разговаривали. Джим проспал всю первую ночь и половину следующего дня, а потом оставил ее в бунгало в тени пальм и поехал в город повидаться с семьей. Джорджи сидела, вялая и оглушенная жарой, у бассейна, а на лежаках вокруг нее постояльцы бренчали на лэптопах и щебетали по сотовым телефонам. На всех была странная гибридная одежда, такие вот отпускные фасончики, которые ее сестры называли «смарт кэжуал». Сплошь пастельные тона, целая выставка одутловатой и бледной городской плоти. Джорджи пошла через аллею кокосовых пальм на пляж, где красная почва сменялась белым песком. Вода была матовой, бирюзовой. Ветра не было. Здесь все сплошь было катание на верблюдах и крохотные купальнички. Белые мальчишки и девчонки играли в салочки. Кто-то в оранжевых шортах болтался на парашюте, который волочила за собой моторная лодка. Джорджи слегка ошалела от толп и перемены климата. Она все еще страдала от расставания;

самое неприятное — мальчики сочли ее в ответе за то, что их сослали в школу-интернат. И в душе ее смущало то, что она здесь. Она то начинала подозревать Джима и ругать себя за глупость, что согласилась приехать, а через секунду уже начинала всматриваться в лица, ожидая, что в любой момент может увидеть Лютера Фокса, как он идет через толпу, с голубыми глазами и голой грудью. В рюкзаке у нее была кипа его пиратских пленок, и когда она забралась в городской автобус вместе с несколькими американцами в «Биркенстоках» и женщиной, которая, кажется, была наполовину аборигенка, наполовину японка, то вставила в уши наушники, чтобы преградить путь желающим поболтать. Мандолина, гитара. Задушенный голос Джона Хайатта. Песни о пьянках, автокатастрофах и погибшей любви. Она выключила плеер и попыталась не улыбаться улыбающимся американцам.

Джорджи всегда нравился Брум. Разве не всякий в глубине души желает иметь дом с жалюзи и манговое дерево в саду? Когда ей было девятнадцать, она ездила сюда на автобусе — жуткая поездка. В те времена на Кейбл-Бич спали хиппи и автостопщики и все местные совершенно очаровательно писа?лись через дефис. Все, с кем

бы ты ни встречался, были наполовину то, наполовину се. Это было как Квинсленд, только без бригады белых башмаков[29]. Для Джорджи это и был тропический город мечты. Она полагала, что здесь все еще можно очень неплохо жить, но с самого своего последнего визита сюда — это было четыре года назад, когда они с Тайлером Хэмптоном бросили якорь в гавани Гантом-Пойнта, Брум стал пародией на самого себя. Много пальм, и она не могла себе представить, что здесь бывают парки, в которых не водятся обмотанные бинтами пьяные. Но застройка здесь развивалась с не меньшей интенсивностью, чем туризм. Из красной грязи росли универмаги, парковки и жилые районы. Брум становился пригородным аванпостом, и во всем этом звучала нота туристического мошенничества.

Четверть часа она трусила по пыльным торговым улицам, как лунатик. Джорджи не знала, что? это — жара, разочарование, отсутствие цели? Но она чувствовала себя так, будто ее ударили дубинкой по голове. Она вернулась в отель,

---

[29] Примечания: 29

Бригады белых башмаков — термин 1960-х годов, относящийся к периоду, когда белые австралийцы начали заселять земли аборигенов. Белые башмаки — белые австралийцы, нарушавшие границы традиционных поселений аборигенов.

включила кондиционер и пролежала в бунгало до самого заката.

К концу того дня Джорджи знала, что в Бруме Лютера Фокса нет. И не могло быть. Он мог быть здесь до Рождества, но давно уехал. Теперь его можно было искать по всему северу. Это безнадежно. Завтра она улетит обратно на юг; это было глупо. И ей надо выпить.

Подойдя к бассейну, она остановилась, увидев в баре Джима в компании двух пожилых мужчин. Их лица мерцали в свете смоляных факелов и выглядели так, будто жизнь их крепко потрепала. На обоих были шорты с резинкой на талии, которые болтались на бедрах под пивными брюшками. Они были без рубашек и в резиновых вьетнамках. Посреди всего этого курортного карнавала они представляли собой на диво неприятное зрелище.

Джим заметил ее, помедлил и наконец махнул ей рукой.

— Джорджи, — пробормотал он. — Это Кроха и Мерв. Мои двоюродные братья.

Кажется, она не смогла скрыть удивления.

— Его папаша был два раза женат, — сказал Мерв.

— Рада познакомиться.

Они улыбнулись и заглянули в свои пивные кружки. Волосы у них были седые и набриолиненные. Они были братья. Кажется, они очень неловко себя чувствовали в ее присутствии.

— Приятель Крохи — пилот, — сказал Джим. — Я тебе все расскажу за ужином.

Джорджи поняла это как «свободна». Она попрощалась и пошла через ароматные сады в ресторан. Она успела выпить всего один стакан, когда подошел Джим.

— Твои двоюродные старше моих родителей, — сказала она, когда он уселся.

— Мы уезжаем, — сказал он.

— Но я не поела.

— Уезжаем из города. Утром мы едем в Кунунарру.

— Вот как? — сказала она, глядя на веранду, обвитую бугенвиллеей, где полным ходом шли романтические ужины. — Я, вообще-то, решила, что пора это кончать и лететь на юг.

— Мы знаем, где он.

— Джим, ты вообще понимаешь, сколько там разных мест?

Он вытащил из кармана рубашки карту и расстелил ее на столе. Джорджи посмотрела на взлетно-посадочную полосу под его пальцем

и на линию побережья рядом с ней. Ее сердце подпрыгнуло. Она подняла на него глаза. Джим, кажется, был в восторге.

— Мест много, Джорджи, а вот людей мало. Когда кто-нибудь проезжает, люди замечают. Кто-то отвез его туда в мокрый сезон. Перед Рождеством. Хорошее описание. Кроме того, он воспользовался моей фамилией. Вот засранец.

Джорджи рассматривала карту — россыпь топографических контуров, которая образовывала залив Коронации. Она почувствовала нелепый укол блаженства от того, что Лютер Фокс помнит, от того, что он запомнил ее глупые воспоминания об острове. И не так уж много мест, до которых было бы так сложно добраться. Вряд ли он из кожи вон лез просто для того, чтобы его потом нашли. Вот если только — сознательно или нет — ты хочешь, чтобы тебя мог найти только кто-то, кто знает. Сама идея сумасбродна, но так и не покидала Джорджи.

— В Кунунарре можно зафрахтовать самолет-амфибию, — сказал Джим. — Пара тамошних пилотов поговаривают, что на тех маленьких островках кого-то видели. Люди считают, что все это шутка. Я заказал туда чартер. Завтра.

Наконец подошла официантка и приняла за-

казы. В воздухе разносился аромат цитронеллы. Джорджи налила воды в стакан для вина.

— Ну как? — спросил Джим.

Она пожала плечами. Господи, она не знала, что и думать.

— Просто неожиданно, — сказала она.

— Ты, кажется, в шоке.

— Да уж, наверное, — признала она, чувствуя, как энергия и уверенность прошедших недель испаряются из нее.

Они сидели в гнетущей тишине, пока не принесли еду. Оба заказали барамунди, и им подали одну рыбину целиком. Она лежала между ними, исходя паром, на ложе из ростков и лимонной травы. Ее шкура все еще отливала металлом. Глаз был непрозрачен.

— Хочу поймать одну из этих малышек, — сказал Джим, устало пытаясь поднять настроение в компании. — На пятьдесят фунтов. Хочу посмотреть, как она прыгает.

— Знаешь, — пробормотала Джорджи, — я тут неожиданно подумала, как у вас с Лю Фоксом много общего.

Джим положил вилку.

— Я имею в виду, — сказала она, — вы оба потеряли матерей в детстве. И люди смотрят на вас

обоих через какую-то странную призму удачи. Очень по-разному, разумеется. И вы живете… ну, в кильватере какой-то катастрофы.

— Это еще что? — спросил Джим с тихой яростью. — Пишешь школьное сочинение?

— А что с тобой и с ними со всеми, Джим?

Завитки пара поднимались от рыбы между ними.

Джим выпил бокал белого совиньона и налил себе второй.

— Моя мать убила себя. Нет ничего общего.

— Но я-то этого никогда не знала! — крикнула Джорджи. — Господи, за три года я вполне могла бы узнать такие основные вещи, тебе не кажется? Это и тот факт, что у тебя есть кузены-пенсионеры.

— Так глубоко мы никогда не копали, Джорджи, — сказал он.

Похоже, он тут же и пожалел о сказанном.

— И почему?

Джим выпил вино залпом и постарался собраться. С той самой ночи на террасе он еще сохранял тот честный вид, надрывную устремленность, которая волновала Джорджи.

— Если честно, — осторожно начал он, — ты никогда особо не любопытствовала. И меня это

устраивало, потому что я хотел, чтобы меня оставили в покое. Я всегда, *всегда* держал все в себе. И все же бывали времена, когда я почти… ну, не то чтобы раскрывал душу, а… хотел сказать кое-что. О Дебби и о том, как оно бывало. О старых добрых временах. Но я все так и не решался.

— Это из-за того, что я… — спросила Джорджи, думая, а действительно ли она хочет знать.

— Большинство этих вещей я не говорил даже Дебби.

— А ты ведь *любил* ее.

— Ну…

— Все нормально, — сказала она.

— Ты мне всегда нравилась, Джорджи. Но у меня просто не было места, понимаешь? Меня там не было, я как бы и не присутствовал.

— И все же, — сказала Джорджи, не сумев скрыть горечь, — тебя послушать, так мы идеальная пара. Немой и глухой.

Джим воткнул вилку в рыбу, и яркая фольга ее шкуры соскользнула вбок.

— Послушай, я никогда не гонялся за тобой, Джорджи. На пляже в Ломбоке я даже не видел тебя. Даже после того, как мы познакомились, я тебя и не заметил бы, если бы ты не подошла на пляже поиграть с детьми.

— Мы занимались любовью, — сказала она, задыхаясь. — На второй день.

— Да, — сказал он, отколупывая белые хлопья мяса с рыбы.

— Кажется, тебе было что-то нужно.

Он кивнул.

— Но я не умолял тебя поехать со мной в Уайт-Пойнт.

— Ты попросил меня.

— Из вежливости.

— И ты хочешь сказать, что я прилепилась к тебе, как зараза?

— Нет. Господи, нам просто было жалко друг друга. Я помог тебе добраться домой. Ты застряла, даже когда оказалась дома. А я… ну, ты меня пожалела.

— Я хотела помочь, — сказала она. — Я думала, что помогла.

— Ты помогла. Я ни о чем не жалею. Черт, я просто сварился изнутри, совсем запутался. Милые мальчики. Большой милый дом на воде. А ты была без работы, приходила в себя после своего американца и путешествия. Вот так все и было.

— Ты думал, что я привязалась к тебе из-за денег? — спросила Джорджи, чувствуя, что на глаза наворачиваются слезы.

— Не дури.

— Господи, ты, наверное, был в ужасе, когда я приехала в город с одним рюкзачком.

Джим положил рыбу на тарелку и теперь методично выбирал обжаренные полоски чили.

— Ну, — признал он. — Выглядело это не очень. Но я не мог тебя выставить. Ты была к нам добра…

— И хороша в постели.

— А мне было одиноко, и я пытался из этого выбраться и решил, что мне все равно, что? подумают. Это была часть того, что? я решил изменить. Этот образ, который сложился у людей, то, как они меня видят.

Джорджи внимательно смотрела на него. Тяжелая, почти пугающая энергия снова овладела им. Это ее поражало. Она начинала подозревать, что именно за этой чертой и начинался мир, в котором он жил на самом деле.

— Ты хочешь сказать, — спросила она, — их представление о тебе как о талисмане, о счастливчике, золотом мальчике?

— Нет, — нетерпеливо сказал он, — не это. Не *только* это.

— Как ваша рыбка? — спросила официантка, стройная молодая женщина с проколотым пуп-

ком.

— Дохлая, — сказал Джим, указывая на рыбу. — Хотите проверить?

Они доели ужин в молчании, и Джорджи смотрела на лицо Джима, пока он в полной отстраненности жевал и пил. Она не могла бы сказать, собирался ли он с духом, чтобы продолжать, или просто закрыл лавочку до утра.

После ужина они недолго погуляли по широкому, изрытому пляжу. Желтая луна висела над отелем и над пустошами вокруг него.

В нескольких милях от пляжа, на мысе Гантойме, сиял огонь. Воздух был теплым. Джим шел рядом с ней, расстегнув рубашку. Несмотря на то что светила луна, Джорджи почти не было видно его лица, но через некоторое время она решила надавить на Джима.

— Ты говоришь о семейной репутации? — спросила она. — Это ты имеешь в виду? О переменах.

— Да, — сказал он почти облегченно.

— И зачем здесь что-то менять? Маленькие городки, в них живут легенды. Обычно это все фигня.

— В нашем случае это не фигня.

— Твой отец?

— Война его отымела. Еще до встречи с матерью

у него был сын от предыдущего брака. Это я о Второй мировой. Вроде бы этот парень должен быть мне сводным братом. Он попал в плен к японцам. Его замучили до смерти. Кажется, это и перевернуло старика, сделало его таким каменным — он так никогда от этого и не оправился. К тому времени, как появился я, все, что оставалось, так это тот страшный злобный ублюдок. Вот чего им не хватает в Уайт-Пойнте. Этой сволочи, которую я ненавидел. Каких только вещей он не творил!

— А твоя мать?

— Ну, можешь себе представить, почему она сделала это. Он был чудовище.

— Но эта легенда, репутация, с которой тебе приходилось жить…

— Господи, иногда я чувствую его в себе, как отраву… Прямо чувствуется, как это перешло на…

— Ох, Джим, не говори так.

— А *ты*, черт подери, не понимаешь, о чем говоришь.

Джорджи шла какое-то время злая, наказанная, изумленная.

— Бивер думает, что ты веруешь, — сказала она наконец.

— Вот как? — тупо сказал он.

— Так ты боялся стать как твой отец?

— Я и *был* как мой отец — вот в чем дело, — сказал он раздраженно. — И Бивер это знает. Эти чертовы добрые старые дни. Я был большая сволочь. Я был испорченный, дикий парень, неприкасаемый — из-за власти, которой обладал старик. Я мог делать в городе все, что хотел, и не сказать, что не пытался. Так я вырос. Таким я был. И никакая частная школа, черт бы ее подрал, не смогла бы этого вытравить. Что еще говорит Бивер?

— Он ничего не говорит, — сказала Джорджи.

— Не пойму, хранит он верность или боится.

— Он что-то видел, ведь так?

— Да уж, думаю, видел он достаточно. Но… да, он видел меня… когда я был вне себя.

Джим остановился. Он стоял, засунув руки в карманы широких хлопчатобумажных шортов. В лунном свете его грудь казалась дряблой. Он старел — у него начинали отрастать груди. У мыса Джорджи видела мачтовые огни стоящих на якорях яхт.

— Была одна ночь в пивной — в тот день, когда Грязный Херман завалил свинью. Все будто с ума посходили. Я был разгорячен ромом и скоростью, я был как горящая шутиха, да-да. Мы выбрались

из пивной с женщиной и закончили на свалке Бивера. Я знал, кто она такая, я на нее давно глаз положил. Она тоже была в стельку. Ну, все равно, мы трахались на какой-то старой машине, и тут Бивер подошел к задней двери. Мы, черт подери, сильно шумели. У него был фонарик. Он просто открыл дверь, посветил вокруг и увидел нас. Волосы этой девчонки по всему капоту, везде наши шмотки. И я даже не остановился. Он светил нам прямо в глаза, а я продолжал и ухмылялся этому свету, пока он не ушел внутрь, а я продолжал, пока все не закончилось. Я был неприкасаемым, Джорджи. Вот какой я был. Это было в ту ночь, когда Дебби рожала Джоша. Роды длились девятнадцать часов. И эта девочка, она была из ансамбля. Салли Фокс. И в то время мне было плевать, я даже и не вспомнил. Я несколько лет хотел ее трахнуть.

Джорджи посмотрела на свои ноги в песке. Он теперь, кажется, не собирался останавливаться, но она хотела, чтобы он замолчал.

— И потом настает день, — сказал Джим, — и кажется, как будто тебе отпиливают голову. Ты смотришь на рентгеновский снимок груди собственной своей жены, и кажется, что на нем написана вся твоя жизнь. Господи, было много

всего, но я думал только о себе и той девчонке. Об этой конкретной девчонке. О той ночи. Я ее будто видел в этой опухоли. И в следующей опухоли. Во всех операциях, во всем. Господи, я даже не думал о моей жене, знаешь, я думал только: «Это *ты* сделал это, ты навлек это на себя». Иногда я думал, что другие так это и воспримут, что это невезучесть Фоксов ко мне прилипла, что девчонка заразила меня ею, как какой-то болезнью. Такой вещью, которую всегда можно выжечь хорошим огнем. Но, думаю, в глубине души я знал, что это неправда. Это было как Судный день. Не только за все те мерзкие вещи, которые я делал своей жене, всем остальным. Это как приговор, который не снимут, пока я не изменюсь.

— Ты ведь не можешь в это по-настоящему верить, — сказала Джорджи, содрогаясь.

— Но я верю, — сказал он.

— Это ужасно.

— Я этим и не горжусь, — сказал он.

— Я не об этом, я о том, каким ты видишь мир. Как какой-то мстительный бухгалтерский баланс.

— Кажется мне, что так оно и есть.

— Так разве ты не расплатился? Черт возьми, ты потерял жену.

— Нет, я думаю, что надо искупить все самому. Отдай что-то, а не просто потеряй. Только так можно отозвать псов, думаю я, доказать себе самому, что изменился.

— Как… как епитимья?

— Может быть. Да.

— Так вот что это такое. Доставить меня к Лю Фоксу, как какой-то выкуп? Перед кем и что это искупает? Перед его семейной честью? Перед двумя мертвыми женщинами?

Джорджи повернулась на каблуках и пошла назад, с пересохшими губами и ртом. Джим догнал ее, его рубашка хлопала, когда он старался идти с ней в ногу.

— Нет, — сказал он, — но я долго думал об этом. О тебе, обо мне и о нем. Это как проверка. Господи, я пытаюсь выбраться, и вот он — случай. Доказать себе, что я не такой, — и освободиться. По крайней мере, мысленно. В Уайт-Пойнте, что бы я ни делал, я останусь сыном своего отца. Я и сам так нередко думаю. Нужен момент, что-то, что определит, кто ты есть.

— И кто тогда я — свидетель этого знакового момента?

— Разве мы оба не получим того, чего хотим?

Джорджи не ответила. Он теперь вызывал у

нее отвращение, но она хотела верить в то, что это возможно.

* * *

Проснувшись в холодном голубом свете утра, Фокс сразу же идет к своей струне. Он музыкой приветствует каждый день и так же прощается с ним на закате. Охота и еда становятся отклонениями. Его техничность растет по мере того, как он определяет гибкость дерева, до тех пор, пока, прислонившись бедром и плечом к стволу, он не научается изменять высоту тона; и вот ноты выходят нежно или дико, плавно, гладким, ровным звуком, который не очень похож на Эберхарда Вебера или Стэнли Кларка, но гораздо лучше любой бас-гитары из тюремного ансамбля и изящнее любого запила на гитаре, который ему удавался в те дни, когда он еще играл. Сначала игра на струне била ключом, теперь она задумчива. Он поет блеск кожи Джорджи, горячую россыпь ее смеха. Отступления от заунывной монотонности похожи на извилистые пути в миноре, вышивки, из которых он с трудом возвращается. Пытаясь соответствовать этим путям, его голос становится тонким и похожим на птичий. Музыка выплетается в рисунок, порядок которого ускользает от

него. Он знает, что этот порядок есть, и постоянно чувствует себя на грани понимания, когда стоит на берегу с раковиной гребешка и видит, как ее узор повторяется на песчаном ребристом дне, и в гофрированной линии берега, и в грядах песчаниковых гор. Он поет, пока не охрипнет, пока не начинает сомневаться — он ли сгибает дерево, или дерево — его, певец ли он или песня.

По ночам звезды поворачиваются на восток. В большинстве своем они просто ткань. Но иногда он смотрит так пристально и глаза его фокусируются настолько четко, что он начинает видеть их как места и тела, каковы они и есть на самом деле. Они лежат там, завернутые в покрывала, рядом, мерцая своими бронзовыми, золотыми, серебряными, розовыми, голубыми гранями, перекрывая друг друга, как мозаика, как чешуя рыбы. В такие моменты у неба появляется ужасающая глубина, вогнутость, в которую он боится упасть, — он боится, что его втянет туда, как пылинку. Он вцепляется пальцами в грязь и лежит на земле, и у него кружится голова. Он держится за землю ногтями и сжатыми ягодицами из страха улететь в небо.

Иногда по утрам он с трудом разлепляет глаза, промывая их пресной водой. Один глаз заплыл и

раздражается каждый раз, когда он моргает. Он дает глазу напиться успокаивающих капель из своей убывающей жестянки оливкового масла, но от этого глаз затуманивается, и Фокс чувствует, что у него сужается угол обзора. Однажды, гребя на каяке по мангровым ручьям, он не замечает крокодила до тех самых пор, пока тот не оказывается у него прямо под боком. Две пары пузырей в грязи на затененной поверхности за секунду превращаются в рыло и глаза огромного ублюдка-ящера — и до него не больше метра. Фокс так резко бьет крокодила лопастью весла между глаз, что чуть не выпускает весло из рук. Когда крокодил в удивлении переворачивается и отплывает, весь — сияющее белое брюхо и вооруженный хвост, Фокс видит, что тот гораздо больше каяка; волнение воды мотает его из стороны в сторону и чуть не переворачивает лодку. Крокодил скрывается за деревьями, а Фокс остается, не в силах унять дрожь.

Но он остается в тени мангров, хотя и боится крокодилов, потому что деревья обеспечивают ему как раз то, что нужно — тень и маскировку, — и голод грызет Фокса все больше и больше. Он ловит леской маленькую барамунди и вылавливает из ила мангровых крабов. Крабовое

мясо сочно, и он наслаждается оранжевой икрой с сырным вкусом.

Иногда он понимает, что плывет между деревьев, ничего не делая. Он думает то об оранжевых цветках рождественских деревьев, то о волнистых краях ногтей Джорджи.

У него пропадает голос. На него находит жар. Несколько дней он просто лежит на своем спальнике и трясется. Куницы то и дело выглядывают из трещин в скалах. Большие, симпатичные, рыжие крысы, они просачиваются из песчаника, и их янтарный мех испятнан белыми крапинками, и одна пятипалая лапка растопырена на уступе. Фоксу нравятся их блестящие, выпуклые глазки. Если он начинает дышать, куница исчезает, как будто камень втягивает ее внутрь, и он чуть не плачет каждый раз, когда зверек пропадает из виду.

Воздух мерцает. Джорджи Ютленд дышит ему в рот. У нее вкус еды, которую он готовил для нее. Она лежит, жарко прижавшись к нему, и кости ее бедер скрипят. Эти грустные, меняющиеся зеленые глаза. Когда она уходит вместе с гитарой из сияющей стали, поток серебристых рыб идет за нею следом. Он то и дело видит ее на берегу, а иногда видит и самого себя. Они похожи на дере-

вья. Они и *есть* деревья. Все утро они катят свои тени с запада, чтобы в середине дня перетащить их через площадку, усыпанную ракушками.

На закате он поднимается и ковыляет, чтобы постоять рядом с самим собой. Он прикасается к ней, вдыхает ее ореховый аромат, вздрагивает, когда ее бедро прикасается к нему. Он прижимает лоб к ее коре и всматривается в нее одним глазом, тем, что видит, думая: «Это же дерево, ты, идиот», — и ускользает обратно к спальнику. Но он все равно возвращается, когда встает луна, чтобы обнять ее. Она тепла, тепла теплотой крови даже после наступления тьмы, и ее кожа так гладка, и трещины на ней так рельефны. Он смотрит на самого себя, глядящего с нижних веток. Он видит нагое существо, оно подплывает к дереву, обнимает его узкие бедра и прижимается к нему. Оборванный человек с ободранными ногами, тихий крик которого в ночи не громче вздоха открываемой устрицы.

* * *

Было похоже, что самолет никогда не взлетит. Он ревел, скользя по безмятежной реке, пока босоногий пилот раскачивал и упрашивал штуковину — и наконец шаг за шагом поднял ее

в воздух. Под ними сверкнула стена плотины. Солнце запуталось в оросительных каналах. Город плантаций — Кунунарра — оказался странным, живым бинтом на охряном ландшафте — несколько секунд строгой геометрии, которые сразу же исчезли, и потом казалось, что они только померещились. Тень самолета извивалась по грядам Карр-Бойд. Над просторами внизу — над высохшей саванной, желтыми поймами, пятнами акации защитного цвета, красной грязью и реками, похожими на высохшую змеиную кожу, — висела завеса дыма. Джорджи казалось, что дымом затянут весь Кимберли, и дымка только добавляла ненормальности расстояниям, беспорядочности пейзажу.

В кабине было жарко и грязно. Ремни безопасности были Джорджи тяжелы, их пряжки и замки были обескураживающе неудобны. Она сидела посреди полистироловых коробок с едой и смотрела, как голова Джима поворачивается от окна пилота к циферблатам на приборной панели. Все утро он был напряжен и раздражителен. В отеле он грубо отпихнул человека, который налетел на их багаж. Его губы потрескались — так часто он их облизывал. Примерно через час полета он схватил с пола пакет и засунул в него лицо.

Она смотрела, как сокращаются мускулы его шеи. Прошлой ночью он был пьян и мрачен. Он хотел заняться сексом. Ей удалось удержать его разговором. Она знала, что он не спал, что продолжал пить, что с ним что-то было не так. И теперь она хотела только, чтобы они долетели, оказались там и чтобы с ними случилось все то, что должно случиться, чтобы ей больше не надо было обдумывать и переобдумывать спазмы его шеи. Казалось, что самолет повис в воздухе; единственным ощущаемым движением были ужасные рывки вверх. Просторы внизу скрадывали любые расстояния. Она закрыла глаза, чтобы вытерпеть все это.

Прошел еще час. Из дымки возник залив — как голубая рана в земле. Джорджи увидела архипелаг, она узнала свой остров, ни на минуту не усомнившись, но прежней дрожи узнавания не ощутила. Правда, она чувствовала облегчение — но еще и укол разочарования.

Самолет скользнул на крыло и опустился на воду. Брызги повисли бусинами на стеклах, и потом они вырулили вокруг мыса к белой ракушечной бухточке, где стоял человек и ждал.

Рыжий Хоппер привел их в тень своей крытой ветками хижины, усадил за стол и налил воду со

льдом в две жестяные кружки.

Это был тот самый рыжий парень, которого помнила Джорджи. Он был похож на драчуна, легко было представить, как этот человек выходит из себя, но его лицо освещалось постоянным сардоническим изумлением, которое придавало ему привлекательности. На нем была кепка с длинным козырьком, покрытая пятнами соли, и у него были широкие, шершавые ноги человека, который редко носит обувь. Шорты и майка были обычного фасона, но красная бандана вокруг шеи выглядела несколько напыщенно. Покрытые шрамами пальцы были короткие и тупые, а ногти обкусаны под корень.

— Уайт-Пойнт, — сказал он с горестным смехом. — Знаю, знаю. Мне там голову проломили в пивной, девятнадцать мне было. В том городе в тюрьму не сажают — пленных не брать! Как вам такая умеренная климатическая зона, а?

Вода на вкус отдавала песком и сладостью. Джорджи заметила, что мужчины изучают друг друга.

Весь лагерь состоял из открытой с одной стороны хижины из веток, построенной у входа в широкую, низкую пещеру. У Рыжего Хоппера было крепкое хозяйство. В хижине — скамьи,

стальная раковина, холодильник и морозильник, множество аккуратно сложенных посудных принадлежностей, а покрытый ракушками пол был гладок и чист. У потолка на расстоянии вытянутой руки висели связки удилищ и жутковатые связки блесен. Вдоль гладкого уступа скалы, рядом с пузырьками мази от загара и репеллента и серьезной аптечкой, стояли два высокочастотных радиопередатчика, которые, как догадалась Джорджи, были здесь единственным средством связи с внешним миром. Рядом с передатчиками лежали книги и журналы, страницы которых сморщились и завернулись от сырости. Книги были в основном о приливах, птицах и рыбах, но там же оказалось и полное собрание сочинений Хантера С. Томпсона.

— Неплохо устроились, — сказал Джим.

— Ну, если вы все равно рыбак… — сказал провожатый.

— Рыбак.

— Вот-вот, — озорно заметил провожатый. — Так, значит, рыбак.

— Боюсь, мы встречались раньше, Рыжий, — сказала Джорджи. Она почувствовала, как Джим поворачивает голову. — Несколько лет назад. Вы вытащили нас с маленькой полоски рядом с тем

большим островом.

Хоппер задрал козырек кепки и впервые посмотрел ей в глаза.

— Вы, наверное, не помните, — сказала она.

— Я думал, вы американцы.

— Один из нас и был американец.

— Забодай меня комар! И далеко вы добрались?

— Потонули в Ломбоке, — сказал Джим.

— Ну, — дипломатично заметил Рыжий. — Вот был персонаж, тот парень.

Джорджи могла только улыбнуться.

— Слушай, — сказал Джим. — Насчет этой недели.

— Вы заплатили за неделю. Это не значит, что вам надо здесь оставаться все семь дней. И, я уже говорил, кажется, что умею искать рыбу, а не людей.

— Это я понимаю. Но ты знаешь местность.

— Ну, побережье. Знаю залив и плато. Этот парень не должен вам денег или чего-то в этом роде, я надеюсь?

Джим отпил воды.

— Я в смысле… я бы предпочел это считать чем-то вроде спасательной операции, а не чем-то… недостойным, как говорится.

— Нам с ним необходимо увидеться, — сказал Джим.

— Лет десять назад кто-то пробовал выращивать наркоту там, на островах, черт-те как далеко. Я нашел инструменты и поливочный шланг.

— Ничего подобного в нашем случае.

— Вот это-то и удивительно, Джим. А особенно то, что на поиски отправились только мы трое. Могли бы нанять вертолеты и лодки, полномасштабный поиск. Охотники из черномазых, — в общем, весь цирк.

— Это личное, — сказал Джим.

— Ясно, понял. Но человек не может не полюбопытствовать. Поэтому я вами и занялся.

— А не потому, что получишь втрое? — спросил Джим с невеселой ухмылкой.

— А разве это может погасить любопытство человека? Кстати, я тут себе позволил обыскать ваш багаж в Кунунарре. Невежливо, но так вот.

— И какого черта? — спросил Джим, выпрямляясь на стуле.

— И я даже не спрашиваю, не было ли у кого-нибудь из вас огнестрельного оружия, когда вы поднимались на борт?

— Нет, — сказала Джорджи, чувствуя, как ее разворачивает к Джиму.

— Конечно, нет, — пробормотал он.

— Человеку надо принять меры предосторожности, только и всего.

— Мы понимаем, — сказала Джорджи.

— Вы думаете, этот парень хочет, чтобы его нашли?

Она пожала плечами.

— Он белый?

— Какая тебе разница? — спросил Джим.

— Ну, уже пару дней пилоты говорят, что видели кое-кого здесь неподалеку. Знаете, прямо в горах, там, где люди-то и не водятся. Но он черный. Ко всему, что они говорят, надо относиться с капелькой недоверия. Они в основном молодые парни. Любят сочинять.

— А что такого удивительного в том, что здесь кто-то видел аборигена? — спросила Джорджи. — Это же в основном их земля, так?

— Я не специалист, — сказал инструктор. — Но, должен вам заметить, даже японскую машинешку не набьешь черными, которые все еще умеют жить в лесу. В смысле — могут прожить в лесу, скажем, несколько лет. И из этих-то большинство будет такое старичье, что ни ходить, ни видеть они уже не могут. И должен вам заметить еще, что черные не очень-то рвутся жить в лесу подолгу.

Мой опыт подсказывает, что их не тянет уходить от людей и на лоно природы. Им нравится быть друг с другом.

— И при чем здесь то, ради чего мы прилетели? — нетерпеливо спросил Джим.

— Потому что в начале сезона ходили слухи о белом.

— Он белый, — сказала Джорджи. — Его зовут Лютер Фокс, и ему тридцать пять лет.

— Похоже на то. Знаете, я им сначала не поверил. Но я знаю, что он там. Он был здесь.

— Вы хотите сказать, что видели его?

— Нет. Он таскал вещи из лагеря.

— Это наш, — сказал Джим с горьким смешком.

— Как это?

— Семейная традиция. Господь помогает тем, кто помогает самим себе — в том, что принадлежит кому-то еще.

Рыжий Хоппер ухмыльнулся. Джорджи видела, как он смотрит на Джима, будто бы пытается решить что-то насчет его.

— Сложно его винить, — пробормотал провожатый. — Что бы он ни взял, это наверняка спасло ему жизнь. Если он еще жив.

— Я думаю, что знаю, где он, — сказала Джор-

джи.

…Это была тридцатиминутная поездка на лодке Рыжего Хоппера. На воде была легкая зыбь, но неожиданный фонтан брызг оказался настоящей отрадой. Джорджи смотрела, как инструктор снимает солнечные очки и слизывает кристаллизующуюся соль с линз, продолжая править рулем. Джим, похоже, чувствовал себя очень неуверенно, когда не сидел за рулем сам.

Яркий послеполуденный свет лежал на оранжево-красных скалах острова. Он освещал скопления крон деревьев. Немилосердно сияли изгибы ракушечного пляжа. Инструктор указал на останки древнего баобаба, разрушенного молнией, и повел их через лес к основанию столовой горы.

— Он был здесь, — сказал Рыжий. — Смотрите, как наследил.

— И это ты рассказала ему об этом месте? — спросил Джим у Джорджи.

— Я и тебе рассказала, — пробормотала она.

— Я не помню.

Через чащу плюща они забрались на каменный уступ, который обегал основание горы. Они подошли к стоячему прудику с водой и к остаткам лагеря. Пепел костра был рассыпан по грязи. Там были ракушки и куски палочек, обмотанные

леской. Несколько кусочков побледневшего на солнце коралла, несколько разорванных пальмовых листьев, которые когда-то были сплетены. В твердой грязи под низко нависшей скалой была длинная вмятина, отпечаток тела. Джорджи опустилась на колени рядом. Было странно находиться здесь, видеть его контур. За ее спиной раздался звон.

Джим стоял возле старого дерева инжира, положив большой палец на леску, натянутую между двух веток.

— Это он, — сказала она.

— Его давно здесь нет, — пробормотал инструктор.

— Это твой котелок?

— Ага, — сказал Хоппер с улыбкой.

Они посмотрели поверх вершин деревьев. Ближайший участок материка за плотиной из мангров был заострен и сух.

— Там так мало деревьев, — сказала Джорджи. — А здесь словно джунгли.

— Пожар, — сказал Рыжий. — Там тоже есть леса, но только под защитой больших мысов, ветер не доносит туда пожары. Смешно, но там воды больше, чем здесь.

— Потому он отсюда и ушел, — сказал Джим.

— Поэтому и еще потому, что понял: мы идем. Отсюда просматривается вся местность до самого плато. Он, наверное, ушел сразу после того, как я впервые здесь показался в этом сезоне.

— Господи, да он где хочешь может оказаться, — сказал Джим.

— Где угодно, где есть еда и вода.

— Где-то на острове?

— Не-а. Нет воды.

— Я думаю, он стал лагерем где-то на ручье или на побережье, где нашел источник. Там, где он может рыбачить. Он же раздобыл себе лодку. Он не идиот.

Джорджи прикоснулась пальцем к струне на дереве. *Ох. Ох.* Она чувствовала, как инструктор наблюдает за ней. Даже когда струна перестала вибрировать, бриз все еще вздыхал в струне так громко, что она улыбнулась.

— И что теперь?

— Время джентльменам пить пиво, — сказал Рыжий. — И мне еще надо поймать вам ужин по дороге домой.

— Мы и сами себе ужин поймаем, — сказал Джим.

— Ну, — сказал Рыжий, — это я вижу.

В тот вечер они ели со сковородки филе ба-

рамунди, которую при последнем свете дня выловил провожатый. У них обоих рыба сорвалась: у Джорджи — из-за общей озабоченности и неуверенности, а у Джима — из-за несвойственного ему нетерпения. Но вид рыбины Рыжего — как она взметнулась в воздух, как билась и сверкала жаберными пластинами — взволновал Джорджи. Инструктор смеялся так, будто это была его первая рыба в жизни; не стоило и спрашивать его, зачем он занялся такой работой.

После ужина они сидели под звездами, а на пляже рокотал прилив.

— Завтра, — сказал Рыжий, пока они потягивали пиво, — мы начнем прорабатывать все места, где есть пресная вода. Вот и все, что мы можем сделать, правда.

— И каковы наши шансы найти этого парня? — спросил Джим.

— Если он не хочет, чтобы его нашли? Нуль. Можем найти его лагерь, но он будет прятаться. Он достаточно сообразителен. Он за несколько миль услышит, как мы приближаемся.

Джим встрепенулся:

— Этот парень ворует твои запасы, а ты им, похоже, восхищаешься.

Хоппер рассмеялся:

— Ну, вот и будет что ему сообщить. Кроме того, это подстегивает воображение. Вы бы слышали, как о нем говорят мои клиенты. Пилоты забирают их на совершеннейшем взводе. Половина клиентов лежат в своих спальниках по ночам и ждут, когда им перережут глотку. Семь дней свободы и безопасности, и они рвут когти обратно к себе в Сидней или куда там еще. Хотя им это даже нравится. Из-за него они спокойно могут бояться.

— Мне это совершенно непонятно, — сказала Джорджи, застенчиво рассмеявшись.

— Оно все просто, — сказал Рыжий. — Добрая половина тех, кто сюда прилетает, хотят неделю сумасшедшей рыбалки — по чудовищным ценам, как вы теперь понимаете, — и в ужасе проводят здесь шесть ночей. Ну, они в основном городские, так что вполне можно ожидать маленького такого культурненького шока, но я гарантирую, что, если убрать из уравнения каждого возможного паука, змею, акулу, ядовитую медузу, осу, песчаную муху и крокодила — вот просто нажать на кнопку и убрать к черту, — они все равно будут лежать без сна всю ночь.

— Ну, здесь, конечно, жарко, — сказала Джорджи. — И смотрите, какая яркая луна. И все эти новые запахи и звуки.

— Да они готовы от страха обосраться — извините, конечно, за выражение. Люди в ужасе от этих широких коричневых земель.

— А тебе их приходится разубеждать, — сказал Джим.

— Приятель, это большие *мужики,* которые только и знают, что лакать себе пиво. Знаешь, адвокаты, и хирурги, и эти главные администраторы, черт бы их побрал совсем. Я их не разубеждаю, я здесь, чтобы они могли с полным правом навалить от ужаса в штаны и гордиться этим.

Джиму пришлось рассмеяться:

— Это, наверное, сильно влияет на процент приезжающих во второй раз.

— Джим, да они от этого балдеют. Они каждый год возвращаются, чтобы получить еще.

— Ритуальное унижение, — сказала Джорджи.

— И кажется мне, что я свое маленькое дело для страны и нации делаю, а?

Они все трое рассмеялись, и колючесть Джима снижалась с каждой минутой. Инструктор, почувствовала она, целый день размышлял и наконец решил, как обращаться с Джимом. Он был не дурак.

Около девяти порешили, что настала ночь, и

Джорджи с Джимом направились к своим противомоскитным куполам вдоль утеса. От пляжа их отделяла полоска пырея. Джорджи полежала некоторое время, раздумывая над тем, действительно ли Лю хочет, чтобы его нашли. В нем было что-то особенное — не потому, что она была им одержима и только поэтому придавала его персоне какое-то особое значение, но потому, что было в нем нечто, что она все пыталась для себя сформулировать; и формула снизошла на нее именно в тот момент, когда она застегнула молнию на спальном мешке, а Джим захрустел ракушками, устраиваясь на ночь. Это было как-то связано с музыкой. Струна на дереве подтвердила это. Она повидала столько мужчин, которые жили просчетом. Джим Бакридж, даже Рыжий. Главным импульсом в их жизни был просчет ситуаций. Это была не исключительно мужская черта, но, видит Господь, у мужчин этого хватало с избытком. Большую часть своей жизни она тоже жила волей, достижениями и сохранением контроля над ситуацией. Но Лю был чистым, горячим чувством. Отрезанной и подкрепленной эмоцией. Джорджи почувствовала это, как только потянула его за рубашку в номере отеля. Его удивительные слезы. Они ненадолго поразили ее;

они показались ей слегка нелепыми. Для нее это был просто импульс, но она вступила во что-то, чего не могла учесть. Он был мужчина, который старался жить как мужчина, силой воли. Но это было противно его природе. И в тот момент — из желания или озорства — она вломилась во что-то. В его слезах было видно облегчение даже до того, как они занялись любовью. Музыка хочет, чтобы ее услышали. Чувство хочет, чтобы его чувствовали. Он всегда хотел, чтобы его нашли, даже если не знал этого. Она уже однажды нашла его. И это было во тьме. Ей просто нужно найти его во второй раз.

Джорджи села на корабельной койке и в сонном оцепенении скользнула на гудящую палубу. Переборки стонали на зыби. На ней был накрахмаленный белый халат, покрытый пятнами и измятый, и в одних чулках она ковыляла по коридорам и вверх по пандусам, чтобы понять, ради чего она здесь. Она словно бы проснулась после могучей пьянки, которая целиком сожгла ее память. Карманные часы ударяли ей в грудь так болезненно, что казалось, будто их пришпилили к груди. Хлопья краски отваливались с клепаных стальных панелей. Она чувствовала, как корабль крутится и как гнется его киль. Она

наткнулась на человека в инвалидной коляске, у которого сбился на сторону больничный халат. Его член и яйца лежали на обрюзгшем бедре, и линии швов разделяли его тело, как старый замок-молния. Когда палуба накренилась, он врезался в переборку и упал на другого человека, который, кажется, ехал по зыби на подкладном судне. Хирургическая каталка неслась по проходу, с нее летели кровавые обрывки и бинты, и весь корабль, казалось, помедлил минуту, как будто его подвесили в воздухе. Единственный стон в тишине, голос женщины, ужасающе знакомый, и потом палуба раскололась под ногами Джорджи, и распахнулись двери, справа и слева, и из них потоком полились мужчины и женщины, как булыжники на ее пути, люди, ставшие машинами, — с ортопедическими блоками и желудочными зондами, шинами и мониторами. Голос сзади подгонял ее. Она начала пробираться через сумятицу конечностей и аппаратов, но в конце концов поползла прямо по ним, словно это были неодушевленные тела, пока не добралась до лестницы, на нижней ступеньке которой сидела ее мать. У Веры Ютленд была кукольно-розовая кожа — такую может обеспечить только похоронное бюро. На лице было несвойственное ей

озабоченное выражение. В одной руке у нее был осколок зеркала. Пальцы другой руки лежали на сухожилиях шеи. Когда Джорджи подошла ближе, она подняла глаза, не узнавая.

«Я ничего не чувствую», — пробормотала она.

Вода начала литься вниз по лестнице, и запах, как земля под манграми, поднялся откуда-то снизу…

Джорджи подскочила в спальнике и налетела на газовый купол противомоскитной сетки. Небо было огромно, как океан. Она легла снова и почувствовала, как под нею тихо хрустят ракушки.

— Все нормально? — пробормотал Джим из-под своего купола.

— Да, — сказала она.

В лунном свете голова Джима покоилась на руках, и Джорджи поняла, что он еще не спал. Она ощущала, что он хочет поговорить. Она заснула, так и не дождавшись от него ни слова.

* * *

Стальная гитара. Она у него на колене. Он видит свое лицо, искривившееся на ее волнистой поверхности, и он играет на ступеньках веранды, и бутылочное горлышко скользит по ладам, и тихое вибрато потрясает расслабленную мышцу

его руки. Такой старый, старый запил играет он, первый запил, которому он в свое время научился, и его физический орнамент так же сладок и приятен, как издаваемый звук. Тень падает ему на ноги. Он поднимает глаза, и она там, ее волосы седы, рот искривлен усмешкой.

«Это грязная музыка, — говорит она. — Кто-нибудь услышит».

За ее спиной земля сплошь поросла деревьями. Даже птицы встрепенулись при звуке ее голоса.

Луна сходит на землю в лагере. Терриконик, пляж и баобабы словно залиты жемчужным светом. Его руки, ноги лунно серебрятся. Он купается в холодном свете. Прозрачен.

К рассвету жар проходит. Ему трудно шевелиться, и он двигается, будто идет вброд. Воздух пронизан течениями. У него покалывает кожу, как будто за ним все время следят.

Он останавливается попить у крохотного, сокращающегося ручейка и вдруг понимает, что не может остаться. Он уже истощил запасы пищи вокруг; единственный способ выжить — продолжать двигаться по побережью к новым запасам воды и рыбы. Оставаться на каждом месте по нескольку дней и идти дальше под палкой голода. Но он не представляет себе, как сделает это.

Он не кочевник, он даже не может вообразить себе такую жизнь. И он не может этого сделать не только из утомления, но из инстинкта: задержаться, повторить, украсить. Просто жить — недостаточно. Фоксу надо оставаться, населять собой место. Похоже, что его ум может успокоиться только тогда, когда в покое тело. Он чувствует, что волочит жизнь и огромную перепутанную сеть воспоминаний по чужой стране. Ничто из этого здесь не живет; оно не произрастает отсюда, здесь не успокоится и никогда не станет частью этих мест. Как бы хорошо ни шла рыбалка в тех, других местах, как бы ни были чисты и прозрачны пруды, он теперь знает, что умрет здесь; он сожрет себя заживо, как тело, поглощающее собственные растраченные мышцы.

* * *

За завтраком Рыжий Хоппер показал им обзорную карту и несколько возможных лагерных стоянок, и еще до жары они вышли в залив. Они поднимались вверх по ручьям и пробирались по болотистым низменностям, заросшим манграми. Они вылезали на скалы и песчаные площадки, и Джорджи чувствовала, как настроение Джима меняется — от первоначального безразличия до

хмурого молчания. По мере того как подходил к концу день и холодел для Джорджи след, в Джиме росло упорство. Каждый жалкий источник и лужица должны быть тщательно осмотрены, и он продирался через низкую поросль до тех пор, пока совершенно не онемел от ярости.

На конце залива, что ближе к материку, под огромным полосатым плато, они вошли в устье реки в милю шириной. Рыжий правил вдоль глинистых извивов берега, вспугивая птиц, пока мангровые поросли не превратились в каменные берега и река не пропала у песчаниковой стены. В сезон дождей, сказал им инструктор, здесь был водопад, а местность над ним была чередой порогов. Они забрались по высеченному террасами камню и подошли к цепочке мелких прудиков, в чистой воде которых точками плавали крохотные бронзовые рыбки. Здесь были тенистые камедные деревья и панданусы, но она и не ожидала встретить здесь следы Лю Фокса. Далеко от моря, и это место окружено горами. Солнце теперь пекло безжалостно. Джорджи сидела в гладком каменном бассейне пруда, пока даже Джим не согласился, что это безнадежно. Все трое по подбородок погрузились в прохладную воду, а рыбки пощипывали их за локти.

* * *

Перед тем как уйти, Фокс понимает, что не хочет брать с собой ничего, кроме меха с водой и рюкзака, в который запихивает ботинки, носки и немного солнцезащитной мази. Он уходит с терриконика и гребет, пока сияние воды не ослепляет его окончательно. Он доходит до своего старого острова, поднимается немного вверх по ручью, вытаскивает каяк на берег и ложится в тени, ожидая, когда утихнет боль в глазах. Пока он лежит, прилив достигает пика. Вскоре вода начнет отступать, и ему придется грести против течения; он понимает, что слишком скоро отправился в дорогу; этого он не продумал. Ему придется лежать здесь долгие часы или идти пешком. Жаль бросать каяк, но он испытывает болезненную необходимость продолжать путь, чтобы поскорее скрыться из виду.

Он натягивает носки и зашнуровывает ботинки. С мехом воды в рюкзаке и с надвинутым козырьком шляпы из листьев пандануса он выступает. И сразу начинает радоваться, что надел ботинки. Земля горяча и камениста, и пырей такой острый. Местность изрезана вымоинами и насыпями. Деревья здесь редки и отбрасывают

жалкую тень. Несколько раз Фокс натыкается на непроходимые овражки, и ему приходится пробираться в обход.

Отлив в самом разгаре, когда он доходит до дельты, серая глина которой, как кажется, изрезана морщинами и венами. Мангровый барьер реки кажется совершенно иссушенным. Похоже, что до моря отсюда не больше мили. Фокс спускается ниже, туда, где ил кажется ему достаточно сухим, чтобы перейти по нему реку, но корка ломается при первом же шаге, и он по лодыжку погружается в черную вонючую жижу, из которой ему приходится выбираться под атакой песчаных мух. Ну и черт с ним! Потрясенный, он направляется в глубь материка и переходит реку у залепленной устрицами скалы. Он пробирается в тень песчаниковой горы.

Он сидит там некоторое время, переводит дух. Он долго пьет из меха и собирается с мыслями, но подскакивает, увидев два охряных отпечатка рук на желтом камне у себя над головой. Он протягивает руку и видит, насколько руки художника меньше его собственных. Хотя он и не собирался ничего трогать, на большом пальце остается охряной след. Он удивляется, что отпечаток настолько свеж. Что-то есть неправильное во всей

этой обстановке, очевидность, которая заставляет его вспомнить об Акселе. Он расцветает при мысли, что мальчик может быть где-то рядом, что они могут посидеть и поболтать, побренчать на гитаре, посмеяться над этими картами и над тем, насколько бы ему сейчас было проще, если бы карты у него остались. Он ясно представляет себе, как парнишка поднимается, завидев его. Хочет вернуть ему каяк. Думает, где же Мензис.

Как раз после полудня он поднимается на хребет над лагерем рыболова-инструктора и слышит — там воет дизельный генератор, как заевшая газонокосилка; и его решимость пропадает. Он думает обо всех вещах, что стянул. Что за парень этот инструктор? И вот он снова здесь, один, открытый, в меньшинстве, одинокий. Его мысли вертятся во всех направлениях. Фокс лежит на солнце, и глаза ему заливает жалящий пот, пока наконец он не собирается с духом и не решает выждать, посмотреть и понаблюдать.

Он медленно спускается и доходит до навеса над пещерой, на котором в наклонном положении закреплены солнечные батареи. Фокс проскальзывает по наклонной скале в прохладную черную тень пещеры и оказывается в воде по голень. Ветерок бродит по пещере; пахнет

животным жиром, сжиженным нефтяным газом и репеллентом. Он стоит там долго и ничего не слышит. В конце концов он выползает на свет с гулко бьющимся сердцем — и резкое движение заставляет его вскрикнуть. Огромная янтарная куница прыгает через скамью в джазовом пересверке жестяных тарелок, крышек и прочей посуды и исчезает за уступом.

Несколько секунд Фокс стоит неподвижно. Он смотрит на пластиковые столы, заваленные инструментами и грязными тарелками. Он идет к кухонной скамье и видит сковородки, нагруженные остатками сосисок, отбивных, глазуньи и хлеба. Он недоверчиво протягивает руку и засовывает в рот две сосиски. Он отрывает зубами мясо от телячьей отбивной и подбирает куском хлеба оставшийся в котелке соус. Он ест горсть за горстью, пока его не скручивает икота. С яйцом на ладони — серый, похожий на пудру желток — он сидит на пластиковом креслице и смакует ощущение того, что его задница не на земле и что ему не надо опираться на ноги.

Холодильник гудит. Фокс проглатывает яйцо в перерывах между спазмами и распахивает дверцу, чтобы посмотреть на салат-латук в вулвортовских пакетах, на жестянки пива, на

помидоры, морковь, яблоки. Он выхватывает пластиковую бутылку апельсинового сока и выпивает ее длинными, сотрясающими тело глотками, не в силах остановиться. Он выпивает два литра целиком. Он стоит как идиот с пустой бутылкой и в конце концов просто засовывает ее назад на полку. Холодный воздух покалывает ему ноги, когда он подхватывает рюкзак и загружает в него ломтики бекона, яблоки, апельсины, целый пучок салата.

На одном конце лагеря расположен уголок, заслоненный песчаниковой колонной. Логово инструктора. Кровать. Несколько стальных ящиков. Пластиковая ванночка, наполненная одеждой. Над кроватью, в скальной нише, рядом с несколькими свечами и бритвенной кружечкой есть зубная щетка, жесткая щетина которой торчит во все стороны, как тростник, в котором повалялся какой-то зверь. Фокс чувствует пленку из жира и пуха у себя на зубах. Щетка ему нужна. Но когда он тянется к ней рукой, он ловит свое отражение в бритвенном зеркальце и в ужасе замирает. Его волосы — грязная путаница пырея, и, невольно отступив, он видит бесцветное тряпье, в которое превратилась его рубашка. Он пристальнее вглядывается в струпья и морщины,

которыми покрыт его лоб, в гниющую бороду и в эти мокрые, красные глаза и чувствует, как начинает искать свое лицо в этих чертах с отчаянием, которое портит все удовольствие от еды в животе и рушит возникшее у него было чувство, что все вполне возможно, что однажды он сможет выйти из леса и заключить с миром мир. Но нет. Нельзя выйти из леса *таким.*

Он слышит звук подвесного мотора и разворачивается, сбрасывая зеркальце со скалы. Оно падает на кровать, подпрыгивает и ложится, оставляя на песчаниковом уступе луч света. Фокс подхватывает рубашку и несколько шортов с эластичной талией и мчится через лагерь за своим рюкзаком. С кухонной скамьи он хватает бутылку оливкового масла. Лодка вылетает из-за скалистого мыса и въезжает в бухточку, пока Фокс, съежившись, набивает рюкзак и взваливает его на плечи. В последний момент, влетев в темноту пещеры и поднимаясь по скалистому проходу вверх на гребень, он хватает с уступа книгу — и бежит со всех ног.

* * *

Джорджи приложила холодную бутылку ко лбу, пока инструктор смеялся. Он оперся веснуш-

чатыми руками на кухонную скамью. Он качал головой, пока кепка не упала в раковину и у него не заалели уши.

— Он играет с нами, — сказал Джим.

— Может, это мы играем сами с собой, — пробормотал Рыжий, все еще ухмыляясь.

Джорджи сохраняла спокойствие, насколько могла. Жара и ухудшающееся настроение Джима иссушали ее. Всего несколько секунд назад она прибыла сюда почти без надежды, и теперь ее надежды снова воспрянули, и сердце и голова у нее бешено колотились.

— По крайней мере, он нам не померещился, — сказала она с чувством.

— И что теперь? — спросил Джим.

— Ну, парня знаете вы, а не я. Ваша очередь. Он либо смылся обратно в свое логово, либо болтается на скалах за нашими спинами. Я так думаю, он голоден. Почему бы нам не устроить большую готовку и не посмотреть, не вылезет ли он?

— Или мы можем позвать его, — сказал Джим. — Можем пойти на скалы и позвать его по имени.

Рыжий Хоппер в сомнении скривил губы и посмотрел в сторону Джорджи. Выжидательно поднял брови. Она сжала зубы, когда Джим заговорил.

— Знаешь рождественскую елку из наших мест, Рыжий? Nuytsia floribunda. Большие рыже-желтые цветы на ней цветут летом, они сплошь и рядом ветречаются по нашей песчаной стране. Вот на что похож этот хрен. Все цветочки и нектар. Пчелки так и летят. Вокруг — только низкая поросль или сухая банксия, несколько эвкалиптов и желтосмолок. Ну, знаешь, трудолюбивая и скучная серая западная равнина. Акации цветут, думаю я, но с рождественской елкой ничто и рядом не стояло. Это он.

— Бог ты мой, ты меня совсем запутал, — сказал Рыжий, все еще глядя на Джорджи.

— Вещь, которую люди в большинстве своем не знают, — сказал Джим, — это то, что рождественская елка — паразит. Ее корни высасывают сок изо всех деревьев вокруг, они распространяются на расстояние, которое ты себе и вообразить не можешь. Просто чтобы заполучить то, что принадлежит другим.

— Ты немножко ботаник, а, Джим?

— Я же сказал. Я рыбак.

— Ты сказал. Да.

— Джорджи должна его позвать. Он придет, если позовет она.

В его голосе тлела ярость. Джорджи знала, что

не сделает этого. Судя по тому, как он говорил, она не могла себя заставить.

— Я думаю, — пробормотала она, — что идея Рыжего лучше.

— Давай поднимайся туда и покажись! — сказал Джим.

Она покачала головой.

— Ты что, не хочешь найти этого ублюдка?

— Давайте готовить, — выдохнула она.

— Он, вероятно, недалеко ушел, — сказал Джим. — У тебя может не быть другого шанса, Джорджи. Ты знаешь, что пожалеешь, если не позовешь. Это будет тебя мучить. Ты будешь думать об этом всю дорогу домой. Ты будешь сидеть в том доме и жалеть, что не позвала.

Она посмотрела на свои руки.

— Господи, — пробормотал он, — и это после всего.

— Кто желает чашечку? — спросил инструктор.

Джорджи почувствовала, что кусает губы.

Джим встал.

— Как вам мысль? — спросил Рыжий, сердечно, но настороженно.

— Не хочу я никакого долбаного чая, — сказал Джим. — Я хочу, чтобы все встало на свои места.

— Эй, Джим, остынь.

Инструктор все еще ухмылялся, но теперь он был настороже, готов к действию. Весь день он подгонял Джима, толкал его, справлялся с ним, но за хитрой доброжелательностью уже чувствовалась грань. Джорджи чувствовала, как в нем растет недоверие к Джиму Бакриджу, даже недовольство. До этой самой минуты Джим был, похоже, настолько озабочен поисками, что будто бы не замечал этого. Он стоял, положив руки на скамью между ними. Господи, подумала она, даже он не знает, что ему хочется сделать, когда он увидит Лю Фокса. Он даже не знает, что делать с самим собой; им овладела ярость.

— Я, черт возьми, очень надеюсь, что у вас есть заварочный чайник, — сказала она.

Провожатый вопросительно посмотрел на нее.

— Все, что из чайных пакетиков, — это не про меня. Такое я пить не стану.

— Джорджи, — сказал Хоппер с облегченной улыбкой, — никто не любит снобов.

Джим ушел в резкий белый свет. Газ зажегся с тихим «ффух». Инструктор подхватил свою шляпу с раковины и напоказ выжал ее.

Некоторое время все молчали. В тени было жарко. Ветра не было.

— Этот парень, кого вы ищете, — он вам брат или кто?

Она покачала головой.

— Все эти дела меня здорово злят, знаете ли. Кто-нибудь хоть кашлянул бы, что ли, или мне придется вызвать самолет.

— Ему это нужно, — сказала Джорджи. — Для умиротворения души. Он боится за своих детей, — сказала она, осознав это только в ту секунду, когда эти слова прозвучали. — У Джима есть идея, что он попался на крючок своего прошлого, и мир, или Бог, или что там еще будут продолжать мстить ему и его семье, если он не исправит положение.

— И это значит, что мы должны найти этого парня?

— В *его* душе — да.

— И потому у него такое дерьмовое настроение. Нет результата.

— Видимо, да. Я пытаюсь его понять.

— И вы верите во всю эту фигню. Ну, в смысле, в Бога и в месть?

— Я думаю, в это верит Джим. Но *я* не думаю, что мир таков — без милосердия, без чуточки прощения; я думаю, мне бы хотелось, чтобы мир был полностью хаотичен — бессмыслен. Я черной

завистью завидую Джиму: он во что-то верит. А вы верите во что-нибудь?

— В три хороших жрачки в день, — сказал Рыжий. — И в визг катушки спиннинга.

— Что с ним будет, как вы думаете?

— С кем? С вашим дикарем? Он либо умрет, либо выйдет. К сентябрю здесь будет так мало воды, что он с ума сойдет. Он знает, что у меня есть еда, вода в пещере и резервуар… Вы думаете, он хочет умереть?

Джорджи думала об этом. Все это его тяготение к мертвым. Он мог в любой момент убить себя. Ты не переплываешь океан и не пробираешься по земле, если не хочешь жить. Бывали минуты, когда она говорила сама себе, что ему нужна *она.* Джорджи не могла прожить и целого дня в этой уверенности, но какая-то упрямая часть ее цеплялась за это. Именно настолько она приблизилась к вере.

Рыжий вытащил телячью ногу из холодильника и положил ее на раковину.

— Сготовим сегодня полный котел приманки, — сказал он. — Пикник как у самого Господа Бога.

— Да, — пробормотала она. — Так мы и сделаем.

* * *

Несколько часов он сидит на корточках в нерешительности и оцепенении. Он втиснулся между пропекающимися скалами, и они обжигают его при каждом движении. Он понимает, что обнаружил себя, что его заметят, как только он попытается выбраться на открытую скалу, чтобы уйти за гребень. Там, внизу, он мог бы найти тенистый уголок, в котором можно было бы все обдумать, набраться духа, прикинуть свои шансы и выйти к ним, кем бы они ни были; но он заперт здесь, под безжалостным солнцем, где почти невозможно рассуждать ясно.

Трое. Это все, кого он успел сосчитать перед своим рывком. Двое больше третьего. Довольно большие. И все же что может случиться? Нечего бояться. Это будет просто неловкость, только и всего.

Он поглубже надвигает свою потертую шляпу. Его желудок вскипает, прижатый к камням.

Фокс пытается представить себя самого выходящим из леса — этакое оборванное существо, этот шаркающий зверь, который неожиданно оказывается среди них. Проскользнул к ним, как дикий пес.

Он вытягивает из рюкзака голубую майку и нюхает ее. Кондиционер для белья. Белые буквы на спине гласят: «ПРЕБУДУ Я С ГЛУПЦАМИ». Когда он улыбается, у него разъезжается губа. На ней вкус крови. Его собственная рубашка разлезается у него в руках, когда он пытается снять ее, не меняя положения. Песчаник царапает его, и старая тряпка пахнет мертвечиной. Натянув свежую майку и шорты, он споласкивает лицо остатками дневной порции воды, чтобы смыть слой пыли. Он пытается расчесать себе бороду — она набита веточками и песком. Солнце пожирает его, оно лучится отовсюду. Даже сквозь веки солнце поражает его, точно копьем. Когда Фокс невольно моргает, он слышит движение век.

У него сильно болит живот. Будто бы он проглотил кислоту.

Но не для того он шел сюда, чтобы просто сидеть в убийственной жаре и ничего не делать. Вместо этого он думает о чистых простынях, о прохладных манго, покрытых капельками воды, о мощных телах живых людей. Об автобусе, на который они его посадят. О дороге на юг, в песчаную страну. О ступеньках веранды. Да.

Он прижимается к скале — и тут же приходят колики. Спазм прокатывается по его телу вниз.

Он прижимается к песчанику, чтобы переждать, но от этого становится только хуже. Он сдергивает шорты и срет прямо себе на ноги, на ботинки. Понос зацепил мех для воды, рюкзак, хотя он и предпринимает жалкие попытки уклониться в сторону. Когда все наконец кончается, он вытирает что может обрывками старой рубашки. Свежие шорты уходят в историю. У него не хватит воды, чтобы как следует почиститься. Он лежит на жаре и слышит собственные всхлипывания. Не так. Только не так.

И потом — невозможный звук воды, ударяющей в скалу. Он подтягивается на руках, чтобы проползти в трещину между камнями, и смотрит на лагерь. Там стоит человек, освещенный солнцем сзади. Он стоит на крыше пещеры и мочится, опустив голову. Заканчивает с комическим содроганием, отряхивает его, засовывает обратно в шорты и поднимает глаза. Смотрит прямо сюда. Фокс знает, что это солнце. Это просто обязано быть солнце. Он прижимается к земле, вонючий и опустошенный, и наблюдает, как человек осматривает гребень, ракушечный пляж, ребристые овражки, которыми изрезана местность. Он смотрит прямо в его сторону. Большое, квадратное лицо. Волосы, в которые словно вплетены сталь-

ные нити. Пинает камень морским ботинком.

Джим Бакридж.

Он говорит что-то, но слов не разобрать. И потом его уже нет, и ты спрашиваешь себя, чувствуя свою хромоту и жар, вдыхая свою вонь, спрашиваешь — и собираешь свою жалкую кучку пожитков и, хоть трава не расти, бежишь к гребню со всех ног.

* * *

Было только восемь часов, но вечер уже успел стать долгим и напряженным к тому времени, когда Джорджи начинала помогать Рыжему убирать остатки достойного Гаргантюа ужина. Они нашпиговали ногу головками чеснока и запекли ее в походной печке, закопанной в горячие ракушки под костром. Пещера все еще воняла печеным луком, картошкой, тушеными грибами, пресными лепешками и жженым сахаром. Джорджи была на удивление невозмутима. Еда подкрепила ее; от еды она ожила. Они пили шираз, теплый, почти как кровь. Джорджи наслаждалась его клейким вкусом и дубильным ощущением на зубах.

Рыжий закурил что-то эдакое и молча предложил ей, но она отказалась. Они стояли под луной,

пока он курил.

— Завтра, — сказала она, — мы снова отправимся на острова.

— Ты начальник.

— Я заплачу за все, что он украл.

Провожатый покачал головой:

— Да ну его.

Мимо в темноте пролетела, хлопая крыльями, птица.

— Что ты делаешь в своей другой жизни, Рыжий?

— Торгую недвижимым имуществом.

— Ну и?

— Начал понимать, что тут какое-то противоречие в терминах. А ты?

— Медсестра.

— Жизнь, которую ты спасаешь, вполне может оказаться твоей собственной. Кто это сказал?

Джорджи пожала плечами.

— Это твой девиз?

Провожатый рассмеялся и выпустил струю дыма, которая поднялась вверх в лунном свете.

— Рыба там, где ты ее находишь, — сказал он. — Вот мой девиз.

— И теперь ты ловец человеков.

— А почему ты бросила работу?

— Запуталась, — сказала она.

— Ты, должно быть, была хорошей сестрой.

— Я и была.

Крабы-отшельники тысячами ковыляли по пляжу.

— Ты можешь вызвать самолет в любое время до конца недели? — спросила она.

— Только скажи.

…Джим не спал, когда она забралась под свою сетку.

— Если Фокс умрет здесь, — пробормотал он, — думаешь, я буду в этом виноват?

— Спи.

— Я хочу знать, будешь ли ты винить меня.

— Джим, да я вряд ли буду думать о тебе. Что так, что эдак.

— Он сорвался из Уайт-Пойнта не без причины. Он думал, что я гонюсь за ним.

— Ну, очевидно, ты не гнался.

— Господи, похоже на то, что прошлое преследует тебя. Что бы ты ни делал, как бы ни менялся.

Джорджи полежала некоторое время.

— Ты можешь уехать из Уайт-Пойнта, — сказала она. — Почему не начать все сначала? Звучит глуповато, но, может быть, тебе надо простить самого себя. Все эти разговоры о переменах.

Почему не изменить всю свою жизнь? Брось. Продай катер и увези мальчиков в какое-нибудь хорошее место. Ты можешь жить в Бруме. У тебя есть деньги, Джим. Почему не пожить со своими собственными детьми, пока они молоды, если ты так волнуешься? Не повторяй семейную историю. Не *становись* семейной историей. Вырежь их из традиции. Черт, тебе не надо работать, но, если тебе нужна упорядоченная жизнь, найди другую работу, что-нибудь новое.

Джим захрустел ракушками под своей сеткой.

— Господи, Джорджи. Я рыбак.

— Правильно.

* * *

Он идет во тьму. Идет по следам своей тени. В ночи слышны шумы — скольжение червей, скрип его ботинок, щебет летучих мышей и тихие вопросы совы из черной кроны дерева. Фокс трет глаза и спотыкается. Крысы, куницы, динго. Все вокруг него скрежещет, бормочет и подвывает. Если он останавливается, камни вздыхают свистом пырея. Он падает, и подпрыгивают морские звезды; красные, они вращаются у него под веками. И где-то далеко кто-то поет.

Он видит, что деревья — это идущие мужчины,

что это женщины, выдирающие у себя волосы.

Мелодия знакома. Он останавливается и вытягивает шею. Она доносится из-за каменистого склона. Поднимается в выбеленное луной небо. Гимн. Мелодия, которая нравилась им обоим. Бах. Его матери и отцу. Он вспоминает их на ступеньках веранды, в те моменты, когда заключено временное перемирие. Тихо поют.

Когда он, извиваясь, пытается встать, рюкзак вколачивает его в землю. В следующем овражке пять-шесть фигур. Идут. Их голоса подпрыгивают вместе с шагами. Он скользит и несется по направлению к ним. Их холщовые рубашки и платья сияют в лунном свете. Они кажутся слишком большими, искривленными. И потом Фокс видит стулья, часы и сундуки, притороченные к их спинам. Одна женщина играет на страдающем одышкой орга?не. Ремни перерезают ее почти на три части. От них исходит кислый запах пота, и пыли тоже, и еще — полироля для мебели. Они поют по-немецки, как ему кажется, и Фокс идет за ними, сколько может, но ему так и не удается их догнать.

Он просыпается на солнце, и на его щеке отпечатался камень. В глазах песок. Он быстро оглядывается, чтобы собрать пожитки, и с одной

стороны видит восточный горизонт, а с другой — голубую полоску залива и понимает, что забрался в глубь материка. Через несколько секунд у него начинают болеть глаза. Свет пронзает голову, но ему больно опускать веки. Он вспоминает про масло в рюкзаке. Оно под ним; он лежит на нем.

Масло горячо и тяжело, но на минуту успокаивает глаза. Он лежит, а масло медленно стекает ему в уши. Он откапывает яблоко и высасывает сок из каждого кусочка. О, какая прелесть! Сладкое, сладкое, сладкое яблочко.

Земля сияет, и ее очертания колеблются, когда Фокс встает, чтобы идти дальше. Он подходит к низкой насыпи и видит: что-то блестит на камне. Рыба? Скат? Кашалот? Просто тело с вертикальным хвостом — или шеей. И одна точка на спине. Это чертова гитара.

Фокс подкатывается, смотрит замасленными глазами. Аксель. Он слышит гудение пчел или мух. У обрыва — одинокое дерево. Фокс прикладывает ладони ко лбу, чтобы разглядеть узел, угнездившийся в жидкой кроне. Тот похож на свернутый спальник, и Фокс слишком далеко, чтобы сказать наверняка, но узел кажется фактурным, будто сделан из сухих пальмовых листьев или коры мирта. Лужица тени под де-

ревом поднимается, оказывается человеком и задирает голову.

— Аксель? — зовет он.

Лицо поворачивается. Оно поет звуком тысячи мух, и уши Фокса горят. Это лицо — все рот, и ничего больше. Фокс поворачивает прочь и идет в сторону моря, не оглядывается, пока звук не стихает, и тут он чует запах гниющей дельты.

На воде залива — кильватерная струя от лодки, как хвост кометы.

Он останавливается, чтобы налить еще масла в глаза, которые жалит боль. Все теперь стало сияющим и неотчетливым. Он думает, что нашел гряду скал, которую пересек до того, но неожиданно под ногами становится скользко, и Фокс рушится в ил, падает и, цепляясь ногтями, поднимается снова в горячечном облаке насекомых. Все вокруг него — пузыри грязи и икота. «Ох, отлично, — думает он. — Пребуду я с глупцами. И возглавлю их. Жизнь записана в грязи».

Впереди — цветное пятно. Он пробирается к нему, слыша ящеричный хруст медленно надвигающегося по илу прилива, и, чтобы удержаться на плаву, Фокс рвется вперед, руками и ногами продираясь сквозь мешанину, как машина. Ил приперчен раковинами и веточками, которые

вонзаются ему в тело. Бражники — или еще что похуже — ворочаются у него под животом.

Он слышит свое прерывистое дыхание.

Огромный силуэт — это заросли мангров. Он спотыкается об извитые корни, тащится сквозь понижающийся лес, где хлещет вода, где бормочут и шипят деревья. Крабы-скрипачи кидаются у него из-под ног. Жаркие белые птицы. Ил начинен переплетением конечностей. Скользкие, вертикальные пневматофоры[30], о которые он спотыкается, гневаются, что он идет по ним. Они кажутся липкими и одушевленными, как ужасающие готические пальцы по всему телу. И это даже хуже, чем рокочущий живот и сбитые ноги, даже чем лагерь инструктора.

* * *

За терриконик они набрели на крохотный ручеек и котелок. Раковины, рыбьи кости. В тени скалистого уступа — заплесневевший спальник. Место было хорошее, но над этим лагерем витал дух несчастья.

---

[30] Примечания: 30

Пневматофоры — надземные (воздушные) корни некоторых тропических деревьев, например мангровых. Снабжают воздухом подземные части растений, растущих на бедных кислородом заболоченных почвах или по берегам морей в зоне прилива.

— Это моя старушка сеть, — сказал Рыжий.

Джим пнул закопченный котелок, и тот покатился по ракушкам. У сморщенного инжирового дерева он оторвал леску от ветвей. Когда он вытянул спальник и начал вспарывать его и потрошить грязные простыни, провожатый удержал его за руку, но Джим отпихнул его локтем. Рыжий Хоппер на минуту замер и помедлил. Джим разорвал в клочки серую простыню; она, казалось, распалась на куски без усилий.

— Пусть его, — сказал провожатый.

— Рыжий, — сказала Джорджи, — я хочу, чтобы ты вызвал самолет. Сегодня.

— Этого не будет, пока мы его не найдем, — сказал Джим.

— Этот тур подошел к концу, — сказал Рыжий.

— Я заплатил за неделю.

— Приятель, можешь засунуть свою неделю себе сам знаешь куда! — сказал инструктор, выхватывая у него из рук тряпье.

Джим встал на его место.

— А ты называешь себя чертовым профессионалом.

— Парень, на тебя посмотреть, так тебе нужен отпуск, а я — не отпуск.

Теперь они кричали друг другу в лицо. Щеки

Джима покрылись розово-серыми пятнами, а глаза провалились так глубоко, что Джорджи начинала прикидывать, сколько же он не спал; в последний раз она точно видела его спящим еще в Бруме. Она хотела вернуться в лодку и оставить их, где они есть.

— Нам нужно еще время, — сказал Джим, стараясь подавить злобу.

— Нет, — сказала Джорджи. — Хватит.

— Это не твой чартер, Джорджи, — сказал Джим, все еще глядя в лицо инструктору, челюсть которого искривилась в насмешливой улыбке.

— Когда они могут прилететь, Рыжий? Ну, самолет.

— В середине завтрашнего утра, — сказал Рыжий, стоя носом к носу с Джимом Бакриджем. — Когда они доберутся сюда сегодня, будет уже почти вечер, а у них нет лицензии на ночные полеты. Придется завтра.

— Езжай, если хочешь, — сказал Джим. — Но одна. Я остаюсь.

Провожатый медленно покачал головой. Их лица теперь почти соприкасались.

Рядом с горкой пепла у костра лежал мачете. Джорджи стало здесь одиноко. Если что-нибудь и случается, все мгновенно начинает выходить

из-под контроля. Она не столько боялась такой перспективы, сколько приходила от нее в ярость. От вида их вздымающихся грудей ее затошнило.

— Вот *оно!* – сказала она с тихой яростью, которая испугала их. — Ну-ка отошли, вы оба. Отошли, вашу мать!

Они оба посмотрели на нее, помедлили и отступили.

— Вот и все, — сказала она. — Пожалуйста, возвращайтесь в лодку.

Рыжий Хоппер облизнул губы и потянул кепку за козырек. Джим Бакридж схватил солнечные очки «Рейбан» за шнур и нацепил их на нос. Последний клочок простыни соскользнул на ракушки.

Джорджи порылась в своем рюкзачке, ища карандаш и бумагу, чтобы написать Лю Фоксу записку. Но там был только солнцезащитный крем, леденцы, тампоны и плеер. Она выдернула из плеера кассету и положила ее на камень рядом с костром. Больше она ничего не могла сделать. Рыжий отволок спальник обратно под скалу и стер грязь со сморщившейся пенопластовой подстилки.

— Джим, — сказал провожатый сквозь зубы. — Барамунди — последний шанс. Подписываешь-

ся?

— О чем, черт возьми, он болтает? — спросил Джим.

— У нас остался еще один хороший прилив, — сказал Рыжий. — Он как раз начинается. Называй меня непрофессионалом, но я подумал, что ты, может быть, захочешь поймать барамунди перед отъездом.

Джим молчал. Они обошли терриконик. Перед нею в чистой, спокойной воде лежала лодка.

— Вроде как выбора у меня нет, — процедил Джим.

— Я еще сделаю из тебя рыбака.

— Не дави.

Джорджи села в лодку между ними.

* * *

Фокс вприпрыжку выбирается на твердую почву и какое-то время просто лежит, задыхаясь от благодарности. Он встает и идет через путаницу булыжников, деревьев и сухого тростника, пока не начинает ощущать, что местность понижается, а значит, скоро ручей, где он оставил каяк. Он видит остров на той стороне узкого пролива. Он чувствует в воздухе дым. Табачный дым. И голоса.

Он забирается в трещину в скалах и думает, что видит Джорджи Ютленд, как она стоит на скале не больше чем в пятидесяти метрах от него. Она забрасывает удочку и тянет ее на себя через погруженную в воду корягу. В шортах песчаного цвета, сплошь одни карманы, и в ботинках на шнуровке. Ее рубашка пропотела насквозь, и видны лопатки. Грязная хлопковая шляпа затеняет лицо. Солнечный свет живет на тыльных сторонах ее рук. На икрах — сияние пота или солнцезащитного крема. Кажется, он чувствует запах детской присыпки «Джонсон и Джонсон» и какого-то кремообразного лосьона.

Ее поза — сама собранность. В ее очертаниях такая ангельская плавность, контур искажается и перекатывается в воздухе над ручьем. Фокс понимает, что она не настоящая, но не шевелится, ждет, когда наваждение исчезнет, как пес, распластавшись на животе, благодаря Бога за любую галлюцинацию, за все, что бы его бедное существо ни вызвало молитвой из туманного леса.

И тут она вдыхает и разгибается, выпрямляясь, как струна. Леска врезается ей в руку, и вот она уже накручивает катушку, чтобы замедлить движение рыбы. Удилище выгибается над водой, и ее ботинки скребут и скользят по каменному

крошеву. Он не видит, как прыгает рыба, но видит ее повернутое вверх лицо и благоговейный взгляд, когда с лица уходит тень. Плеск могуч, будто бы в воду обрушивается бык, и где-то за излучиной кричат мужчины. Она теперь присела, вытягивая рыбу, забирая пространство, и вдруг рыба в воздухе, и Фокс ее видит, огромная барамунди, она трясет головой в яростном негодовании, висит, яркая, как мысль. Он видит, как освобождается крючок и как леска червем сползает в воду. Видит, как плывут в воздухе жабры, закрытый, повернутый вверх рот. Джорджи Ютленд замирает на секунду. Она смотрит, как рыба рушится обратно в воду. Потом она выпрямляется и смеется. Подбегают мужчины, изумленные и хохочущие.

Фокс поднимается на четвереньки, но не может двигаться. Это Джим Бакридж. Они кажутся его больному взору такими настоящими, такими отчетливыми; они идут к лодке. Фокс заставляет себя встать. Лодка поднимает нос над водой. Он бросается вперед, вниз по склону, но они ушли за мыс. Он прорывается через пырей. Рюкзак соскальзывает и тормозит его. Когда он добегает, длинный белый хвост их кильватерной струи уже плещет в скалы у его ног.

* * *

В эфире аборигены, живущие друг от друга на расстоянии сотен километров, делали приготовления к поездкам и расспрашивали об отдельных личностях. Их разговор был медлительным, со множеством повторов, бесцельным, и у них были высокие голоса. Были и долгие минуты молчания. В конце одного разговора пришли новости из Кунунарры, что самолет до залива Коронации будет утром. Возможно. Наверняка. Рыжий Хоппер выключил радио и открыл пиво.

— Похоже, остатки, — сказал он.

— Ну и отлично, — отвечала Джорджи.

Проводник начал смеяться.

— Что? — спросила она.

— Эта барра была на двадцать кило, как пить дать, или я полный урод.

— Ты сказал, — пробормотал Джим.

— Пятьдесят, мать их так, фунтов ведроголовой.

— Она была прелесть, — заключила она.

— Джорджи, она была не прелесть, а лошадь!

— Просто рыба, — сказал Джим. — И она сорвалась.

— Да ты бы за такую не пожалел левое яйцо, —

сказал Рыжий. — Приятель, да и я бы не пожалел своего левого яйца, беда только в том, что я его уже один раз не пожалел.

Джорджи не расстроилась из-за потери рыбы, на самом деле она была только рада этому. Чем-то подобным хотелось делиться. Весь остаток жизни тебе нужен будет кто-то, с кем можно будет об этом вспомнить, и ничего не произойдет, разве что бровь удивленно подымется. Эта штука сияла на солнце, как соединяющий людей мостик.

Мужчины напились.

Джорджи подумала о кассете, которую оставила под защитой архипелага. Это был сборник, который он сам составил, разные блюзмены, молодые и старые. Миссисипи Фред Макдауэлл, Сон Хаус, Рай Кудер, Бонни Райт, Дейв Хоул, Кеб Мо, Бен Харпер, Келли Джо Фелпс. Все в хнычущем запильном стиле, который она начинала любить. Чем больше Джорджи слушала, тем больше убеждалась, что это самое близкое к человеческому голосу звучание, какое только доступно инструменту. Не так блестяще, как скрипка, но и не так печально-богато, как виолончель. Ни грации, ни мелодичности. Это было так же грубо и просто, как голос плачущего ребенка.

Увидит ли он? Поймет ли?

Встала луна — как надкусанное печенье.

Она проснулась от звука, с которым Джим свалился в свой спальник. Он был в стельку.

— Вся твоя проблема в том, что ты не можешь выждать, — сказал он. — Даже с чертовой рыбиной — и то сорвалось. Никогда ты не могла выбрать момент, Джорджи, никогда. Это, наверное, женское.

— Наверное. Отсохни, а, Джим?

Он начал храпеть, выставив ноги наружу и не застегнув противомоскитную сетку.

* * *

Фокс пьет у своего ручейка, пока не начинает лопаться, и потом просто катается в слабом потоке. Он знает, что они были здесь. Кто-то спихнул с места весь мусор. Ему все равно. Она здесь. Это она.

С сеткой он пробирается между влюбчивыми баобабами и пару раз вяло закидывает. На самом исходе прилива он наполняет котелок мерлангами. Он выдергивает пучки пырея и раскладывает их на усаженной ракушками скале у края своей бухточки, и, когда он поджигает их, трава хрустит и вспыхивает. Когда Фокс подбрасывает на

огонь еще несколько веток, устрицы начинают нагреваться, дергаться и разевают рты. Пламя гаснет, и он сдувает уголья в грязь и ссасывает мясо прямо со скалы.

У ручья он жарит мерлангов и кефаль. Он очищает свой последний апельсин и вкушает каждую дольку.

Фокс успокаивает сожженные солнцем руки и ноги оливковым маслом, втирает его в губы.

Книга — это Справочник — определитель птиц Австралии. Слишком мало, слишком поздно. Он пролистывает ходулочников, ржанок, перевозчиков, узнает роскошную северную розеллу и браминового коршуна, серых австралийских журавлей и крачек. Но над совами останавливается: сова Руфуса, масочная, которая встречается реже, травяная сова и лающая сова, которая иногда по ночам кричит на него. Эти огромные, призрачные лица наблюдают за ним. Эти глаза, похожие на уши. Они напоминают тебе о доме, где все спят, о ночах, наполненных уханьем сов, о холодных, пронизывающе-холодных зимних ночах.

Теперь Фокс чувствует, что она там. Он знает, что она настоящая. Ему придется выйти, потому что каждое жалкое деревце и черепаха, каждая птица, каждый зверь в конце концов обернется

ею, если он останется.

Спускается тьма. Воздух дрожит. Он смазывает глаза и чувствует звук в горле. Чувствует все живое, каждое прохладное и теплое очертание, которое прижимается к нему. По его коже ползет то, что было, и то, что будет. Они висят в ровной ноте его песни, в его спутанных волосах, в масле на щеках, и когда Фокс открывает глаза, куница стоит прямо рядом с ним на скале. Ее черные глазки сияют, и на румяном мехе — мазки лунного света, даже когда она ускользает в трещину, чтобы наблюдать за Фоксом оттуда. Он чувствует себя внутри себя. Ничего от него не осталось больше, как только чувство сияющего присутствия. Это ощущение мира. Он знает, что живет, и мир живет в нем. И для него, и рядом с ним. Из-за, и вопреки, и несмотря на него. Бриз шевелит ветви инжира. Скала проглатывает куницу. Он поет. Он спет.

* * *

Джорджи проснулась резко, в прозрачном свете раннего утра. Неподалеку храпел Джим. Небо было пусто — лишь одинокая звезда над заливом. Она снова легла, чтобы подумать о сне, который вырвал ее из дремы. Во сне она была

на этом самом пляже, спиной к морю, и что-то ползло по ракушкам от моря прямо к ней. Она не могла пошевелиться. Она не могла повернуться. Что-то выскользнуло из воды и приближалось к ней так медленно, так настойчиво. Джорджи встала на колени, уперев кулаки в бока. Она не могла подняться и побежать. Ее кожа напряглась от присутствия тела прямо за спиной, и был гнилостный запах, и был голос, сказавший ей в ухо: «Сестра, сестрица, спасибо. Я благодарю тебя».

За завтраком атмосфера была вялая, между людьми носилось утомление. У мужчин было похмелье. Они без удовольствия ели глазунью с ветчиной. Джорджи смотрела на укусы и рубцы на ногах Джима с мрачной незаинтересованностью.

— Жаль, что вы не нашли вашего парня, — сказал Рыжий.

— Он выйдет, — сказала она, чувствуя по этому поводу безотчетную уверенность. — Скажи ему, что я буду в доме, хорошо? Он поймет, где. Можете прислать мне счет, я оплачу все расходы по его доставке одним куском. Если бы вы только могли быть просто добры к нему. Просто скажите ему, что я буду на ферме.

— И долго? — спросил Джим.

Она пожала плечами.

— Просто сделай так, чтобы все оставили нас в покое. Это все, чего я хочу, Джим. Это все, что тебе надо сделать, чтобы доказать кому-то что-то.

Он коротко кивнул.

— Жаль, что ты не получил, чего хотел, — сказала она.

— А ты?

— Что-то. Я, кажется, кое-что получила.

Проводник почесал подбородок и наблюдал за ними. Радиопередатчик крякнул сигналом вызова и произнес его имя. Голос оператора, казалось, изгибался и растягивался в жужжании статики. Де Гавилланд уже забронирован. Буканир подойдет? Рыжий Хоппер сказал, что нищие не выбирают, но что он сам скорее пойдет пешком, чем сядет в эту летучую колымагу. «Девять», — сказал голос из радио. Хоппер сказал:

— Так точно, сэр, — и отключился.

Они по очереди приняли душ из бочки. Мужчины брились. Джорджи вымыла голову. Она не могла не думать с тоской о том, как бы она могла помочь Джиму, если бы лучше знала его все это время. Но если бы она знала его лучше, разве она осталась бы? Она сомневалась в этом. И вряд ли ей под силу спасти такого человека, как Джим.

Она жила волевым усилием, так же, как он. Они бы просто смели друг друга с пути — как они, собственно, уже и сделали. Теперь она понимала, что Джим ей не нравится и что она боится его желания дракой добывать добродетели из себя и смысл из жизни. Он хотел как-то добиться гармонии, но не получалось. Но, чего бы Джорджи ни чувствовала по этому поводу, теперь Джима можно было только пожалеть. В это утро у него был вид приговоренного к смерти.

Джорджи вытерлась, оделась и, выйдя наружу, целых пять минут чувствовала себя чистой и свежей.

Радио трещало, информируя, что Буканир застрял на реке, у него проблемы с горючим. Опоздает.

Джорджи смотрела, как в бухточке мечется скат, пока проводник собирал их постельное белье и варил кофе. Она спросила Рыжего о следующей группе, которая должна была прилететь сюда только через несколько дней. Он ткнул пальцем в собрание Хантера С. Томпсона, разъяснил, как проведет свободное время.

Утро тянулось. Разговоры, которые и до того были вялыми, совершенно прекратились. Джорджи решила улететь из Кунунарры на отдельном

чартерном рейсе. На самолете отсюда ей в последний раз придется делить пространство с Джимом Бакриджем. Она задумалась, каково это — жить в его понимании, в мире, где нет прощения. Она подумала о доме Фоксов и о приличном кофе, который сможет там себе сварить, о тихой плоскости бахчей и сухой южной жаре.

И наконец самолет сверкнул над водой, зеленый и сияющий, как жук.

— Вот урод, а? — сказал инструктор. — Я буду вас вспоминать.

— Больше похож на лодку, чем на самолет, — сказал Джим.

Самолет-амфибия быстро шел на посадку. Он действительно был похож на лодку, гладкий корпус был подвешен под единственным мотором, но звучал он хнычуще, как электродрель. Как транспортное средство он выглядел по меньшей мере неубедительно. Когда самолет коснулся воды, от него поднялись тучи брызг, и он все покачивался и дергался на поплавках, пока не притормозил и не заскользил в их сторону.

— Господи, — сказал Джим. — Вот это выглядит многообещающе.

Перед тем как уйти из лагеря, Фокс находит на скале кассету. Он спал как убитый, проснулся и,

наверное, на рассвете прошел мимо нее раз двадцать, прежде чем первые лучи солнца осветили кассету и пластик засиял. Он знает каждую песню на пленке. Он помнит день, когда записал ее, помнит, как столбы света стояли в библиотеке. Он уже другой. Мир изменился. Он засовывает пленку в рюкзак, идет мимо баобабов и террикоников и сталкивает каяк на мелководье.

У него все болит, и он устал, но Фокс знает, что может сделать это последнее усилие. Не будет больше дорог, и сознание этого немного подбадривает его, придает гребкам немного энергии. Но отлив продолжается. Он медленно продвигается к течению. За заливом, за цепью островов земля загорается под встающим солнцем.

Когда он оказывается напротив большого красного острова, приходит отлив. Утро почти исчерпалось.

Фокс надеется, что к полудню не задует бриз. Он устал, весь вымок, и глаза снова шутят с ним.

Когда бледно-зеленый самолет поднимается с воды, он просто перестает грести. Он грохочет над заливом, как какое-то испуганное морское чудовище, которое наконец-то поднялось над водой, прыгая, как лягушка. Солнце сверкает на зеленом фюзеляже самолета, и, когда он прибли-

жается, вода брызжет с его хвоста.

Фокс в проливе между островом и материком. Теперь он плывет по течению, весло тяжестью лежит у него на колене. Самолет закладывает вираж. Она на нем. Джорджи на этом самолете.

И когда его накрывает тень, он поднимает весло и орет. Он воет навстречу вою мотора и блеску краски, навстречу крыльям и струе звериной мочи из его живота. Он воет на его рвущуюся, змеящуюся, дрожащую тень, и в момент, когда самолет пролетает над ним, как какой-то ангел-ненавистник, Фокс превращается в чистый, жаркий, болезненный звук, который проглатывается в порыве ветра и шуме, как будто его никогда и не было.

Как только они поднялись над бьющей в крылья водой, Джорджи поняла, что под ними, с ее стороны, остров, и при этом последнем взгляде у нее возникло то же самое тошнотворное чувство узнавания, которое появилось у нее в самый первый раз. Но теперь в этом чувстве не было восторга, не было мучительного удивления — только жалкое непонимание. Вот он, как некая бородатая голова без лица, поднимается — вечно и бесцельно — из воды.

Со своего места в хвосте она увидела, как Джим

и пилот одновременно поворачиваются к другой стороне самолета. Они заговорили, и Джим оживленно жестикулировал, но пилот качал головой. Джорджи держала наушники на коленях.

Остров провалился, и исчез сияющий залив. Под ними лежала желтая, растрескавшаяся земля.

Джорджи подняла глаза и увидела, что Джим все еще говорит. Его палец рубил воздух рядом со щекой пилота, и сухожилия у него на шее напряглись. Опустив глаза, молодой пилот говорил с Джимом — или с кем-то по радио. Он, кажется, сомневался, хотя самолет все еще летел, подняв нос, набирая высоту.

В кабине слабо пахло рвотой.

Джорджи увидела, как губы молодого человека перестали двигаться, и в тот же момент гул мотора прервался. Она поймала движение его губ, выговаривающих: «Вот сука!»

Он неожиданно положил руку на один рычаг, а затем на другой, как будто думал, что сможет пальцами вынуть комок из горла самолета. Потом он бросил это и бросил машину выше.

Она почувствовала, как пилот физически вздергивает самолет, как по ступенькам, а мотор шипел и рыгал у них над головами. Он изящ-

нейше развернул самолет. Джорджи начинала различать лопасти винта. И потом была просто свистящая тишина, и винт вращался так, будто его лениво подталкивал ветер, и они скользили вниз.

Джим повернулся в кресле. Лицо у него было серое.

Джорджи увидела впереди голубую полоску воды. Она увидела остров. Так вот что это было за узнавание. Она видела этот день. Но не эту комическую покорность, не свистящую пустоту воздуха вокруг. Это всегда казалось ей будущим, но не концом.

Она услышала, как пилот разговаривает с самим собой. Как глубоко дышит Джим. Шея сзади у него была похожа на шею постаревшей черепахи. Он начал дергаться в кресле. Ей было жаль его.

Когда самолет задыхается и смолкает, Фокс чувствует, как у него падает сердце. Он убил его. Криком, этим совиным воплем он убил их всех.

Самолет разворачивается, летит к нему, теряя высоту, преследуя по воде свою тень, прямо на Фокса. Поднимается ветер. Сначала он думает, что это ветер от мотора, но вскоре видит, что весь залив покрыт зыбью. Самолет наклоняется к Фоксу, и за ним по пятам несется ветер, будто

бы пытается найти его. Теперь самолет зеленый, сияющий. Фокс чувствует, как его пригибает к воде, когда самолет со свистом проносится над ним, преследуемый по пятам собственной тенью; он так близко, что чувствуется обтекающий его ветер. Слишком круто, слишком быстро.

Еще до того, как самолет врезается в воду, Фокс начинает грести изо всех сил. Пробираясь, он чувствует шов на воротнике. Самолет неожиданно превращается в белый ливень, в бурю. Левое крыло заваливается назад и, трепеща, втыкается в небо, и весь самолет переворачивается в брызгах и шуме, а Фокс гребет.

И вот уже вспышка головной волны со стороны лагеря инструктора. Фокс чувствует запах керосина и горячего металла. Воздух свистит вокруг фюзеляжа, и металл трепещет и успокаивается. Голоса. Появляется защитного цвета рубашка — мужчина с окровавленным лицом, кричащий. Фокс почти сбивает его с ног, причаливая к глотающему воздух самолету.

Дверь распахивается, вылетает метра на два в воздух, и весь корпус содрогается. Еще один человек плывет.

Фокс, цепляясь ногтями, пробирается вдоль обломка крыла. Самолет перевернулся, иллю-

минаторы под водой. Ногами он нащупывает стойку, отверстие и начинает дышать быстро и глубоко, пока еще есть время. Фюзеляж содрогается, и даже кости Фокса пропитываются воздухом. С последним вздохом он ныряет. Самолет начинает ускользать от него вглубь, и он вцепляется в него руками. Волосы и бороду относит назад потоком. У него закладывает уши, когда он плывет через молочную глубину, с горящими глазами; его дыхание тлеет, как уголья в груди. «Ты можешь, — думает он, — и кровь яростно, ярко и сумасшедше приливает к лицу. Это ты и сделаешь».

Воздух снова пищит у него в ушах. Вода вибрирует на коже, когда Фокс рвется к бледному песчаному дну.

…Джорджи висела вниз головой в сбруе из ремней, вцепившись в неудобные задвижки пальцами и перенеся на них весь свой вес. Воздух бурчал и кипел где-то в кабине, как человеческий голос. Она чувствовала, как вес мотора тащит ее вниз. Лопающиеся пузырьки. Все как в тумане. Болят уши.

Дверь превратилась теперь в прямоугольник бледно-голубого цвета. Она смотрела на него безразлично, как смотрят на экран телевизора или

компьютера. Она была спокойна, так спокойна — и вот уже не спокойна.

Удар самолета о дно выбил воздух из ее груди; Джорджи почувствовала, как последний вздох пробежал по подбородку и через грудь, и увидела, как на нее надвигается тень — как рептилия из кошмара. Она отмахнулась от нее, сбросила с себя. Такая горячая тьма и такая настойчивая! Она прижалась к лицу Джорджи чем-то мохнатым. Джорджи увидела красные глаза внутри черного, крутящегося пятна, почувствовала, как оно освобождает ее; она резко ощутила, что свободна, — в последний раз.

Но этот воздух на ее губах. Горячее воды. Воздух кипел между зубами Джорджи и с клокотанием входил в горло. Он взорвал ее. Это было похоже на электрический разряд. На секунду ей показалось, что она видит лицо в этой сероватой массе перед глазами. Она почувствовала, как губы прижались к ее губам. Лютер Фокс.

Она ощутила, как ее отцепляют, почувствовала, как руки сжимают ее. Она плыла в этот бледно-голубой экран, в мягкий мир снаружи. Джорджи Ютленд впивала его горячий крик, и он тащил ее за собой в остаток жизни.

* * *

Он лежит головой на палубе и не дышит. Небо за ее спиной. Она настоящая. Она не настоящая. У остальных лица, которые им пока не принадлежат. Похоже, один из них все еще хочет, чтобы его спасли.

Джорджи посмотрела на мученические выступы его тазовых костей, на веточки в его волосах, на синевато-багровые язвы, которыми сплошь покрыты его тонкие ноги. Море за спиной все еще блестело от горючего, и на поверхности все еще лежал последний извив пузырьков. Пилота трясло. Джим Бакридж уронил голову на руки. Рыжий правил и облизывал губы, будто не мог найти слов.

Она смотрит на него с неба. Глаза большие, как у рыбы. Настоящая или нет, но он должен дышать. Он чувствует, как его губы разъезжаются в улыбке. Скоро. Еще полно времени.

Джорджи увидела, как закатываются его глаза и бедра поднимаются к ней. Господи, он весь синий. Окровавленный пилот в ужасе отдернул ноги, и Джим Бакридж заорал. Она никогда в жизни не была в таком ужасе. У Лютера Фокса начались конвульсии.

— Ну, — сказал инструктор. — Ты медсестра.

«Да, — подумала она. — Именно так».

Она упала на Лютера Фокса, прижала рот к его губам и дунула.

Она настоящая.